
Н. ВАЛЕНТИНОВ
ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ
ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ
Н. ВАЛЕНТИНОВ

Н. ВАЛЕНТИНОВ

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

CHALIDZE PUBLICATIONS

New York 1981

ENCOUNTERS WITH LENIN

by

Nicholas Valentinoff

Printed in the U.S.A.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Почти полстолетия тому назад, когда автор этих воспоминаний был еще совсем молодым человеком, судьба свела его на некоторое время с Лениным и притом в таких условиях, которые позволили ему наблюдать будущего вождя русской революции и творца советского режима изо дня в день и в атмосфере близкого общения.

Николай Владиславович Вольский (Валентинов), уроженец города Моршанска, Тамбовской губернии, тогда еще студент, стал революоюционером в 1898 году, когда ему было 24 года. То было время идеологической борьбы между народничеством и недавно появившимся на русской сцене марксизмом, и вместе со значительной частью тогдашней русской молодежи Н. В. примкнул к последнему. В своих воспоминаниях он очень хорошо вскрывает те психологические мотивы, которые привели его и его сверстников к марксизму, а некоторых из них, включая самого Н. В., позднее — и к большевизму (это было непосредственно после раскола социал-демократической партии на съезде 1903 года). В 1904 г. Н. В., которому угрожал арест, бежал заграницу, где и произошла его встреча с жившим в эмиграции Лениным. Приехал он в Женеву убежденным «ленинцем», но после года общения с Лениным навсегда порвал и с ним лично, и с большевизмом. Рассказ его об этом разрыве столь же интересен и поучителен, как и то, что он говорит о своем обращении в большевистскую веру.

Н. В. Валентинов ушел от Ленина и от большевиков задолго до того, как большевики показали свое

подлинное лицо, — ушел потому, что не мог примириться с их идейной нетерпимостью и с их отрицанием объективной правды. В этом сказалась одна из характерных его черт: духовная независимость и связанная с нею неспособность подчинить себя какой бы то ни было партийной «линии», если она расходится с объективной правдой, как он эту правду понимает. Вернувшись в Россию, Н. В. примкнул к меньшевикам, но, по его собственному признанию, меньшевиком он был «плохим». Опыт 1905 года сделал из него «ревизиониста», т. е. заставил его предпринять критический пересмотр многих из основных положений марксизма. В течение этих предреволюционных лет, Н. В. Валентинов занимался, главным образом, публицистической работой и печатался в целом ряде периодических изданий, включая такие крупные по масштабам того времени газеты, как «Русское слово» и «Киевская мысль». Здесь нужно отметить еще одну характерную особенность Н. В. Валентинова: широкий диапазон его умственных интересов. Он много писал по экономическим вопросам, и экономика стала его профессиональной специальностью. Но он в такой же мере интересовался и вопросами текущей политики, и проблемами социологического характера. Кроме того, он серьезно занимался философией, а перед самой революцией начал писать широко задуманную работу по истории русской культуры. Готовясь к этой работе, он не только погрузился в изучение печатных источников, но, в силу своей любви к конкретности, предпринял еще ряд «исследовательских поездок» по России. Написанные части этой книги, к сожалению, погибли в революционные годы.

Летом 1917 года Н. В. Валентинов ушел из меньшевистской организации и с тех пор больше ни в какую политическую партию не входил. Сейчас его можно охарактеризовать как беспартийного демократа и умеренного (эволюционного) социалиста, но для пол-

ной точности и то и другое определение требовало бы дальнейших пояснений, так как Н. В. Валентинов прежде всего человек своеобразный. Чтобы закончить свою биографическую о нем справку, скажу еще, что после октябрьского переворота он провел в России больше десяти лет, и в эпоху НЭП'а, в течение семи лет, был редактором «Торгово-промышленной газеты», органа Высшего Совета Народного Хозяйства. В тот сравнительно либеральный период советского режима такие вещи были еще возможны. Работа в газете, в постоянном контакте с ВСНХ, дала ему такое основательное знакомство с советской экономикой, какого он, по собственному своему заявлению, ни из каких книг получить не мог бы. В 1928 году Н. В. удалось выехать в Париж, где он и проживает в настоящее время. За последние 25 лет Н. В. напечатал большое количество статей в различных русских эмигрантских изданиях (обычно под псевдонимом «Н. Валентинов» или «Е. Юрьевский»), а также сотрудничал во французской прессе.

* * *

О Ленине, как известно, существует огромная литература, но лишь сравнительно незначительная ее часть носит биографический характер. Изучались преимущественно его идеи и деятельность, а личность этого человека, сыгравшего такую роковую роль в истории России, оставляли в тени. Не только в официальной и официозной советской литературе, но и в книгах или статьях, написанных вне России, облик Ленина, за редкими исключениями (укажу, например, на вышедшую на английском языке биографию Ленина, написанную Д. Н. Шубом), оставался лишенным конкретных индивидуальных черт. Воспоминания Н. В. Валентинова восполняют этот пробел в гораздо большей мере, чем

какая-нибудь другая книга о Ленине, появившаяся до сих пор. Автор прав, когда говорит, что может сообщить о Ленине то, о чем никто другой не писал. Это объясняется как обстоятельствами, при которых произошла его встреча с Лениным, так и особенностями личного его подхода к Ленину. Случилось так, что ему был открыт вход в такие «уголки ленинской жизни», куда многим другим последователям Ленина доступа не было. К Ленину Н. В. Валентинов в то время относился с огромным интересом и из его воспоминаний видно, с какой жадностью он к нему присматривался. Ленин занимал его не только как политический деятель, но и как человек. Вместе с тем, при всем своем (первоначальном) увлечении Лениным, он всё-таки не утратил духовной независимости, не стал слепым поклонником Ленина и сохранял способность зоркого наблюдения *со стороны*. Вот почему со страниц его книги Ленин встает перед нами таким живым.

Читая воспоминания Н. В. Валентинова, мы ясно видим и наружность Ленина, видим, как в выражении его лица отражается та или иная эмоция, видим его характерные жесты, как видим и обстановку его комнаты. Мы узнаем подробности о распорядке его дня, о его интересе к спорту и физическим упражнениям. Перед нами возникает непривычный образ Ленина «гимнаста» и «альпиниста», неутомимого ходока по горам. В более «духовном» плане — мы узнаем об эстетических вкусах Ленина, о том, что он любил в русской музыке и в русской классической литературе.

Особый интерес имеют воспроизведенные Н. В. Валентиновым автобиографические признания Ленина. Укажу для примера тот разговор, в котором Ленин, защищая Н. В. Валентинова от упреков в дворянском происхождении, сказал, что он и сам «помещичье дитя», и не без насталгического чувства вспоминал о «красоте старых липовых аллей». Или ценное по своей

точности показание Ленина, что он «начал делаться марксистом» в январе 1889 г. Или, наконец, подобный, рассказ Ленина, тогда же записанный по свежей памяти Воровским, но потом так и не напечатанный, о том решающем влиянии, которое оказало на формирование его революционных взглядов чтение Чернышевского.

Много интересного рассказывает Н. В. Валентинов и о методах работы Ленина. Я имею в виду те страницы, где он говорит о том, как Ленин писал свой антименьшевистский памфлет «Шаг вперед, — два шага назад», или о том, как Ленин в два с половиной дня «ознакомился» с философией эмпириокритицизма путем «перелистывания» принесенных ему Н. В. Валентиновым объемистых томов. Отмечает Н. В. Валентинов и ряд существенных психологических черт Ленина — его непоколебимую уверенность (уже в то отдаленное время!) в своем неоспоримом праве на «дирижерскую палочку», ту ярость, которую он проявлял в спорах даже на отвлеченные философские темы; и, в особенности характерные для него, циклы перехода от крайнего нервного напряжения (ленинского «ража», по определению Н. В. Валентинова) к более или менее длительной депрессии. Восстанавливая образ Ленина, Н. В. Валентинов его при этом не идеализирует. Если Ленин становится для нас живым, то от этого он не делается более привлекательным. В каком-то смысле фигура его начинает казаться еще более жуткой.

Н. В. Валентинов подробно передает содержание многих своих бесед с Лениным, причем делает это в форме диалогов. Как бы предупреждая возможные сомнения насчет точности такой передачи разговоров, происходивших почти пятьдесят лет тому назад, автор указывает, что всё, что ему тогда говорил Ленин, как и всё, что он высказал Ленину, резко запечатлелось в его памяти. Если принять во внимание крайнюю напря-

женность тех переживаний, которые вызывало в нем общение с Лениным, то этому заявлению легко можно поверить. Конечно, и сам Н. В. Валентинов не станет настаивать на стенографической точности своих ретроспективных записей. Я убежден, однако, что не только дух и общее содержание этих бесед, но и оттенки мысли обоих собеседников, и даже характерные для каждого из них обороты речи, переданы им достаточно точно. Сама же разговорная форма узаконена многовековым ее употреблением в мемуарной литературе. Н. В. Валентинов пользуется ею с большим искусством: все приводимые им тирады и реплики Ленина звучат действительно «по-ленински». Это придает рассказу Н. В. Валентинова необычайную живость, не лишая его вместе с тем характера достоверного и крайне ценного свидетельства.

М. Карпович

«КОНФИДАНСЫ» ПРЕДИСЛОВИЯ

— Кто имеет право писать свои воспоминания? — спрашивает Герцен и отвечает:

— Всякий. Потому, что никто их не обязан читать. Для того, чтобы писать свои воспоминания вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но сколько-нибудь уметь рассказывать. Всякая жизнь интересна; не личность — так среда, страна, жизнь занимают...

При предположении, что я «сколько-нибудь умею рассказывать», приведенных слов Герцена вполне достаточно для установления «права» на нижеследующие страницы. Никто «не обязан» их читать. Но я даю им название не просто воспоминания, а «Встречи с Лениным» — это в них главное. Все, кто с ним встречались — поспешили, считали даже своим долгом, в первые же годы после его смерти сказать всё, что они о нем знают. Почему же я это делаю с таким большим опозданием, лишь после больших колебаний и подталкивания лиц, с мнением которых очень считаюсь? Одна из причин колебаний — писать или не писать такова.

Октябрьская революция 1917 года, вождем, творцом, инспиратором главнейших идей которой был Ленин, установила на шестой части земной суши особый

строй. Его постепенная трансформация и посягательства на мировое господство привели в 1952 г. весь мир к вопросу: быть или не быть апокалипсическому ужасу, третьей мировой войне с применением атомных бомб? На фоне всего происшедшего с 1917 г. Ленин выступает как гигантская историческая фигура. Он «зачинатель», от него начался новый исторический период. Когда описывают его жизнь, дают его биографию, характеризуют или оспаривают его идеи, лица сим занимающиеся остаются в тени. По положительному или отрицательному отношению к Ленину, мы узнаем о их взглядах, не более того. Да, большего и не нужно. Иной характер имеют личные воспоминания о Ленине. В них автор не может быть отсечен, отодвинут от того, о ком он вспоминает. Он неизбежно «прицепливается» к нему. Воспоминания, если они не скука смертная, не должны быть сухими протокольными донесениями, например, сообщающими, что в апреле 1904 г. в одном кафе Женевы Ленин заявил, что он «в некоем роде помещичье дитя», а немного раньше, в марте того же года выразил глубокое убеждение, что «доживет до социалистической революции». Читая такие и всякие другие сообщения о Ленине, всякий захочет узнать, кому же Ленин это говорил? Кто это лицо? При каких обстоятельствах, по какому поводу он это сказал? Почему сказал этому лицу, а не другому? Каковы были отношения к этому лицу? Всё это неизбежно приводит к лицу, сообщающему слова Ленина. Хочет оно того или нет, выдвинуть только Ленина и ничего не говорить о себе, остаться в полной тени — оно не может. Это лицо, в данном случае я, принужден говорить о себе, рассказывать всякие случившиеся с ним события, иначе та или иная встреча, беседа с Лениным не могла бы быть связно представленной, была бы вырванной из реальной обстановки. Ведь слова, высказывания Ленина, приводимые в воспоминаниях, были реакцией на

мои слова, на мое поведение, на то, что он слышал от меня.

Но тут-то и появляется щекотливый вопрос о первом лице личного местоимения, о «я». Автор принужден всё время «якать» (Ленин *мне* сказал, *я* ему ответил и т. д.) А это порождает весьма неловкую несоразмерность: с одной стороны — простой смертный, «ни знаменитый злодей, ни государственный человек», с другой — фигура из эмигрантского подполья поднявшаяся на трон российских царей и уже навеки записанная в скрижалях истории. Несмотря на это, в поле воспоминаний обе фигуры выдвигаются как бы на одной плоскости, с одной и той же силою. Многих других, писавших свои воспоминания о Ленине и неизбежно заводивших речь о себе, указанная несоразмерность, «непропорциональность», видимо, не смущала. Меня это смущало, вызывая в памяти одну басню Крылова. Если теперь, весьма поздно, я преодолел чувство, мешавшее мне писать — на то повлияли и подталкивания друзей, и такой еще мотив. Ознакомившись, скажу без преувеличения, почти со всем, что писалось о Ленине, я убедился, что могу в дополнение сообщить то, что никто о нем не писал. Не обещаю ничего сенсационного (самое сенсационное, что сделал Ленин всем известно — октябрьская революция!), но я укажу на ряд фактов, высказываний Ленина, о которых нигде не упоминается, а они мне кажутся важными для его биографии. Среди них есть мелочи, и их нужно знать, если хотят иметь представление о живом, настоящем Ленине, весьма отличающемся от того, каким его изображают и ленинцы, и антиленинцы.

Была и вторая причина колебания — писать ли воспоминания о Ленине. Один из главных пороков, существующих о нем воспоминаний, не касаюсь казенных агиографий, ценность которых вообще равна нулю, тот, что в повествование они вводят *не* вгзляды, оценки,

мнения, психологию, существовавшие у их авторов в описываемое ими прошлое время, а те, которые у них появились гораздо позднее. Многие факты, считавшиеся важными в прошлом, определявшие личное поведение и личные отношения, из такого рода воспоминаний совсем исчезают или соответственным образом сознательно и бессознательно «препарируются». От этого воспоминания приобретают искаженный, лживый характер, картина теряет свою «историческую» правдивость, чувствуется приспособление к заданиям и стремлениям не прошлого, а позднейшего времени.

Но возможно ли воспоминания освободить от этого порока? Возможно ли, содрав с себя то, что наслоило на личность время, то, что она пережила и пересмотрела, что в нее въелось нового — перенести в таком виде в прошлое?

Пишущий эти строки в 1904 г. более чем часто встречался с Лениным. Я считал себя настоящим «твердым» ленинцем, большевиком. За это, как выразилась однажды Крупская, ко мне тогда «благоволил» Ленин. Смогу ли я, отрешаясь от себя, каков я в настоящее время, правдиво представить в чем же состоял мой большевизм, в чем была его сущность? Смогу ли я без фальши изобразить мое отношение к Ленину, указать, что меня к нему притягивало, что в нем интересовало? Старость располагает оглядываться на пройденную дорогу жизни и в этих «оглядках», как я убедился, возможно и самоперенесение в прошлое. А поскольку это так, оно переносимо и на бумагу — при условии, что запись ведется, без умалчивания и с полной искренностью. Вот тут и возникли колебания. Нужно в этом признаться. Будучи вполне правдивым, автор должен будет говорить о таких фактах, которые рисуют его подчас в довольно смешном виде. Описывая всё как было, придется сознаваться и в некотором бахвальстве, и в большом непо-

нимании, и в незнании, и в барахтании в противоречиях. А это неприятно. Будучи правдивым, я не должен умалчивать ни о чем, что бросал в меня Ленин 16 сентября 1904 г., воспоминание же о том, даже через 48 лет, бьет по самолюбию. В конце концов, колебания были преодолены. Ведь речь идет о молодом человеке — *таких тогда было много*, жившем 50 лет тому назад, физически, психически, интеллектуально столь отличающемся сейчас от меня, что я, без особого стеснения, могу относиться к нему как человеку чужому. Слово «я» остается, но «я» сейчас и «я» — 50 лет назад — два разных «я».

Остановлюсь еще на одном вопросе: то, что я описываю и сообщаю происходило почти полстолетия назад, в какой мере это прошлое можно помнить и вспоминать? Могу ли утверждать, что всё ясно и крепко помню? Этого я и не говорю. В ряде случаев и бесед было бы особенно интересно вспомнить, что Ленин говорил, а я пишу: этого не помню. Из массы, что следовало бы запомнить, в запись пошла лишь часть, остальное испарилось. Добавлю: не нужно думать, что память заработала и воспоминания о прошлом прилетели ко мне сразу в тот самый момент, когда взялся за перо. Многие факты и беседы были давно записаны, другие с давних пор прочно сидели в голове. О них не раз приходилось рассказывать моим знакомым, а больше всего моей жене — В. Н. Вольской. Такие воспоминания были как бы сложены в «конверты», нужно было только эти конверты «распечатать». Но при подобном распечатывании есть одна сторона, на которой стоит остановиться.

Толстой в «Войне и Мире», описывая князя Николая Андреевича Болконского, говорит: у него появились «резкие признаки старости — забывчивость ближайших по времени событий и *памятливость* о *давнишнем*». Феномен памяти, воспоминаний, изучен весьма плохо. Немного лучше чем явление сновидений. Проникновение в

тайну атома оказывается легче, чем проникновение в тайну функционирования нашего психического аппарата. Неизвестно удастся ли науке убедительно объяснить почему это происходит, но самый факт несомненен: у многих в старости параллельно росту забывчивости ближайших событий — появляется, даже не просто памятливость, а, иногда удивительная по своей интенсивности, памятливость о событиях давнопрошедшего времени. Можно подумать что перед тем как совсем исчезнуть, организм, мозг, тщательно осматривает пройденный жизненный путь. Благодаря приобретенной старческой способности, откуда-то из шкафа памяти вылезают, припоминаются детали, делающие картину прошлого столь живой, точно вспоминаемое событие происходило нагнях. У одних старческая памятливость направляется больше всего на внешнюю обстановку, внешние стороны прошедшего события — год, число, день события, место события, присутствующих лиц, их костюм и т. д. У других память фиксирует, главным образом, то, что человек слышал, что он говорил, что и как ему отвечали. Память о внешней стороне происшедших событий — у меня довольно плохая. Я много раз гулял с Лениным в Женеве по quai de Mont-Blanc, однако, кроме смутного, неясного, воспоминания об этой улице на берегу озера Леман — ничего не сохранил. За домом на rue du Foyer, где жил Ленин, в нескольких шагах от него находился, и судя по нынешней карте Женевы, продолжает находиться, большой парк. Почему с Лениным мы гуляли по quai de Mont-Blanc и дальше по route de Lausanne, а не в этом парке? Не могу сказать, не помню. Моментами «кажется», что в парк заходили, всё же никакой уверенности в том нет. Наоборот, многие беседы и с Лениным, и с другими лицами и не только в 1904 г., но и раньше, так четко сидят в памяти, что точно где-то выгравированы. Поэтому, на нижеследующих страницах я часто смог передавать не «резюмэ», не смысл того, что мне говорил

Ленин, а почти «стенографически» живую речь, его подлинные слова и выражения. Кроме прилива «старческой памятливости», этому, конечно, весьма способствовало влияние на меня в прошлом Ленина, огромный к нему интерес, почитание очень важным всего того, что он говорил и отсюда желание и усилие это запомнить, крепко задержать в памяти. Максимально-точная передача отношений, мыслей, чувств прошлого была главнейшей задачей моих воспоминаний. Однако замкнуться в одном былом невозможно. И я выходил из него, делая к нему дополнения, внося объяснения, намекая на его продолжение или уничтожение в настоящем.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ. КАТЯ РЕРИХ

5 января 1904 г., приехав в Женеву с поездом из Вены, я, 20 минут спустя, был уже у Ленина. А 31 декабря 1903 г. находился еще в Киевской тюрьме и наверное назвал бы сумасшедшим всякого, кто мне сказал бы, что через пять дней буду в Швейцарии. О ней не думал и попасть в нее тогда не испытывал желания. Как же всё это случилось? И почему, сойдя с поезда, я очутился именно у Ленина?

В 1901-1903 годы я три раза арестовывался в Киеве охранным отделением. Последний раз осенью 1903 г. я попался в его руки с таким обилием улик о моей принадлежности к местной социал-демократической организации, что нужно было ожидать долгого сидения в тюрьме, а потом высылки в какую-нибудь часть Сибири. Оставалось, что и было принято более старшими товарищами, сидеть спокойно в тюрьме, изучать политическую экономию и иностранные языки или, что я первое время и делал, заниматься философией, расшифровывать, прибегая к словарю, тяжеловесную «Kritik der reinen Erfahrung» Авенариуса. Но в декабре по мотивам чисто личного характера (если скажу, что за несколько месяцев до ареста я женился, наверное найдутся люди, способные признать «серьезными» эти мотивы!) я решил, что сидеть спокойно в тюрьме не могу, не буду, а сыграю ва-банк, объявлю голодовку, потребую или освобождения, на что не было никакой надежды, или — что было вернее — немедленной высылки куда угодно. Или пан,

или пропал! Чувство солидарности в то время глубоко соединяло всех политических заключенных: один за всех, все за одного. Однако, товарищи по заключению, а я скрывал от них мотивы «личного характера», отказались меня поддерживать. Они считали мою затею мальчишеством, сумасбродством и всячески разубеждали меня. Я уперся и стал голодать.

Много лет позднее пришлось читать, что лидер ирландской республиканской партии Давид Флеминг выдержал в бельфастской тюрьме голодовку в течение 77 дней. Такой рекорд не постигался моим умом, пока я не узнал, что Флеминг, отказываясь от всякой другой пищи, поддерживал себя «лишь» разведенным водою соком апельсинов и таблетками витаминов. При всем моем сочувствии к Флемингу, должен всё-таки сказать, что такая голодовка не настоящая, не та, что проводили в царской России тогдашние революционеры. Почти двенадцать дней полного голода, который я выдержал без сока апельсинов и без витаминов, остались в памяти как нечто крайне мучительное. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что чем сильнее человек, а я был тогда силен как бык, тем труднее он переносит голод, тем разрушительнее его действие на организм.

Много глупостей было мною сделано во время голодовки. Например, желая показать, что «ничто меня не берет», — я, выматывая силы, боролся во время прогулки с соседями по камере. А самая большая глупость была сделана утром на седьмой день голодовки. Ванна в тюрьме была вещью редкой. На три этажа тюрьмы была только одна ванна и горячая вода в ней была один раз в неделю. Записавшись в очередь, ее ждали месяцами. Очередь моя пришла как раз во время голодовки. Я не хотел ее пропустить. Эффект от горячей ванны на ослабевший организм был молниеносный. Я начал терять сознание, едва вылез из ванны и с величайшим трудом дополз до моей камеры. С этого момента силы стали

стремительно падать, в конце одиннадцатого дня я еле держался на ногах. Если бы я сидел в тюрьме при коммунистическом режиме в управление Сталина — то, что я описываю, не могло бы иметь места: за попытку чего-то требовать, угрожая голодовкой, мне просто бы всадили пулю в затылок. В царствование Николая II-го правительство не прибегало к таким приемам и вечером одиннадцатого дня голодовки, к общему удивлению, стало известно, что охранное отделение решило меня освободить. Действительно, в 6 часов следующего дня, т. е. 31 декабря, двери тюрьмы предо мною открылись и через полчаса я был уже дома.

Мы, а это значило — два брата — Виктор и Леонид Зеланд, студенты, как и я, Политехнического Института, моя жена и я — жили тогда настоящей коммуной, на редкость дружной. В общую кассу поступали не одни заработки и денежные средства, а наши радости и горести, мысли и желания, знания и незнания. Мы корпели над схемами II и III тома «Капитала» Маркса, вместе анализировали книгу Э. Бернштейна, копались в старых марксистских журналах «Новое Слово», «Начало» и «Жизнь», спорили о философии, рьяно отвергали вышедший сборник «Проблемы идеализма» и единогласно признавали замечательной книгу Ленина «Что делать». После узкой и темной тюремной камеры настоящее блаженство сразу перелететь в иной мир, в яркоосвещенную комнату и, сидя на диване рядом с женой, любоваться зажженой елкой, которой встречает меня наша коммуна. Канун Нового Года! Какое удовольствие класть в рот всякие вкусные вещи, приготовленные для встречи со мною этого Нового Года. «Коммуна» знала, что меня выпускают из тюрьмы, об этом прокурор сказал жене. Виктор, умильно глядя на меня, говорит: ешь! Леонид накладывает на тарелку огромные куски ветчины, колбасы и густо смазывает их горчицей: ешь! Никому (глупая молодость!) в голову не пришло, что после стольких

дней голодовки нельзя класть в рот вещи в количестве превосходящем всякие разумные пределы. За забвение этого правила, за пожирание, еще в тюрьме, перед выходом, нескольких кусков черного черствого хлеба, вообще за голодовку я расплатился потом язвами желудка и многими неприятными последствиями. В жизни за всё нужно платить. Всё, что случается сказывается на каком-нибудь последующем этапе.

Ощущение блаженства продолжалось не более 30-35 минут. Послышались шаги кого-то, быстро подымавшегося к нам на четвертый этаж. Резкий звонок, заставивший нас всех вздрогнуть, и незнакомый студент вручает мне записку от М. М. Тихвинского. Это был блестящий профессор химии в Политехническом Институте. С давних пор социал-демократ, он лично знал Плеханова, Аксельрода, Засулич, был приятелем Красина, Кржижановского и других партийных «генералов». На съезде Союза Русских социал-демократов в Женеве в 1900 г. он участвовал под псевдонимом «Брей». С появлением «Искры» он стал «искровцем» и оказывал партии громадные услуги. Для «Искры» он собирал очень значительные средства. Из одного разговора его с Ленгником (тоже партийный генерал, которого он устроил лаборантом в Институте) я узнал, что на дело революции ему удалось однажды получить несколько тысяч рублей даже от Бродского — киевского миллионера и большого реакционера. С М. Тихвинским, так же как и его женой В. А. Тихвинской (она тоже была с.-д.) я познакомился в 1900 г. и часто у них бывал. Бывать у них было тем интереснее, что он всегда первым в Киеве получал вышедший № «Искры». Извлекая его из какого-то хранилища, помахивая им пред моим носом, он говорил: ну, рассказывайте, что делается в низах, в награду получите «Искру»! «Низы» — это было подполье, студенческие и рабочие кружки, сходки. Всем, что делалось там — Тихвинский очень интересовался. Его судьба,

как и множества других русских интеллигентов — трагична. После смерти его жены (окончившей свои дни самоубийством) Тихвинский, до этого крепко связанный с большевистским крылом партии, стал от него уходить. В 1917 г. он был противником октябрьской революции, а в 1920 г., находясь уже в Петербурге, был обвинен в заговоре против советской власти, объявлен злостным контр-революционером и, по настоянию большевистского наместника Зиновьева, расстрелян. Через 16 лет Зиновьев, в свою очередь, был объявлен контрреволюционером и за оппозицию Сталину — расстрелян в подвале Московского ГПУ. Герцен прав: революция, как Уран, беспощадно поедает своих детей.

В записке, переданной от Тихвинского, стояло: «немедля ни минуты, приезжайте ко мне». Посланник уходит. Мы остаемся одни. Переглядываемся, радости от встречи уже нет на наших лицах. Я прощаюсь и ухожу. У Тихвинского, занимавшего квартиру в одном из зданий Политехнического Института, я нашел симпатичного инженера Г. М. Кржижановского, входившего вместе с Лениным в 1893-5 г.г. в петербургский союз социал-демократов и вместе с ним высланного в Сибирь в Минусинскую область. Он считался другом Ленина, и одно время (до 1906 г.) был с ним даже на ты. В Киеве он появился только в 1903 году, служил в управлении Юго-Западных железных дорог, куда его устроил всё тот же Тихвинский. После октябрьской революции в ее планирующих учреждениях Кржижановский, выдвинутый Лениным, играл очень крупную роль. В 1920 г. по назначению Ленина, он делается председателем т. н. «Гоэлро» — Государственной комиссии по элетрификации РСФСР, а в 1921 г. председателем Госплана — Государственной Комиссии, планирующей всё хозяйство страны. В тридцатых годах (точно не помню когда) Кржижановский с этого поста был снят, но он один из немногих из старой ленинской гвардии, которому в цар-

ствование Сталина удалось избегнуть тюрьмы и сохранить жизнь. Ныне он академик, вице-президент Академии Наук, директор научно-исследовательского энергетического Института, названного в его честь «Институтом имени Кржижановского» — награда за его беспрекословное признание Сталина «великим вождем». Из статьи Кржижановского «Великие сооружения сталинской эпохи», помещенной в 1950 г., в № 10 «Вестника Академии наук СССР» я мог понять — как далеко пошел мой старый знакомый в своем желании угодить и польстить Сталину. План электрификации, составленный в 1920 г. по инициативе Ленина группой специалистов, он называет «ленинско-сталинским планом», хотя лучше чем кто либо знает, что ни малейшего отношения Сталин к этому плану не имел и иметь не мог. Друг и поклонник Ленина сознательно искажает истину в угоду нынешней концепции, требующей возвеличения Сталина за счет умаления значения Ленина. В своей статье он много раз говорит о «Ленинско-сталинском учении (!) об электрификации» и кончает указанием на «советского человека, одушевленного безграничной любовью к великому Сталину». Эта цена, которую Кржижановскому, как и всем другим, нужно заплатить за право на жизнь, за право не быть в той или иной форме ликвидированным...

В 1903 г. на съезде партии, Кржижановский был избран членом Центрального Комитета и — на квартире у Тихвинского он в качестве такового и говорил со мною. Он прежде всего спросил: известно ли мне, что партия раскололась на большевиков и меньшевиков? Я ответил, что сидя в тюрьме, нельзя было узнать детали этого события, однако, в основном я достаточно осведомлен и считаю, что право то крыло партии, которое идет за Лениным. Всё, что в связи с этим я сказал, видимо, весьма удовлетворило Кржижановского и он счел возможным перейти к следующему вопросу. — Да

будет вам известно, что вас выпустили из тюрьмы только для того, чтобы снова арестовать и перевести в другую тюрьму, где ваша смерть — буде такая случись от продолжения голодовки, не произвела бы такого впечатления, как в Киеве. Что вы намерены делать — ждать нового ареста или удирать?

— Конечно, удирать.

— Еще один вопрос: признаете ли вы партийную дисциплину?

— Разумеется.

— В таком случае, продолжал Кржижановский, впадая уже в шутливый тон, я недостойный иерей, властью от Бога и партией данной, отпуская ваши вольные и невольные прегрешения, приказываю: оставить жену и друзей, домой больше не заглядывать, а завтра вечером взять поезд в Каменец-Подольск. Там, — на этот счет получите необходимые указания, — вы перейдете границу и отправитесь в Женеву. Письмо от меня к Ленину и деньги будут вам вручены завтра. Пробыв несколько месяцев в Женеве, отдохнув, достаточно разобравшись в причинах происшедшего в партии раскола, возвращайтесь назад уже в качестве профессионального революционера. Мы с М. М. Тихвинским считаем, что теперь, когда вам всё равно не дадут окончить Институт, нужно, чтобы вы окончательно перешли на нелегальное положение.

Вот каким образом я очутился в Женеве. Однако, переход через границу оказался не таким уж простым делом. Приехав в Каменец-Подольск, я не знал, что за два дня до этого местная соц.-демократическая организация, все, кто должны были оказать мне содействие в этом переходе, были арестованы. С ними же меня должен был свести некий юноша, явившись к которому, я должен был произнести пароль, что-то вроде «я к вам от дорогого Михаила Михайловича Михайлова».

Юношу я отыскал, но, едва сказал пароль, как в двери появилась фигура седой дамы, похожей лицом на императрицу Екатерину Великую, только гигантского роста и с соответствующим бюстом. При виде ее юноша лишился языка, покраснел, прижался к стене и стал смущенно что-то ковырять в ней ногтем. Екатерина Великая, подойдя ко мне вплотную (я не достигал ее подбородка) грозно крикнула:

— Это мой сын, я его мать! Что вам нужно? От Михаила Михайловича Михайлова? Что это значит? Вы пришли совращать моего сына, втягивать его в политику. Вы хотите, чтобы его заперли в тюрьму! Вон!

С треском открыв дверь, она почти вытолкнула меня из передней. Часа через два я всё-таки снова позвонил в ту же квартиру в надежде, что, может быть, как-нибудь удастся увидеть юношу без мамаши и выудить у него необходимые сведения. Вместо него опять выкатилась грозная дама, лицо которой при виде меня покрылось багровыми пятнами. «Вон, или сейчас позову полицию!».

В продолжение нескольких часов я ходил по занесенному снегом городу, поминутно растирая уши и нос от ужасного холода. Что делать? Возвращаться в Киев, рискуя быть снова арестованным? Следующий поезд туда шел лишь утром. Где же проведу я ночь? В гостинице обязательно потребуют паспорт, у меня никакого нет. В парке, около развалин стен крепости, построенной еще в XIV веке, когда городом владели литовские князья, было несколько скамей, утопающих в снегу. Не попытаться ли на одной из них провести ночь? Нельзя, недалеко полицейский пост. Как это часто бывает в жизни, *всё решила случайность.*

Маршируя по улицам, ломая голову над тем, что мне делать, я увидел между двумя домами, в глубине двора, некую мне нужную кабинку, которой, например,

французы пользуются без малейшего стеснения, тогда как русские этого стесняются. Я не успел дойти до места назначения. Окно кухни одного из домов открылось и, следуя обычаям провинциального города, не имеющего канализационной сети, выплескивать помои куда попало, из него вылетело целое ведро разной дряни. Изрядная часть ее, в виде очистков картофеля, яичной скорлупы, рыбьих хвостов и корок апельсина, попала мне на шляпу и пальто. Благодаря этой случайности я не возвратился в Киев, не был арестован, а очутился 5 января в Женеве у Ленина, так как вот что затем произошло. Скандал, ибо не щадя, соответствующих инциденту, слов, я стал переругиваться с виновницей происшествия, привлек внимание обитателей смежных домов и, в том числе, кого-то кто стал мне барабанить в замерзшие стекла окна дома направо. Через минуту оттуда выбежала девочка и ухватила меня за рукав: «паныч, паныч, вам зовуть». В квартире, в которую она меня привела, я с величайшей радостью увидел Катю Рерих. Гора свалилась с плеч: в этом проклятом городе я был не один! Если бы не ведро с помоями и не вызванный им шум и скандал, она бы не подошла к окну и меня не увидала.

Но кто такая Катя Рерих? Скромная и милая пропагандистка соц.-демократической организации в Киеве, к которой принадлежал и я. Меня посылала в Женеву партия в лице Г. М. Кржижановского, Катя же нелегально пробиралась туда за собственный счет, чтобы там, где находился генеральный штаб революции, честно и совестливо, как всё, что она делала, разобраться в причинах раскола партии на большевиков и меньшевиков, как гром среди ясного неба поразивший партийных людей. От Кати я узнал, что в этой квартире она скрывается уже четвертый день и хотя все партийцы города арестованы, ей всё-таки посчастливилось связаться с одним контрабандистом-молдаванином, взявшимся отвести ее в село за 12 километров от Каменец-Подольска, отку-

да, ночью, перейдя замерзший Днестр, можно очутиться за границей, т. е. в австро-венгерской Галиции. Эта часть Галиции, к слову сказать, ныне присоединена к «Украинской Советской Социалистической Республике». «Мы едем сегодня вечером, вы можете ехать со мною, только нужно нашему проводнику внести дополнительно 50 рублей».

Сказанным о Кате ограничиться никак нельзя. Катя не просто девушка из интеллигентной семьи, а особый тип русской девушки, подвижнически, жертвенно, вступившей в революционное движение. Один из рабочих говорил: «Катя — святая. Как она живет среди нас — не понимаю. Когда она рассказывает нам о жизни в будущем социалистическом строе, глаза ее светятся и я чувствую себя в раю». Катя была родственницей, если не ошибаюсь, племянницей большого художника Рериха. Главным было всё-таки не это физическое родство, а духовное родство со многими поколениями замечательных русских женщин и девушек, черты которых, говоря о женах декабристов, пытался представить Некрасов. Катя происходила, кажется, из немецкой семьи, но душа ее была соткана из той особой русской «материи», что и душа Лизы Калитиной, героини романа Тургенева «Дворянское Гнездо». Лиза Калитина ушла в монастырь. Катя Рерих в революцию. Легко допустить и обратное: та же Лиза Калитина в девятисотых годах стала бы подвижницей революции, а Катя Рерих в сороковых годах прошлого столетия пошла бы в монастырь. Психологическая, эмоциональная основа у обеих одинакова. У них было даже и внешнее сходство. У Кати было такое же «бледное свежее лицо, глаза и губы такие же серьезные, взгляд честный и невинный. Голос тихий, вдруг остановится, слушает с вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы», как у Лизы.

Киевская соц.-демократическая организация, как и

все организации того времени, была богата этими славными, милыми девушками и женщинами. Одни из них носили русскую и украинскую фамилию, другие еврейскую и все они были в сущности подвижницами. Отличие от них Кати Рерих было в том, что она представляла крайнее, уже переходящее за какую-то грань, выражение этого типа. Моральный уровень людей «ордена», членов подпольных организаций, был тогда очень высок. Это нужно сугубо подчеркнуть. Но Катя в ее требованиях нравственных качеств от человека-социалиста шла так далеко, что ответить на них мог лишь святой. Это, а с другой стороны, ее инстинктивное отвращение от всех видов насилия, безграничная вера в силу нравственного примера, воздействия на зло словом, — незаметно приводили ее почти к позиции Льва Толстого: непротивление злу насилием. Наши пути тут резко расходились.

Припоминаю следующий случай. Мы организовывали с нею рабочее собрание за Днепром. Всюду были расставлены пикеты, указывавшие как нужно добраться до поляны в лесу, на которой, придя раньше других, мы уже сидели с Катей. Неизвестно, как он прошел незамеченный пикетами, только на поляне раньше чем рабочие, появился сыщик, давно за мною следивший. С насмешливой улыбкой, словно издеваясь над нами, — «думали скрыться от меня, а я вас накрыл» — он остановился в трех шагах от нас, смотря на Катю в упор, так как, повидимому, это было новое для него лицо.

Признаюсь, в этот момент я превратился в зверя и схватив сыщика за горло, стал его жестоко избивать. На Катю это произвело потрясающее впечатление. Задыхаясь от волнения, она начала истерически кричать, чтобы я перестал бить. Растерявшись от неожиданого крика с этой стороны, я выпустил из рук сыщика, поспешившего скрыться. Собрание было сорвано, нужно было предупредить о том все пикеты и в этот день я не имел возможности видеть Катю. А на следующий день, когда

я потребовал от нее объяснений, она, волнуясь, мне ответила:

— Я не переношу никакого насилия и зверства, откуда бы они ни шли. Это чувство сильнее меня. Я не могу допустить: *нам можно, им нельзя.* Когда вы избивали сыщика, у него было лицо испуганного и страдающего человека, у вас же искаженное, отвратительное лицо зверя. В этот момент вы были для меня противнее сыщика. Неужели социализм не очищает души человека, неужели и в человеке-социалисте может жить и выходить наружу *страшный зверь?* Одна мысль об этом меня бросает в холод и всё становится темно.

Я ответил Кате, что ей лучше всего бросить революционную пропаганду и уйти в монастырь. Продолжать спор на эту тему не пришлось. Дня три спустя я был арестован и встретился с Катей только в Каменец-Подольске...

Когда начало смеркаться, мы, в санях контрабандиста, выехали в путь к селу на самой границе. По дороге еле избегли встречи с конной пограничной стражей. Приехав в село долго мерзли в какой-то риге, а потом потихоньку были переведены в избу, где, задыхаясь от жары, сидели спрятанными за раскаленной печкой. На столе перед окнами контрабандист поставил лампу, чтобы все соседи видели, что он дома и никого у него нет.

В двенадцатом часу ночи, когда на селе потухли последние огни, мы вышли из избы к Днестру. Увы, нас здесь ждала большая неприятность. Вместо пограничников, получивших от нашего проводника некую мзду и обязавшихся нас не видеть, в карауле оказались стражники, мзды не получившие. При виде нас и после нескольких окриков и свистков, они, по всем правилам об охране границы, открыли пальбу из ружей. Проводник, превратившись в настоящего зайца, перебежав реку, быстро скрылся на той стороне. Поспеть за ним мы не могли. Пули около нас свистели. Я толкнул Катю в су-

гроб снега и в нем мы присели. В сугробе оказался куст. Хлопья снега, висевшие на нем как вата, образовывали занавес, скрывавший нас от стражников. Он не был прочен. При малейшем нашем движении эти хлопья снега могли свалиться и открыть нас, тем более легко, что злая и холодная луна, как лампа, висела прямо над головой. Было очень холодно, вероятно, 16 или 17 градусов мороза. Через отверстия снежного занавеса я мог, сравнительно недалеко от нас, видеть как наши неприятели ходят с фонарем, курят, слышать как они кашляют, что-то говорят.

Осторожность и неподвижность должны были быть нашим правилом и когда Катя сделала попытку несколько вытянуть ногу, я довольно грубо шепнул ей: «чорт возьми, что вы делаете, хотите, чтобы нас подстрелили как куропаток». Как жалел потом, что вырвалась эта фраза. Ведь только позднее узнал, что когда мы прыгнули в сугроб, — шуба, юбка и всё прочее у Кати неловко подвернулось и ее нога, выше колена голая, оказалась прижатой к снегу. При ужасном морозе сидеть в таком положении было, конечно, мучительно, но так как я сказал, что *нас* подстрелят, т. е. могут подстрелить не ее одну, а по ее вине и меня, Катя, потому что это была Катя Рерих, стоически выдержала испытание. В глазах ее стояли слезы, я-то думал что это от холода и мороза...

Когда, наконец, проклятая луна потушила свой фонарь и закатившись ушла спать, на вражеском берегу всё утихло; мы, просидев в сугробе более трех часов, обледенелые, стуча зубами от холода, воспользовались темнотой и вылезли из сугроба. Куда, в каком направлении идти — неизвестно. Было даже опасение, что, кружась, в темноте, мы снова перешагнем, занесенный снегом Днестр и очутимся на русской территории. Блуждая по снежной равнине, мы набрели на стог соломы, что наводило на мысль, что близко какое-то селение. Я предпо-

лагал, что из боков стога можно вытащить солому, сделать таким образом норы и залезть туда до утра. Спекшаяся от холода, заледенелая, одеревянелая солома была так спресована, что, несмотря на наши усилия, нам ничего сделать не удалось. Пришлось расположиться у стога на снегу и, свернувшись, в комок, я немедленно заснул, проснувшись лишь от глухого кашля Кати. «Что с вами?». «Ничего, право ничего». Я дотронулся до ее лба, у нее несомненно был жар. Утром удалось встретить нашего контрабандиста (честный человек! Он бегал по всем направлениям нас отыскивая) и кое как добравшись из этого заброшенного уголка Галиции до железной дороги, спасаясь от приметивших нас австрийских жандармов, мы, после многих пересадок, доехали до Вены, а оттуда до Женевы.

Тяжелый переход через границу оказался роковым для слабых легких Кати. По приезде в Женеву, она слегла, больше не вставала и через несколько месяцев ее унесла в могилу скоротечная чахотка. Она не дожила даже до 22 лет...

ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ. МОЙ БОЛЬШЕВИЗМ

В Женеве я сошел с поезда, не имея никакого багажа, кроме зубной щетки, куска мыла, полотенца и, зашитого в полу пальто, письма Кржижановского к Ленину. Я хорошо помнил маршрут, начертанный Кржижановским. «Выйдя с вокзала, идите прямо по rue du Mont-Blanc, первая улица налево будет route de Lausanne, берите ее, в конце упретесь в rue du Foyer, в № 10, там и живет monsieur Ульянов, т. е. Ленин».

Так я и шел, от слабости после голодовки и испытанных приключений волоча ноги в тяжелых калошах. В грудах снега при переходе через Днестр они оказали большую услугу. В Женеве же, где не было ни одной снежинки, где тротуары были чисты и сухи как летом и никто не носил калош, они мне казались невыносимой ненужностью, обращающей на меня внимание. Я решил их снять и подбросить в какую-нибудь подворотню. Беда в том, что никакой такой «русской» подворотни я нигде не видел. А впереди меня шел кто-то, словно для контраста с моими резиновыми кораблями, ловко шлепая ярко вычищенными новенькими желтыми ботинками. Фигура владельца ботинок — длинная, с поднятыми плечами, — показалась знакомой. Я обогнал ее и одновременно — она и я — воскликнули: «Ба!». Так в литературе и редко в жизни, выражается удивление. Это был тот, кого в партии называли «Сергеем Петровичем», «Игнатом», «Павловичем», «Музыкантом», «Шпилькой». Настоящее имя его — П. А. Красиков. В 1903 г. он, в

качестве члена организационного Комитета по созыву съезда, два раза наезжал в Киев. Мы избрали его делегатом на съезд от нашего Комитета (выставлена была и моя кандидатура, но я отказался, всё по тем же мотивам «личного характера»). В дополнение к нему, вторым делегатом, был избран рабочий «Иван», тот самый, который говорил о Кате, что когда она рассказывает о будущем социалистическом строе, он — Иван — «чувствует себя как в раю». С Иваном, а такова была его кличка в Киеве, я встретился через 25 лет (в 1928 г.) в Москве, уже в эпоху, когда существующий строй было приказано считать «социалистическим». Он поразил своею пугливостью. Сидя у меня и оглядываясь по сторонам, он прежде всего спросил, можно ли говорить громко и из осторожных слов его я понял, что он не чувствует себя находящимся в раю. Этот большевик, на съезде примкнувший к Ленину (в протоколах съезда он назван Степановым, настоящая фамилия его, насколько помню — Мячик), в отличие от всех других, не сделал после октябрьской революции никакой карьеры. Он остался как прежде простым рабочим. Почти шепотом он мне поведал, что, несмотря на сокращение рабочего дня, работать, вследствие подгоняемой, очень большой интенсивности труда, стало много труднее, чем в 1901-2 г.г.

Иная судьба Красикова. В 1917 г. Ленин назначает его председателем комиссии по борьбе с контрреволюцией; он председатель касационного трибунала при ВЦК, редактор журналов «Революция и церковь», «Воинстующий безбожник». В 1924 г. — он прокурор верховного суда СССР, в 1933 г. заместитель председателя этого суда. В качестве юриста, преданно обслуживающего восходящего на престол Сталина, ему в 1935 г. делается честь — быть членом комиссии, вырабатывающей проект так называемой «сталинской конституции». Но в 1937 г.

его карьера в разгар «ежовщины» обрывается: Красиков, как множество других старых большевиков, исчезает с горизонта: заключен ли он в тюрьму, сослан или расстрелян — об этом ни от кого получить сведений мне не удалось.

— Что случилось? — спросил Красиков, разглядывая меня. — Каким образом вы здесь, а не в Киеве, почему у вас вид египетской мумии?

В кратких чертах рассказал ему мою историю.

— Идем скорее к Ильичу!

— К кому?

— Вы не слыхали кто такой Ильич? Это Ленин!

— А!.. — Так впервые узнал, что Ленина называют «Ильичом».

Через несколько минут мы были у Ленина. Я увидел крепко сложенного человека, небольшого роста, лысого с редкой темнорыжей бородкой и такими же усами. Самым внимательным образом вглядываясь в фотографии Ленина, появившиеся после 1917 г. с трудом поверил бы, что это тот самый человек, которого впервые увидел 5 января 1904 г. Подавляющая часть этих фотографий просто лжива. Особенно же фальшива одна распространенная, канонизированная, на которой Ленин представлен в виде какого-то гордого, красивого брюнета. Приходилось позднее много раз слышать и читать о ярко выраженном монгольско-татарском обличьи Ленина. Это неоспоримо, однако, при первой встрече, да и всех последующих, я на «антропологию» Ленина не обратил и не обращал никакого внимания. Его лицо казалось совершенно таким же, как у множества других русских, особенно в районе средней и нижней Волги. Пожалуй, немного косят глаза, да и то не оба, а скорее только правый. Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Но в глазах остро светился ум и лицо было

очень подвижно, часто меняя выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза — грубое сравнение — злого кабана.

В первые же минуты визита к Ленину я познакомился с одним, только ему принадлежащим, жестом. Говоря или споря, Ленин, как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запуская большие пальцы за борт жилетки около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой, быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбьи плавники. В публичных выступлениях такая жестикуляция имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдалбливал своим слушателям какую-нибудь мысль, а в каждый данный момент он всегда бил словом только в *одну мысль*, эта жестикуляция, этот шаг вперед и шаг назад, игра сжатым и разжатым кулаком — происходила постоянно. Постоянно попадая в поле зрения собеседников, ленинская жестикуляция настолько их заражала, что некоторые из них, например, Красиков и Гусев, тоже начинали запускать пальцы за жилетку. Ленин гипнотизировал и этим...

Я пришел к Ленину во втором часу дня и лишь в восьмом часу он отвел меня в отель на Plaine de Plainpalais, оплачиваемое партией обиталище, где останавливались приезжие из России люди, главным образом, будущие советские сановники, сторонники Ленина. Кроме Красикова, там жил В. В. Воровский, будущий посол СССР в Скандинавии, потом в Италии, Гусев (Драпкин), будущий член Военно-Революционного Совета, начальник Политического Управления Республики, секретарь Ц.К.К., заведующий отделом печати Центрального Ко-

митета Коммунистической партии и др. Так как все приезжающие из России, заметая следы, должны были жить в Женеве под выдуманными именами, Ленин, узнав, что голодовка в тюрьме подкосила мою силу, применительно к тому факту, изобрел для меня кличку.

— Библейский Самсон потерял силу, когда остригли его волосы, — сказал он, — у вас силу и мускулы остригла голодовка, по аналогии даю вам имя — «Самсонов».

Под этой фамилией я и был представлен обитателям отеля и ровно год прожил в Женеве.

Шесть часов, проведенных у Ленина, были делом совсем не легким. Крупская, распоров полу моего пальто, извлекла оттуда письмо Кржижановского, проявила его (часть была написана симпатическими чернилами) и сообщила его содержание Ленину. По отдельным фразам, которыми они обменялись, я понял, что, кроме сообщения о партийных делах, аресте недавно поселившегося в Киеве брата Ленина и двух его сестер, была просьба «обратить на посланного внимание». И Ленин его «обратил». На меня буквально обрушился целый каскад вопросов. Ленин находился тогда в очень подавленном состоянии. Два месяца до этого, первого ноября 1903 г., он увидел себя вынужденным уйти с редакторского поста столь любимой им «Искры». Для него это была настоящая трагедия, непереносимое ущемление самолюбия. Он был как бы свержен, потерял силу, остался не у дел. Все именитые верхи партии в Женеве были «меньшевиками». Около него лишь небольшой кружок поддерживающих его лиц. В Центральном Комитете в России его единомышленники, выбранные на съезде партии, вместо того, чтобы вести непримиримую борьбу с меньшевиками, как того требовал Ленин, стали склоняться к «примиренчеству». Ленин буквально накидывался на всякого приезжающего из России человека, стре-

мясь с присущей ему страстью сделать его своим сторонником, узнать, что о партийных разногласиях говорят в России. Еле успевал я ответить на один вопрос, появлялся другой, третий и так без счету. Я сказал Ленину, — это ему очень понравилось, — что он меня гоняет как на конских заводах гоняют на корде молодых лошадей. Заметив мою крайнюю усталость, Ленин, наконец, расспросы прекратил. Не трудно было заметить, что произведенное «испытание» я выдержал как будто удовлетворительно. Я это мог заключить из того, что для продолжения беседы Ленин пригласил меня придти к нему через два дня, потом еще через два дня.

Два эпизода привлекли мое внимание при первом свидании с Лениным.

В 1898 году, будучи студентом Технологического Института, я был выслан в Уфу из Петербурга. В первый же день знакомства с Лениным, я узнал, что последнюю часть своей ссылки Крупская провела в Уфе — меня там уже не было — и к ней из Пскова перед отъездом заграницу, на месяц приезжал Ленин. Получилось некое неожиданное сближение на почве общих воспоминаний. Начался разговор о ссыльных, живших в Уфе, о прогулках на лодке на реке Белой, разных сортах кумыса, продававшегося в киосках. Не была забыта и комическая сторона города, послужившая в 1899 г. темой моего первого «литературного» произведения: электрические фонари, болтавшиеся на высочайших столбах и один от другого так далеко расставленные, что, кроме ужасной жидкой грязи вокруг них, ничего не освещавшие. Крупская спросила, знал ли я книжный магазин народоволки Четверговой, куда заходили за разными книжными новостями все ссыльные Уфы. Я тоже туда захаживал, но с владелицей магазина никогда разговоров не вел и не знал, что она народоволка. Я считал ее просто оппозиционно настроенной особой, каких было много.

— Жаль, что с нею не познакомились, — сказала Крупская. — Владимир Ильич как только проездом из ссылки попал в Уфу, побежал ее видеть. Она интересный человек. Он ее давно знает. Он говорит, что не знает никого другого, с которым было бы столь приятно и поучительно, как с Четверговой, говорить о Чернышевском.

Я помолчал, но мне показалось странным, что довольно тусклая, судя по внешнему облику, владелица книжного магазина в Уфе, в глазах Ленина приобретает какое-то значение потому, что с нею «приятно и поучительно» говорить о Чернышевском — писателе мною нелюбимом и неценимом. И другое мне показалось странным.

Вспоминая Уфу, Крупская упомянула о ее связи с некоторыми рабочими (фамилии их я забыл) в уфимских железнодорожных мастерских. Я тоже знал их, так как, благодаря опять-таки чистой случайности, мне — высланному студенту — удалось поступить на службу в эти мастерские. Их начальник, что обнаружилось из беседы с ним, лет сорок перед этим сидел с моим отцом на одной парте в виленской гимназии. Его протекция и дала мне возможность быть принятым в мастерские. В качестве простого рабочего я проработал в них больше года; сделав для экзамена сложный циркуль, я стал потом вроде помощника слесаря. Когда это услышал Ленин, его глаза уперлись в меня с большим любопытством.

— Вы поступили рабочим в мастерские с целью пропаганды?

— Я стал в них работать, чтобы иметь заработок. Нужно же было как-нибудь жить.

Глаза Ленина немедленно потухли. Я очень хотел ему рассказать, что я делал в мастерских, ведь всё-таки не часто бывает, что интеллигент делается слесарем, но

увидел, что, так как я поступил в мастерские не для пропаганды, а для заработка — это для него уже неинтересно. Позднее узнал, что вопрос о заработке он относил к области, которую называл немецким словом Privatsache. Он никогда и никому не говорил о том, каковы его денежные ресурсы и в минимальной степени интересовался как с этим вопросом обстоит у других. Чем меньше будет истрачено на партийца денег из партийной кассы — тем лучше, а откуда и как он достанет ему недостающие средства — это «Privatsache», Ленина совершенно не интересовало.

Я сказал, что после первого свидания Ленин пригласил меня придти через два дня. Не помню уже кто писал, что в отличие от Плеханова, у которого партийным людям надо было добиваться и «испрашивать аудиенцию», Ленин был столь «демократичен», что к нему могли приходить все, кому угодно и когда угодно. Это сущая неправда. Ленин слишком ценил свое время чтобы допускать срыв расписания своего дня приходом незванных визитеров. Исключение допускалось только для приезжавших из России членов Центрального Комитета (в описываемое время для Ленгника и Эссен). Относительно приема всех остальных товарищей Ленин давал указания Крупской и жившей с ними ее матери Елизавете Васильевне, которые выпроваживали визитеров или ссылкой, что «Владимира Ильича нет дома», или «он работает и видеть его нельзя». В выборе допускаемых к нему товарищей у Ленина, несомненно, существовала какая-то система, постороннему не всегда понятная. Например, Красиков мог приходить к Ленину свободнее, чем Гусев, Ольминский, Мандельштам или Лепешинский, но так было не всегда. Иногда тому же Красикову говорилось, что «Владимира Ильича нет дома», а между тем у него в это время сидел Гусев. Такой отбор, мне кажется, находился в связи с тем, что по интересующему в данный день или неделю вопро-

су могло Ленину принести то или иное лицо. В такой момент это лицо для него делалось нужным и интересным, а все другие обременительными и ненужными. Ленин не любил сообщать — кто у него бывал, кого он видел и даже с кем он гулял, а узнавая от посещавших его товарищей какую-либо новость или сплетню (до них он был очень охоч) редко указывал другим от кого он их слышал. «От кого я слышал эту новость? Сорока на хвосте мне принесла». Такой ответ я трижды получал от него. В допуске к нему партийных товарищей у Ленина, повидимому, играл еще и такой мотив: он чурался скучных, очень мрачных и бесстрастных людей. О Мандельштаме он сказал: «Это очень хороший человек, т. е. честный и полезный партии революционер, беда только, но это уже относится к области личных отношений, он скучен как филин, смеется раз в год, да и то неизвестно, по какому поводу». Если можно так выразиться, он любил страстных (вернее пристрастных) и веселых революционеров. Нужно думать, что по этой причине имел у него такой успех приехавший в Женеву в конце 1904 г. А. В. Луначарский (будущий народный комиссар просвещения), бывший действительно блестящим и веселым человеком, угощавшим Ленина фонтаном остроумных речей и разных анекдотов.

Несколько раз побывав у Ленина, я с удовольствием увидел, что доступ к нему для меня не очень преграждается. В течение февраля и марта я виделся с ним, думаю, гораздо чаще, чем кто-либо из женевских большевиков. А чтобы такая «привилегия» не вызывала неприязненного чувства у других, я о своих свиданиях и прогулках с ним дипломатически никому не говорил, тем более узнав, что об этом не говорит и сам Ленин. «Владимир Ильич,— объявила мне однажды Крупская, — к вам очень благоволит». Так и сказала: *«к вам очень благоволит»* и сказано это было приблизительно через месяц после моего приезда в Женеву. Некоторое

время несомненно, «благоволила» и Крупская, но в конце февраля или начале марта ее благоволение стало исчезать. В конце марта она смотрела на меня злыми глазами, а в апреле меня уже явно не переносила. Несмотря на это, благоволение Ленина продолжалось, оно почти мгновенно испарилось в июне, а в сентябре окончилось полным со мною разрывом, который Ленин подъитожил заявлением: «*Я с филистимлянами за один стол не сажусь*». Однако, не буду забегать вперед, нужно рассказать сначала о периоде благоволения, а оно несомненно было.

Откуда и почему оно появилось? Ответить на это гораздо труднее, чем на другой вопрос, почему благоволение исчезло. Ведь я был только капралом, самое большое прапорщиком революции, не принадлежал к важному и особенно интересующему Ленина слою полковников и генералов революции, делавших партийную погоду. Одним отсутствием у меня «мрачности» или одной хорошей рекомендацией Кржижановского и Красикова — благоволение трудно объяснить. Я убедился потом, что Ленин недоверчив, мало, вернее — совсем не доверяет рекомендациям, суждениям даже близких товарищей, полагаясь только на свой глаз и слух. Ища причин благоволения, приходится гадать... Вот, мне кажется, один из мотивов, если не благоволения, то некоторого «благосклонного» внимания.

В день нашей первой встречи Ленин дал мне для прочтения ряд брошюр и, в том числе, довольно объемистую брошюру Б. Правдина «Революционные дни в Киеве», посвященную всеобщей стачке в июле 1903 г. (столкновениям с войсками и казаками, убийству нескольких рабочих). Брошюру написал, специально для этого приехав в Женеву, член киевского Комитета В. В. Вакар и ее редактировал Ленин и Крупская. Брошюра была написана и издана, когда я сидел в тюрьме. Разумеется, мне было очень интересно узнать, что та-

кое написал о Киеве Вакар. Он описывает в своей брошюре некоего комитетского «оратора Василия» при выступлениях на рабочих сходках «из светлого блондина, превращавшегося в жгучего брюнета». Сие превращение производили проф. химии М. М. Тихвинский и его супруга. Профессор, по признанию сведующих людей, — был превосходным, ученым химиком, изготовляемая же им краска для волос — была дрянь. Несравненно хуже той, что ныне применяют даже второстепенные парикмахеры. Под большим солнцем она долго не держалась, расплывалась, что и начало происходить, когда Василий, в дни всеобщей стачки в Киеве, по поручению Комитета, держал, как ему тогда казалось крайне важную, речь пред 2500 рабочих железнодорожных мастерских. «Комитетский оратор Василий», о котором писал Вакар-Правдин, был автор этих строк. Разумеется (ведь это прибавляло мой вес на революционных весах!) я сказал об этом Ленину. Это, видимо, произвело на него впечатление.

— Ах, вот как! Это хорошо! Но неужели пришлось выступать пред двумя тысячами рабочих и как долго?

— Минут пятнадцать и передо мною было не две тысячи, может быть, даже две с половиной.

— Повезло вам, — с некоторой завистью заметил Ленин, — Гусеву в Ростове тоже удалось говорить пред тысячами. Обоим вам повезло. Мне в бытность в Петербурге не приходилось выступать с речью и перед 15 рабочими. Я даже не знаю хватит ли моего голоса для речи пред большой толпой.

При втором посещении Ленина — с его стороны повидимому прибавился новый мотив обратить на меня благосклонное внимание. Крупская вспомнила, что моя фамилия упоминалась в «Искре». В первый раз это было в связи с происходившей в феврале 1902 г. большой политической демонстрацией на Крещатике — главной

улице Киева. Мое имя фигурировало в сообщении «Правительственного Вестника» о киевском бунте, перепечатанном всеми русскими газетами и, разумеется, во всех революционных изданиях заграницей. Будучи одним из активных участников демонстрации, я свирепо сопротивлялся напавшей на нас полиции. Часть демонстрантов была уже арестована, другая разогнана, а я всё еще продолжал драться. Многочисленные удары палками не могли меня сокрушить и тогда, чтобы уничтожить последний «неприятельский редут», какой-то обозленный полицейский с криком — «Ах, ты сволочь!» — рубанул саблей по голове так здорово, что сразу превратил в «мертвое тело».

«Студент Вольский, — писала «Искра (№ от 15 февраля 1902 г.) — замертво упал пораженный палкой и ударом по голове шашкой», а другое сообщение, в «Искре» же, прибавляло: «Говорили, что Вольский убит. Потом мне пришлось слышать, что он пришел в себя, но останется ли жив — не знаю».

После этих «похорон», я к моему удовольствию, прожил, как видите, еще 50 лет, не будучи в состоянии в течение очень долгого времени устранить неприятного воспоминания о полицейской сабле. Оно оставалось в виде отчаянных головных болей. Один известный московский хирург предлагал в 1928 г. освободить меня от последствий удара с помощью трепанации черепа. Боясь, что одно неприятное воспоминание может замениться другим, я от сего любезного приглашения отказался. В настоящее время, когда благодаря гигантскому прогрессу, человечество оказалось технически способным в несколько минут уничтожать сотню тысяч мужчин, женщин и грудных детей, говорить о «мертвом теле» какого-то студента политехника столь же комично, как сердобольно ахать о кем-то поврежденной лапке муравья. Но 50 лет назад с «мертвыми телами» еще весьма считались и представители самодержавного правитель-

ства. Справиться о состоянии моего здоровья приезжал в тюремную больницу сам генерал Новицкий — шеф местной жандармерии! Мыслимо ли что-либо подобное в царстве Сталина?

Сабля полицейского создала мне в Киеве такую популярность, что один учитель художественного училища, случайно встретившись со мною, убедительно просил «оказать ему большую честь» и занять превосходную комнату в снимаемом им двухэтажном доме. В качестве платы я должен был только три раза в неделю по часу читать ему французскую беллетристику.

Принять его предложение соблазнили неслыханно низкая плата за комнату, и другое обстоятельство. Моя комната в этом доме, спрятанном от всех глаз в огромном тенистом парке на краю глубокого оврага, могла бы служить, по моему мнению, надежным конспиративным местом для заседаний комитета и всяких революционных явок. Несколько позднее обнаружилось, что сделанное предложение было ловушкой. Учитель был провокатором, агентом полиции и если я не попался в западню и не посадил в нее других, то только потому, что скоро оставил его жилье. При избытке энергии, и отсюда непоседливости, мне нравилось почти ежемесячно менять квартиру. Обременительного багажа не было.

Ленин заставил меня самым подробным образом рассказать о демонстрации 1902 г. и столкновениях с властями в июле 1903 г. Он настойчиво добивался знать, насколько физически сильно и стойко демонстранты сопротивлялись полиции. Видя, что я несколько недоумеваю, почему его так интересует «спортивная», точнее сказать, «зубодробительная сторона» демонстрации, он с большой страстью ответил:

— Поймите же, настал момент, когда нужно уметь драться не в фигуральном, не в политическом только смысле слова, а в прямом, самом простом, физическом

смысле. Время, когда демонстранты выкидывали красное знамя, кричали «долой самодержавие» и разбегались — прошло. Этого мало. Это приготовительный класс, нужно переходить в высший. От звуков труб иерихонских самодержавие не падет. Нужно начать массовыми ударами его физически разрушать, понимаете— физически бить по аппарату всей власти. Нужно, чтобы агенты этой власти чуствовали, что на их насилие мы отвечаем насилием же, не только словом возмущения и протеста, а физическим актом. Это важно. Хамы самодержавия за каждый нанесенный нам физический удар должны получить два, а еще лучше, четыре, пять ударов. Не хорошие слова, а это заставит их быть много осторожнее, а когда они будут осторожнее, мы будем действовать смелее. Начнем демонстрации с кулаком и камнем, а, привыкнув драться, перейдем к средствам более убедительным. Нужно не резонерствовать, как это делают хлюпкие интеллигенты, а научиться по-пролетарски давать в морду, в морду! *Нужно и хотеть драться, и уметь драться.* Слов мало.

Ленин, сжав кулак, двинул рукою — словно показывая как это нужно делать. А так как всё говорило за то, что во время демонстрации я не склонял голову как «хлюпкий интеллигент», а действовал «по-пролетарски» Ленин явно мною остался доволен. Я не думаю, чтобы кого-либо из своего окружения, ибо в уличных драках оно мало участвовало, он столь подробно расспрашивал о зубодробительных операциях. Что же касается меня, то я из этого разговора немедленно вынес очень важный вывод относительно Ленина. «Вот, думал я, это настоящий революционер высокой марки, это не хлюпкий, резонирующий интеллигент, а человек, у которого *полная гармония слова и дела.* Он и теоретик, и практик, у него все данные, чтобы стоять наверху, руководить движением, но когда это будет нужно, он не побоится сойти с этого верха и пойдет со всеми на улицу, станет на бар-

рикады. Ленин не из тех, которые под разными самыми благовидными предлогами увиливают и остаются вне опасности. Идти драться с полицией, казаками, быть на баррикаде — значит быть готовым рисковать своей шкурой. И Ленин в нужный момент может это сделать, он не трус. Создаваемое о Ленине впечатление усилилось еще и тем, что он заметил по поводу моей голодовки в тюрьме (сантиментальные мотивы голодовки я от него скрыл): «В жизни нужно иметь смелость рисковать. Вы рискнули и выиграли. Одобряю».

Располагая позднее уже обширным материалом для познания Ленина, я понял сколь неверно и сколь поверхностно было мое женевское представление о нем. Той, в моем понимании «гармонии слова и дела», приписываемой Ленину, у него как раз и не было. Он никогда не пошел бы на улицу «драться», сражаться на баррикадах, быть под пулей. Это могли и должны были делать другие люди, попроще, отнюдь не он. В своих произведениях, призывах, воззваниях, он «колет, рубит, режет», его перо дышит ненавистью и презрением к трусости. Можно подумать, что это храбрец, способный на деле показать, как не в «фигуральном», а «в прямом, физическом смысле» нужно вступать в рукопашный бой за свои убеждения. Ничего подобного! Даже из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. Его правилом было «уходить по добру по здорову» — слова самого Ленина! — от всякой могущей ему грозить опасности. Мы знаем, например, из его пребывания в Петербурге в 1906-7 г.г. (он жил тогда под чужим именем), что эти опасности он так преувеличивал и пугливое самооберегание доводил до таких пределов, что возникал вопрос: не есть ли тут только отсутствие личного мужества? Л. Троцкий, как и многие другие, заметивший эту черту Ленина, дал ей следующее объяснение.

«К. Либкнехт был революционером беззаветного му-

жества. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. Наоборот, Ленину всегда была *в высшей степени* свойственна забота о *неприкосновенности* руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что во время войны он должен обеспечить главное командование».

Вероятно, такое объяснение правильно, но оно подкрепляет уверенность, что призывая других идти на смертный бой, сам Ленин на этот бой, на баррикаду, с ружьем в руках, никогда бы не пошел. Какие бы рационалистические, увесистые аргументы в защиту такой позиции ни приводились — морально и эстетически она всё же коробит...

Возвращусь к мотивам «благоволения». Одни речи «Василия» или его «умение драться» создать «благоволение» всё-таки не могли. Это всё относилось к прошлому и подвиги сии мог совершить и враждебный Ленину меньшевик. Благоволение, полагаю, пришло по другой причине: из бесед со мною Ленин увидел, что я горячий его сторонник, готовый *драться* за него *«большевик»*. В другое время на это он не обратил бы особого внимания, но тогда в Женеве сторонников у него было очень мало и для пополнения его «армии» был ценен каждый лишний солдат-большевик. Кстати, о термине «большевик». В первое время после раскола партии термины «большевик» и «меньшевик» еще не были в ходу. Они появились и узаконились лишь в конце 1904 г. Сначала говорилось о сторонниках «большинства» съезда и сторонниках «меньшинства», или, как часто именовал эти группировки Ленин, — сторонниках «старой» и «новой Искры».

Почему же я был горячим сторонником Ленина и в

этом смысле большевиком. В чем заключался мой большевизм?

Тяга к Ленину началась совсем не после прочтения его «Развития Капитализма в России». К тому времени (1899 г.), когда появилось это произведение, на эту тему уже было напечатано достаточно книг. Особо новых перспектив Ленин в своей работе лично мне не открывал, к тому же мне казались более интересными «Русская фабрика» М. И. Туган-Барановского и П. Б. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», появившиеся ранее книги Ленина (Ильина). Другая книга Ленина — «Экономические этюды», вышедшая в 1898 г., т. е. раньше его «Развития капитализма» и составленная из его статей, печатавшихся в толстых журналах, уже тем более не могла увлекать. Помню, в 1902 г. в группе студентов — Леонид Зеланд в реферате о Ленине и Струве сопоставил «Экономические этюды» с сборником статей Струве «На разные темы» и, несмотря на то, что политические симпатии наши были полностью на стороне Ленина, мы, с некоторым сожалением, принуждены были признать, что его «Этюды», за исключением нескольких вещей, в сравнении со статьями Струве бесцветны. Не отсюда пошел интерес к Ленину.

Он начал появляться в 1901 г. (обращали на себя внимание статьи Ленина в «Искре») и стал очень большим в 1902 г., когда вышла в свет его книга «Что делать». О ней Каменев правильно сказал, что в истории предреволюционной эпохи нельзя назвать ни одного произведения, влияние которого можно сравнить с тем, что имела эта книга «на процесс формирования политических сил в России». Ее влияние можно показать, взяв для примера киевскую группу студентов, молодых социал-демократов, к которым принадлежал и я. В нашей группе иные (как я) познакомились с марксизмом в конце 90-х годов, другие несколькими годами позднее, но

все начали вступать в общественную и политическую жизнь, когда народническая идеология была смята победно торжествующим марксизмом. Предыдущие поколения легальных и нелегальных марксистов от начала 80-х до середины 90-х годов подняли знамя новой идеологии, нам оставалось лишь стать под него. Мы пришли на готовое.

Что толкало нас стать под это знамя? Точно могу ответить и говоря не от себя, а от лица целой уже упомянутой группы: в нашей среде это много раз обсуждалось.

Мы обеими руками хватали марксизм потому, что нас увлекал его социологический и экономический *оптимизм*, эта фактами и цифрами свидетельствуемая крепчайшая уверенность, что развивающаяся экономика, развивающийся капитализм (отсюда и внимание к нему), разлагая и стирая основу старого общества, создает новые общественные силы (среди них и мы), которые непременно повалят самодержавный строй со всеми его гадостями. Свойственная молодости оптимистическая психология искала и в марксизме находила концепцию оптимизма. Нас привлекало в марксизме и другое: его *европеизм*. Он шел из Европы, от него веяло, пахло не домашней плесенью, самобытностью, а чем-то новым, свежим, заманчивым. Марксизм был вестником, несущим обещание, что мы не останемся полуазиатской страной, а из Востока превратимся в Запад, с его культурой, его учреждениями и атрибутами, представляющими свободный политический строй. Запад нас манил. Наша группа сугубо читала всякие истории западной цивилизации и культуры, обозрения иностранной жизни в толстых журналах и тщательно искала всякие элементы западной струи в русской истории. Запад манил ценностями уже в нем существующими (парламент, свобода слова, собраний, печати, партий, союзов и т. д.), а еще больше тем, что в нем рождается, а силу и распространенность

этого нового рождающегося — социализма — мы *преувеличивали* в громадной степени и сентиментально раскрашивали. Строй буржуазный, хотя бы культурный и свободный, нас, конечно, не удовлетворял (в нем нет социального равенства, социальной справедливости). Для нас неопровержимой истиной было, что только «социализация всех средств и орудий производства» изменит радикальным образом всё положение. Добавлю, что уже в конце 90-х годов я лично не встречал никого, кто разделял бы народнический взгляд, что от самодержавного строя можно перейти к «высшему этапу» — строительству социализма, минуя «средний этап» — буржуазно-капиталистическое общество[1]...

Вспоминая то время, нельзя удержаться от, пусть добродушной, все же усмешки по адресу «великолепной» ясности, горделиво сидевшей в наших головах. Оптимизм, европеизм, социализм, идея последовательности этапов — всё обтесывалось этими верховными понятиями, всё в полном порядке располагалось по рубрикам, всё было ясно, только неясным было — *что же нам делать?* А мы хотели делать. Политическая атмосфера самодержавия, положение рабочих, нищета крестьян нас волновали. Мы не могли сидеть спокойно, изучать механику, технологию, сопротивление металлов или римское право. Участие в одном студенческом движение (за это я был выслан в 1898 г. из Петербурга) нас не удовлетворяло. Со злом хотелось бороться по-настоящему. Как?..

Осенью 1898 г., незадолго до моей высылки из Петербурга, я слушал на сходке в Технологическом Институте речь одного студента старшего курса. Начальство Института, чтобы помешать сходке, выключило в аудитории электричество; освещенная кое-где принесен-

---

[1] Исключение только Вилонов, член кружка в Киеве, в котором я был пропагандистом.

ными свечками, она была погружена в темноту. Ни фигуру, ни лицо этого говорившего студента различить было нельзя, доносился лишь из мрака глухо звучавший голос, и вероятно, эта обстановка усиливала впечатление от его речи, крепко врезавшейся в память. Он желчно говорил о студенческом движении: «Вы устраиваете сходки, протестуете, волнуетесь, думаете сделать что-то большое. Неужели вы не понимаете, что вы не сила? Вы ничто. Такое же ничто как болтающая либеральная буржуазия и беспомощное, темное, забитое крестьянство. Единственная сила, способная разрушить современный строй — это мощный числом, хорошо организованный, познавший свои классовые интересы пролетариат. Научный социализм устами Маркса учит, что ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются скрытые в ней новые производительные силы. И с головы самодержавно-крепостнического строя не упадет *ни один волосок,* и этот строй не погибнет, пока не разовьется российский капитализм, пока из брошенных на фабрики и заводы крестьян и мещан не сформируется мощный рабочий класс. Этого класса у нас еще нет, а те слои его, которые существуют, удушаются варварскими условиями, свойственными начинающему появляться капитализму. Если вы, действительно, хотите делать полезное общественное дело, оставьте ненужную болтовню, идите в рабочую среду, помогайте ей как можете, чем можете. Делайте всё, чтобы улучшить, поднять ее нищенский уровень жизни, избавить ее от каторжного одиннадцати-часового рабочего дня. Помните — только из этой среды придет в будущем освободитель нашей страны».

Когда этот оратор кончил свою речь и спешил скрыться — кто-то из аудитории ему крикнул вдогонку:

— Спасибо за панихиду! Вы посоветовали нам ничего не делать, лечь спать и дожидаться, пока появятся фабрики и разовьется капитализм...

О марксизме в таком «панихидном» виде пришлось слышать первый раз. В нем было что-то верное, и, вместе с тем, непереносимое узкое, сковывающее волю. То, что писала подпольная «Рабочая Мысль» Петербурга и «Рабочее Дело» заграницей, — содержало, особенно у «Рабочего Дела», лишь ослабленные отголоски этого марксизма. Не проявляясь особенно открыто, он всё-таки, несомненно, существовал. Со сторонниками таких взглядов пришлось встречаться в Киеве в 1900, 1901 г. и даже 1902 г. И у всех их главный рецепт гласил: идите к рабочему классу, только к нему, помогайте улучшить его экономическое положение, разоблачайте фабричные порядки, пробуйте устраивать стачки... Против этой системы взглядов, получившей название «экономизм», и выступила в 1901 г. «Искра» и с каждым доходившим до нас номером газеты, мы делались всё более и более «искровцами». Из области стачечной борьбы только за повышение заработной платы газета вела к борьбе на почве решительно всех проявлений общественной жизни. Она писала о телесном наказании крестьян, взяточничестве чиновников, самодурстве министров и губернаторов, обращении полиции с населением, об унизительном положении земств, студенческом движении, об отдаче студентов в солдаты, преследовании сектантов, удушении печати и прочем, и прочем. Это было обличением всех сторон самодержавного строя и так из области только «экономики» («экономизма») мы перемахнули в область «политики», почти только одной «политики»...

«Искра» в 1901 г. подготовила почву для «Что делать» Ленина и когда эта книга появилась — она была восторженно принята всей нашей киевской группой молодых социал-демократов, уже «ходящих» в рабочую среду, но далеко не всегда уверенных, делают ли они то, что «надо делать». Ленинская книга была уже безудержной борьбой с панихидным марксизмом и экономизмом.

Идее, что даже «волосок нельзя содрать с головы самодержавия, пока не разовьется капитализм» и рабочий класс не станет многочисленным, Ленин противопоставлял: «дайте нам организацию настоящих революционеров и мы перевернем Россию». Призыву идти только в рабочую среду он противопоставлял призыв «идти во все классы общества» в качестве «теоретиков, пропагандистов, агитаторов, организаторов». Вместо «трэдюниониста», организующего стачечные кассы и общества взаимопомощи, он выдвигал образ «профессионального революционера», Георгия Победоносца, борющегося с драконом, откликающегося «на все случаи произвола и насилия, к каким бы классам ни относились эти случаи». Это нам нравилось. Ленин воспевал «беззаветную решимость», «энергию», «смелость», «инициативу», «конспиративную ловкость» революционера и доказывал, что личность в революционном движении может творить «чудеса». Могучая, тайная, централизованная организация, состоящая из профессиональных революционеров, «всё равно студенты ли они или рабочие», по его словам, будет способна на всё «начиная от спасения чести, престижа, преемственности партии в момент наибольшего угнетения и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания». Эта организация опрокинет самодержавие «могучий оплот не только европейской, но и азиатской реакции» и сделает «русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата». Словом, из «Искры» возгорится пламя.

Лишь чрез много лет обнаружилось — куда собственно вела книга Ленина, но тогда, в 1902-3 г.г., о том не могло быть и мысли. В книге были какие-то неувязки, но на них не обращалось внимания. Она полыхала буйным волюнтаризмом (в ее основе, несомненно, лежало далеко отходящее от марксизма «героическое понимание истории») и ее призывы «волить», действо-

вать, бороться, проникаясь «беззаветной решительностью», находили у нас самый пламенный отклик. В. Вакар в брошюре, изданной в 1926 г. киевским отделом Истпарта (Истории партии), описывая революционное движение в Киеве в 1901-1903 г.г., писал:

«Студент-политехник Вольский принимал в этот период чрезвычайно активное участие в работе социалдемократического комитета. Это был тогда здоровый, цветущий, жизнерадостный юноша атлетического сложения. Его энергичный и экспансивный характер толкал его всегда на самые опасные и трудноисполняемые предприятия, требовавшие смелости, решительности, а иногда ловкости и физической силы. Борьба, риск и опасность увлекали т. Вольского».

За исключением наименования «юноши» (я казался моложе моего возраста), мои паспортные приметы кажется правильны. И если я указываю на них, то потому, что этими приметами — смелостью и решительностью — отличалась *вся* наша группа. Ее психология превосходно подходила под концепцию «Что делать», и поэтому-то она и нашла в нас верных исполнителей всех ее указаний. В этом смысле мы, можно сказать, были тогда *стопроцентными ленинцами.*

Плеханов, после своего разрыва с Лениным, по поводу «Что делать» язвил, что «Ленин написал для наших практиков катехизис, не теоретический, а практический, за это многие из них прониклись благоговейным уважением к нему и провозгласили социал-демократическим Солоном». Верно: «Что делать» воспринималось как катехизис и он был для нас ценен своими рецептами практического и организационного порядка. Высокая оценка этого катехизиса наводила на мысль, что было бы превосходно, чтобы после съезда Ленин занял бы такой пост, который на основании врученного съездом права позволил бы ему контролировать, сле-

дить за местными организациями, «подтягивать» их, способствовать их превращению в те отряды, которые могли бы уже штурмовать самодержавие. На эту тему мы однажды долго беседовали с Красиковым, лежа на траве в лесу за Киевом. Мысли были темноваты, мало продуманы, они все же приходили в голову и это объясняет, почему, попав в Женеву, и слыша обвинения Ленина в «диктаторстве», в желании командовать партией, — меня это не шокировало.

Съезд партии, намеченный осенью 1903 г. — должен был ее объединить и тем придать ей огромную силу. Вместо этого, произошел раскол. Первые сведения о нем я получил, находясь в киевской тюрьме. Смутно клочками дошли слухи о каких-то разногласиях — кого считать членом партии. Потом пришли слухи о борьбе на съезде за состав Центрального Комитета и редакции «Искры», как всем известно до сего времени слагавшейся из шестерки: из трех «стариков» (Плеханов, Аксельрод, Засулич) и трех молодых — Ленин, Мартов, Потресов (Старовер). О происшедших изменениях в редакции я впервые узнал от соседа по тюремной камере — Грюнвальда, выборного старосты от политических заключенных, в качестве такого имевшего право посещать камеры всех этажей тюрьмы и посему имевшего возможность набираться разных новостей, всякими окольными путями долетавших до тюрьмы. Грюнвальд не был поклонником Ленина, его симпатии склонялись к «экономизму». «Съезд, — сказал он — по предложению Ленина хамским образом удалил из редакции таких почтенных лиц как Аксельрод, Засулич, Старовер. Хорошенький съезд». Я протестовал против выражения «хамским образом», но самый факт не произвел на меня большого впечатления. Пусть Аксельрод почтенная фигура, но имя его, редко появлявшееся в печати — я знал только две им написанные брошюрки — мне мало что говорило. Имя Засулич — было много ярче. Все

знали, что 26 лет назад, заступаясь за наказанного розгами политического заключенного, она стреляла в петербургского генерал-губернатора Трепова. Она была как бы предшественницей «Народной Воли». Кроме того, под псевдонимом Каренин она написала интересную книгу о Жан-Жаке Руссо. Однако, эти достоинства обычно стирались тем, что о ней говорили приезжающие из-за границы партийцы: «Вера Ивановна, знаете ли, дряхлая старуха. Ведь ей 50 лет (это ныне меня возмущающее указание — тогда производило впечатление), куда ей работать! На нее никак нельзя рассчитывать». Много меньше мне говорило имя Старовера-Потресова. Только позднее, в течение второй эмиграции, т. е. после ухода из «социалистического царства», я мог узнать и оценить этого благородного и талантливого человека.

При таком отношении к трем названным лицам я не усмотрел ничего «хамского» и ненормального, что съезд (как я потом узнал) 19 голосами против 17 не избрал их в состав редакции. Нежелание Мартова быть в редакции без этих лиц я нашел отрицанием постановления съезда, «возмутительным» нарушением дисциплины, а это словечко, после приятия «Что делать», часто напрашивалось на язык. В конце концов, мне представилось самой желательной и нормальной ситуацией, чтобы в редакции «Искры», столь важном и руководящем партийном органе, осталось только два редактора: отец русского марксизма — Плеханов и такой выдающийся человек — теоретик, организатор, практик, как Ленин. До моего ареста я работал в «Киевской Газете». В ее ведение, помимо редактора, вмешивались два издателя и газета от этого терхголовья страдала. Секретарь редакции, поднимая руки к небесам, часто мне говорил: «Я двадцать лет работаю в газетах, это такое дело, которое не терпит многих командиров, в газете должен быть один верховный командир, подобно капитану на судне». Аргументы и иллюстрации им приводимые казались мне

столь вескими, что, распространяя их на «Искру», я стал находить очень полезным исчезновение в ней шестиголовья и замену его двухголовьем. Но в конце ноября в тюрьму пришло известие, что Ленин был принужден покинуть «Искру» и в ней появилось пятиголовье, т. е. в нее возвратились невыбранные съездом редакторы. Этот факт я счел каким-то пронунциаменто, я ломал голову, силясь понять, что случилось, что это могло означать. Раз Ленина удалили с руководящего поста партии, значит победили люди, отвергающие ленинский «катехизис», а отвергнуть его было бы равносильно отрицанию всего, что мы думали и делали с 1901 г., следуя за «Искрою» и «катехизисом». Отсюда можно понять, что еще до приезда в Женеву, у меня появилась враждебность к женевским меньшевикам и желание защищать Ленина. Абсолютной уверенности, что в своем поведении на съезде и после съезда он во всем прав, конечно, не было. Нужна была малость, один небольшой толчок, и такая уверенность создалась. На нее подтолкнул один человек. Если бы я не столкнулся с ним — я не объявил бы себя решительным сторонником Ленина. Не сделай я этого, Кржижановский не послал бы меня в Женеву, а не попади я в нее — не было бы и встречи с Лениным и целый период моей жизни был бы наверное совсем иным...

Кажется, в июне 1903 г. в число членов Киевского Комитета вступил — не помню уже откуда — приехавший товарищ, его мы звали Александром. Настоящая его фамилия Исув. Он занимал позднее видное место в меньшевистской партии и считался выдающимся «практиком». Фальшивый паспорт, с которым он появился в Киеве, возбудил подозрение полиции. Снятую им комнату он должен был поэтому оставить и искать ночлега у разных лиц. Для этого он довольно часто приходил ко мне, а, кроме того, еще чаще нам приходилось встречаться, обсуждая всякие комитетские дела. Трудно себе

представить две человеческие породы более разные, более противоположные, чем он и я. Он был до невероятности худ, слаб и, как труп, бледен. У меня бицепсы 42 сантиметра в обхвате — наверное толще его ноги. Он всегда был серьезен, угрюм, никогда не смеялся, изредка на губах пробегала тень чего-то отдаленного, похожего на улыбку. А я, признаюсь, никогда не упускал случая повеселиться и посмеяться. Для него не существовало ничего, кроме революции и «служения рабочему классу». Революция захватывала и меня, всё же было кое-что и вне ее. Он читал только марксистскую литературу, больше всего нелегальную, ее превосходно знал и особенно историю революционного движения в России. Последнюю я знал плохо, но я читал многое другое, например, историю философии. К этому моему чтению Александр относился с великим подозрением. Его глубоко возмущало, что я не считаю Плеханова философом. «Не по чину берете, критикуя Плеханова», — говорил он мне. В нашей «кампании» постоянно велись разговоры и споры о разных частях марксовой доктрины и не всегда они приводили к славословию Маркса. Исув никогда в этих спорах не участвовал. Он считал их лишними, я бы сказал «греховными». «Начали косточки Маркса промывать», — недовольно замечал он. В моей комнате были вещи, от которых он отворачивался с нескрываемым отвращением: тяжелые гири и штанги. Ему было непостижимо, что человек, называющий себя социал-демократом, даже просто интеллигентный человек, может увлекаться атлетикой, грубым «цирковым» делом — поднятием тяжестей. Такой человек, по его мнению, не может быть серьезным революционером. «Прочитайте биографии всех известных революционеров в мире и ни одного не найдете, кому в голову бы пришло ворочать гири». Найдя однажды у меня на столе «Так говорил Заратустра», Александр сказал: «Вы и это читаете?» — и брезгливо, точно это была какая-то похабная книга,

ее от себя отстранил. Желая его подразнить я стал доказывать, что у Ницше есть специально ему — Александру — посвященная глава — «О ненавидящих тело». Тело он, несомненно, презирал. Я считал его монахом. Я был уверен, что он никогда не знал женской ласки, отворачивался, бежал от нее.

В нашей квартире, да и во всей нашей группе, часто шли разговоры — почему мы участвуем в революции. «Участие в ней, — говорил Александр, — диктуется долгом пред угнетенным пролетариатом, мы должны отдать все наши силы для его освобождения, это принудительное веление совести». Никто из нашей коммуны и ближайших к нам товарищей не стоял на этой точке зрения. Мы находили, что служение революции, «общественному благу» *не должно чувствоваться* долгом, *чем-то извне диктуемым, принудительным*. Если это долг, обязанность, тогда те жертвы, которые личность несет при царском режиме, участвуя в освободительном движении, ей неизбежно будут казаться тяжелыми. Нужно так организовать свою психику, чтобы на все тяжелые испытания (тюрьма, ссылка, избиения) отвечать извнутри идущим «Наплевать, я на это шел, я знал, чем это мне грозит». Вместо чувства «приказа», «веления» («ты должен»), должно быть чувство свободного: *«я того хочу»*. «Хочу», идущего не от «я» эгоиста, а от развиваемых личностью альтруистических эксоцентрических чувств («Очерк альтруистической морали» Гюйо очень читался!). Из нашей группы ленинцев по меньшей мере человек пять-шесть (два брата Зеланд, я, Пономарев, Мельницкий, кажется — Бьянки) строили свое «хочу» на Ницше и Гюйо. Вязалось ли это с «Что делать» — особый вопрос. «Если участие в революции, — возражал Александр, — базируется не на долге, а только на «хочу», то ведь может наступить момент, когда вы скажете: Не хочу». «Да, — отвечали мы — такой момент, теоретически рассуждая, может наступить, но если он насту-

пит — неужели нужно будет тянуть революционную лямку по принуждению, под хлыстом?». Разговоры на эту тему обычно кончались тем, что Александр хлопал дверью и уходил. Он заявлял, что «никогда и ни при каких условиях из революции *не выпадет*. Те, кто участвуют в ней по долгу — до конца жизни останутся революционерами, тогда как те, кто допускают уход из революции, этим самым обнаруживают, что у них к революции неустойчивое и подозрительное отношение».

Постоянные споры с Александром подтачивали мои с ним отношения и в один день они резко и окончательно испортились.

Ему пришлось однажды ночевать у З-скаго, бывшего несколькими годами пред этим моим коллегой по Технологическому Институту в Петербурге. Уже не знаю, почему З-ский рассказал Александру, что в Петербурге я «дрался на дуэли». Такая история со мною действительно произошла. Ничего позорного я и по сей день в ней не вижу. Она только глупа — было очень нелепо из-за «Прекрасной Дамы», далеко не прекрасной, подставлять под пулю лоб. Я, а потом по моей просьбе и З-ский, тщетно уверяли Александра, что никакой дуэли не было, что З-ский только шутил. Он этому не поверил, а в самом факте усмотрел «разоблачение меня». Приговор его был беспощаден: З-скому он объявил, что я, в сущности, не революционер-социалист, а по своему характеру подобие немецкого бурша-дуэлянта, любитель авантюр. Он перестал ко мне приходить и с тех пор на заседаниях комитета, собраниях пропагандистов, на разных совещаниях в каждом высказываемом мною мнении, предложении, стал упорно искать и непременно находить какую-нибудь мысль или даже фразу подозрительной, еретической, уклоняющейся от принципов марксизма, от тактики или программы партии. И, не глядя на меня, он произносил длинную речь о моих ошибках. Когда речь заходила о каком-нибудь смелом (по тому

времени!) предприятии, например, спасении нелегальной литературы, оказавшейся в опасном месте, неожиданном появлении с речью на какой-нибудь фабрике, — Александр, обращался ко мне: «Вы, конечно, за это беретесь?». Тон его при этом был крайне неприятен. Я узнал потом от старейшего члена нашего комитета «Деда» (Я. Г. Френкеля), что мое желание браться за всякого рода опасные предприятия Исув объяснял «только присущим мне вкусом к авантюре»[2]. Из-за этих слов у меня

[2] Два года спустя (в 1905 г.) после этих стычек с Исувом мне пришлось снова быть с ним в подпольи, на этот раз уже в московском комитете меньшевиков. Один из членов этого комитета П. А. Гарви в своей книге («Воспоминания социал-демократа» Нью-Иорк 1946 г.), описывая то время, дает портреты участников движения. Обо мне, после нескольких лестных слов, он говорит, что я «отличался большой впечатлительностью, импрессионизмом, но и большой инициативой, не останавливающейся пред самыми рискованными предложениями, которые иногда прямо «эпатировали» более уравновешенных членов комитета, особенно И. А. Исува, *у которого глаза в таких случаях начинали метать молнии и колени дрожать,* что нисколько не смущало всегда веселого и оживленного Вольского» (стр. 590). По свойственной Гарви деликатности он кое о чем умалчивает, однако, не скрывает, что на иные мои предложения в комитете смотрели как на *«очередную авантюру»*. Кто так смотрел? Не Гарви, я с ним был в превосходных отношениях. Этот взгляд на меня внушал Исув. Вот пример. В Москве с некоторым и даже большим риском для себя (за это по головке не гладили) я «слепил», отыскивая в течение четырех месяцев нужные связи в казармах, организацию из десяти солдат разных частей московского гарнизона. Кстати сказать, первую связь, оказавшуюся крайне важной, получил из «буржуазных кругов» от члена конст.-демократической партии, князя Шаховского. Исув, приехавший в Москву позднее меня, узнав, что с этой организацией имею дело я, *немедленно* начал убеждать других членов комитета запретить мне иметь какое-либо касательство к военной организации. Он уверял, что вследствие присущего мне вкуса к авантюре я могу сделать что-то опасное. Что? Уж не думал ли он, что во главе этих «10» (почти «12» Блока!) пойду на приступ дворца московского генерал-губернатора. В его убеждении, что я обязательно должен учинять авантюры было нечто паталогическое.

произошло с ним резкое столкновение. Еще большее столкновение произошло по следующему поводу. Если память мне не изменяет, это было в дни всеобщей стачки. В квартиру, где мы заседали, прибежал запыхавшийся гонец, сообщивший, что где-то за Галицким базаром собралась толпа рабочих и требует «оратора из комитета». Схватив фуражку, я бросился к двери. Опередив меня, Александр заслонил дверь, заявив, что не даст мне выйти, пока не скажу, что буду говорить рабочим. У меня в глазах потемнело, схватив его в охапку, я через комнату бросил его в угол. За это через две недели пришлось предстать пред третейским судом под председательством проф. М. М. Тихвинского. Суд мне высказал порицание, я попросил у Александра извинение, однако, без большого раскаяния. Любопытно, что все осудившие меня судьи, как выяснилось из откровенных разговоров, внутренно были на моей стороне и, если бы реакция против «заслона» Александра не была бы так груба, порицание получил бы не я, а он.

Таковы были мои отношения с Александром. И вот от него, когда я сидел уже в тюрьме, к кому-то из заключенных пришло в декабре большое письмо подробно описывающее, что происходило на съезде и после него. Александр, очевидно, получил эти сведения от какого-то делегата, бывшего на съезде. Письмо мне дали прочитать. Александр ожесточенно критиковал в нем Ленина, называя его «дезорганизатором» слагавшегося единства, человеком, обнаружившим претензию с помощью подобранных на съезде «баранов» самодержавно командовать партией. Александр приводил разные примеры закулисных интриг на съезде, которыми дирижировал Ленин и кончал свое письмо заявлением, что он *всецело* принимает, одобряет позицию меньшинства съезда и считает, что Ленин заслуживает бойкота партии. Объективно относясь к этому письму, следует сказать, что оно правильно оценивало, что происходило на съезде и цель,

которую себе ставил Ленин. Но нужно перенестись в атмосферу моих отношений с Александром, чтобы понять, что письмо его бросило меня не против Ленина, а на сторону его. Именно оно-то и создало у меня убеждение, что совершенно прав Ленин, а не его противники-меньшевики. Опыт сношений с Александром показал, что мы глубочайше с ним расходимся. В течение нескольких месяцев я привык психологически находиться на другом полюсе, чем он. Если он ругает Ленина — значит почти уверенно следует вывести, что Ленин прав. Если он объявляет себя меньшевиком, значит — всё говорит за то, что я должен быть большевиком. То, что он «всецело» принимает — никак не могло быть принято мною. Против этого были не только умственные соображения, а нечто более сильное — психологический, инстинктивный, отпор «нутром». Сейчас вся эта аргументация изображает меня в виде довольно-таки смешном и несерьезном — что поделаешь, пишу, как было. И когда пишу врывается воспоминание о последней встрече с Исувом в 1917 г. в дни октябрьской революции. Большевистское восстание было в разгаре, шла перестрелка, где-то гремели пушки. Недалеко от дома, где я жил, меня окружила группа подвыпивших солдат и так как котелок, который я привык носить, придавал мне вид «контр-революционного буржуя», они потащили меня на Скобелевскую площадь (ныне Советскую), чтобы ввергнуть в подвал гостиницы «Дрезден», переполненный арестованными «подозрительными» людьми. Мне всё-таки удалось протелефонировать в находящийся на той же площади дворец губернатора, где находился Военно-Революционный комитет большевистской партии, руководивший восстанием. Меня вызвали туда, выслушали мой негодующий протест и отпустили. Подымаясь по монументальной лестнице дворца, я наткнулся на сидящую на нижней ступени фигуру. Это был Исув, бледный как мел, с блуждающими глазами.

— Что вы здесь делаете? — воскликнул я. — Вы арестованы?

— Ничего подобного.

— Так что вы тут делаете?

— *Я не могу быть с ними,* — и Исув указал наверх, где заседал большевистский штаб, — *Но в такие дни не могу быть и против них.*

— Сколько же времени вы намерены сидеть на этой лестнице, ведь это бессмыслица.

Исув отвернулся и замолчал. Возвращаясь сверху, я снова подошел к нему, убеждая оставить свой нелепый пост, приглашая пойти ко мне. Исув не желал меня слушать. Мне оставалось уйти и я ушел. На этой лестнице дворца был подведен итог спорам, которые 14 лет пред этим в Киеве я вел с Исувом — под каким знаком, аффекционалом, утверждать участие в революции: «*хочу*» участвовать или непременно «*должен*» участвовать? Октябрьская революция не была той революцией, которую в то время я «хотел» и потому я в ней не участвовал. Но ведь Исув заявлял, что при всяких условиях «должен» участвовать в революциях и «ни при каких условиях из нее не выпадет». И всё же «выпал», раздираемый между «не хочу» и «должен».

Он умер, от дизентерии в 1920 г. Мне очень неприятно, что, особенно в Киеве, я испортил много крови этому, конечно, хорошему человеку. Но я не виноват, что был его bête noire...

Из того, как я реагировал на письмо Александра и всего, что говорил как было принято в Киеве «Что делать» — достаточно ясно какой сорт ответов я давал и мог дать на распросы Ленина, что я знаю о расколе и кого считаю правым. Вполне естественно, что Ленин слушал меня с удовольствием. В течение беседы с ним я много раз пытался вырваться из каскада вопросов и узнать самое главное и интересное, что скажет сам

Ленин о съезде, и в чем причина раскола. Ленин от этого уклонялся и приступил к объяснению, лишь окончательно меня «выпотрошив». Данное им в начале января 1904 г. объяснение *глубочайшим образом* отличается от того, что я услышал от него три месяца позднее, когда он писал свою книгу «Шаг вперед — два шага назад».

— Совершенно верно, что я предложил съезду составить редакцию «Искры» из Плеханова, Мартова и меня. Вы не нашли в этом предложении ничего «хамского», а только разумное. Вы абсолютно правы. Я просто исходил из необходимости составить редакцию из наиболее полезных и работоспособных литераторов. Кто больше всего работал в «Искре», кто поставил ее на ноги, сделал руководящим органом партии? Возьмите номера «Искры» при редакции шестерки. Кто и сколько дал статей и фельетонов в эти номера? Мартов — 39, Ленин — 32, Плеханов — 24, Старовер — 8, Засулич — 6, Аксельрод — 4. Это значит, что за три года Старовер смог снести литературное яичко — раз в четыре месяца. Засулич раз в шесть месяцев, Аксельрод — раз в восемь месяцев. Эта статистика достаточно говорит о работоспособности и активности этих литераторов, а если они не работоспособны, они редакции и не нужны, хотя когда-то «Рим спасали». Собственно в редактировании «Искры», в подборе, заказе статей и корреспонденций, в правке материала, в выпуске газеты, кроме меня и Мартова, никто никогда не принимал участия. Аксельрод, кроме того, прославился тем, что был вечно отсутствующим на заседаниях редакции. И вот, когда из этого положения в интересах газеты и партии я сделал логические организационные выводы, меня объявили, как выразился ваш киевский знакомец, «хамом», Собакевичем, наступающим всем на мозоли, самодержцем, Бонапартом, бюрократом, человеком, желающим похорон старых товарищей, их казни, их крови. На Плеханова, на съезде вполне согласного со мною в вопросе реорга-

низации редакции, эти эпитеты не вешают, а на меня их со всех сторон налепили. Неработоспособные генералы, а среди них больше всего Аксельрод, на меня смертельно обиделись и вот откуда пошла истерика, склока, бойкот выбранных съездом учреждений, дезорганизация партийной работы. Я не вижу другого средства унять дезорганизаторов, кроме нового съезда. Произошла стачка обидевшихся генералов, считающих себя незаменимыми. Это простое, к несчастью, верное объяснение того, что произошло.

Конечно, никто в это время не мог предполагать, что склока на съезде нескольких десятков русских подпольщиков — приведет в дальнейшем к *событиям мировой важности*. Ленин давал простое, слишком простое, объяснение причин раскола. Будь оно верно — происхождение большевизма не было бы понятно. Но объяснение Ленина, формально безупречное, произвело на меня впечатление и так как оно было сделано с подкупающей искренностью, я его принял. Мне стало жалко этого лысого человека, подвергающегося незаслуженной травле. Я стал ходить по эмигрантским собраниям, всюду защищая Ленина. Нападал на меньшевиков, особенно на Аксельрода, с такой грубостью, что слушая мои выпады, столь же как я, экспансивная меньшевичка С. С. Гарви, не выдержала и швырнула в меня кружкой с пивом. Я этого заслужил. За свою грубость в отношении к Аксельроду я поплатился не только этим. Дня через два после того скандала, в «большевистский» отель, где я жил, неожиданно приехал сам Аксельрод и занятый им номер оказался рядом с моим. Тут же, после его приезда, к нему пришли некоторые меньшевики, в том числе кое-кто из присутствующих на моих выступлениях. Можно было догадаться, что они передадут Аксельроду о моих речах, что и было. За табльдотом в час дня я оказался рядом с Аксельродом, во время завтрака. Он любезно передавал мне хлеб, соль, блюда и осведомился,

давно ли я из России. В этот день я его больше не видел. На следующий день в $8\frac{1}{2}$ часов утра послышался стук в дверь и, отворив ее на маленькую щелку, я увидел Аксельрода.

— Приходите пожалуйста, ко мне в номер пить кофе, — сказал он. — У меня в избытке всякая снедь для утреннего завтрака. Сделайте старику большое одолжение. Я давно из России, что в ней происходит, вероятно, знаю плохо, а между тем меня всё, и большое и малое, интересует.

Мог ли я отказаться? Не говорило ли бы это о том, что, чувствуя себя в отношении к нему неправым, я боюсь иметь с ним разговор? Но как пойти к нему, когда со мною случилась весьма неприятная история. В отеле я получал оплачиваемое партией жилье и еду, но на всякие другие потребности и покупки денег не было. Не было денег и на прачку. Попав в отель и вечером убедившись, что калориферы отопления пышат жаром, я свою единственную пару белья кое-как вымыл в умывальнике и на ночь повесил сушить на калорифер. Так как на утро оно недостаточно просохло, я положил на кровать коврик из линолеума, находившийся около умывальника, на него белье и, подсунув под себя, досушил своим телом. Дней через шесть, именно в день приезда Аксельрода, я повторил эту операцию, но на другой день рано утром, спрыгнув с кровати, чтобы проверить насколько сухо белье, с ужасом констатировал — калориферы холодны и белье мокро. Сколько я ни подкладывал его под себя, выдерживая холодные компрессы, оно сохло плохо. Аксельрод меня зовет пить кофе, нужно пойти, но пойти к нему в одной только верхней одежде я боялся. Служанка отеля, зная что я рано встаю, приходила ко мне тоже рано. Пока я буду у Аксельрода — она может войти и увидеть мокрое белье. Позор! Скандал! А спрятать мне его некуда — никакого чемодана у меня не было. В конце концов, подавляя

конфуз, я всё рассказал Аксельроду. Добрейший старичок (54 года казались мне глубокой старостью!) — в котором, после разговоров с Лениным, я должен был бы видеть только злющего и коварного меньшевистского Черномора, даже в волнение пришел.

— Накидывайте на себя, что угодно, и идите ко мне. Калориферы должны быть скоро горячими. Белье ваше мы повесим в моем номере и пока будем пить кофе и беседовать, оно высохнет. На всякий случай, чтобы вы не беспокоились, я после кофе выйду купить вам пару белья.

От покупки П. Б. Аксельродом белья я, разумеется, отказался, к тому же калориферы, действительно, нагрелись и за три часа, что я просидел в его номере, белье высохло достаточно.

О чем мы говорили с Аксельродом? Обо всем, только не о расколе. Увидя из некоторых замечаний, что меня разубеждать в достоинствах Ленина бесполезно, П. Б. Аксельрод совершенно вывел из разговора всякое упоминание о партийных разногласиях. Признаюсь, прием Аксельрода меня сильно стеснял. За грубые выражения, которые я на собраниях пускал по его адресу, Аксельрод наказывал меня подчеркнутой любезностью. Урок был довольно-таки мучительным и уходя я решил, что мне нужно пред ним извиниться. Но только я начал говорить, Аксельрод руками замахал: «Не будем об этом вспоминать! Мало ли что говорится в запальчивости. Грех небольшой. Я сам в молодости был большой задирой»[8].

---

[8] В начале января 1905 г. (я уже ушел от большевиков), нелегально возвращаясь из Женевы в Россию, я заехал в Цюрих повидаться с П. Б. Аксельродом. Я пробыл у него почти целый день. Во время больших разговоров о партийных делах, мне представился случай спросить — почему при первой встрече он так демонстративно избегал разговора о Ленине и расколе. «В Биб-

Скрыв всю историю с мытьем белья (она могла бы быть понятой как взывание о помощи) я, увидясь с Лениным, рассказал ему о происшедшем знакомстве с Аксельродом и о том, что счел нужным пред ним извиниться. Ленин был этим явно недоволен.

— Аксельрод большой мастер улещивать, работает тихой сапой. Извиняться пред ним не следовало. Промах дали, большой промах! Они (меньшевики) на нас собак вешают, пусть не жмутся, получая хорошую сдачу. Стесняться с ними мы никак не должны. Говорю вам — промах дали!

лии говорится, — ответил Аксельрод, — что «всему свое время». Говоря в Женеве с вами, я сразу понял, что у вас еще не наступило время видеть ту сторону Ленина, которая его делает в социал-демократической партии, а она партия демократическая, *опасным человеком*».

ПОПЫТКИ УЗНАТЬ ЛЕНИНА

Известно, что в русской рабочей, крестьянской, мещанской среде была в ходу — не знаю существует ли она сейчас — кличка по отчеству — «Петрович», «Иванович», «Ильич» и т. д. Обычно она прилагалась или к пользующимся уважением старым людям, или от присутствия особых черт — седины, большой бороды, придающих им пожилой вид. Элемент фамильярности, почти как правило, этой кличке сопутствовал. Ленину, когда я с ним познакомился, было 34 года. Несмотря на лысину в его облике я не видел ничего, что придавало бы ему старый вид. Крепко сколоченный, очень подвижной, лицо подвижное, глаза молодые[4]. Тем не менее, большевистское окружение (за исключением А. А. Богданова и меня) в личном общении и за глаза его величали «Ильичом». Так называли его и сверстники, и те, кто намного были старше его, например, Ольминский, с седой головой и бородой выглядевший старым человеком. Однако, при наименовании Ленина «Ильичом» фамильярность отсутствовала. Никто из его свиты не осмелился бы пошутить над ним или при случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, линия, отделяющая

---

[4] Совершенно иначе видел Ленина А. Н. Потресов. Впервые встретившись с Лениным, когда тому было 25 лет — Потресов о нем писал: «он был молод только по паспорту. Поблекшее лицо, лысина во всю голову, оставлявшая лишь скудную растительность на висках, редкая рыжеватая бородка, немолодой сиплый голос».

Ленина от других членов партии, и я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее переступил.

Ленина называли не только «Ильичом». Я не мог сразу понять, о ком идет речь, впервые услышав от Гусева: «Идем к старику». Считаться «стариком» в России, вообще говоря, было не трудно. Нужно было лишь несколько превышать среднюю продолжительность жизни, а она была низка. Тургенев в «Дворянском Гнезде» называет стариком Лаврецкого, которому было только 43 года. Однако, Ленина называли «стариком» не в этом смысле. Несмотря на свой афишированный интернационализм, даже космополитизм, среда, которой «командовал» Ленин, была очень русской. Русское же не значит еще «родился от русского отца и русской матери». Это обычно бессознательное проникновение, «русским духом», бытом, вкусом, обычаями, представлениями, взглядами, а из них многие нельзя в их генезисе оторвать от православия — исторической религиозной подосновы русской культуры. Прияв это с Востока, русская церковь с почтением склонялась пред образом монаха — старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшие веления Бога, подвизающегося «в терпении, любви и мольбе». В «Братьях Карамазовых» монах Зосима мудр не потому только, что стар, а «старец» потому, что мудр. «Старец» не возрастное определение, а духовно-качественное. Именно в этом смысле Чернышевский называл Р. Овэна «святым старцем». И когда Ленина величали «стариком», это в сущности было признание его «старцем», т. е. *мудрым*, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться.

«Старик мудр» — говорил Красиков, никто до него (?!) так тонко, так хорошо не разбирал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма».

«Старик наш мудр», — по всякому поводу говорил Лепешинский. При этом глаза его делались маслянисто-

нежными и всё лицо выражало обожание. Именование «стариком», видимо, нравилось Ленину. Из писем, опубликованных после его смерти, знаем, что многие из них были подписаны: «Ваш Старик», «Весь ваш Старик».

Очень ценя Ленина еще до личного знакомства с ним, я, приехав в Женеву, был всё-таки несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. Это меня как-то шокировало. На моем духовном развитии несомненно отразились встречи с двумя лицами. Сначала с проф. М. И. Туган-Барановским, который, когда я был в 1897-98 г.г. студентом Технологического Института в Петербурге, ввел меня в марксизм и не переставал потом толкать на изучение экономики. Второе лицо, это уже в Киеве в 1900-1903 г.г., проф. С. Н. Булгаков, благодаря которому я стал интересоваться другим предметом — философией. Оба они крайне отрицательно относились к Ленину. В июне 1903 г. Туган-Барановский, после поездки по югу России, приехав в Киев, сделал на расширенном заседании местного социал-демократического комитета интересный доклад, предсказывавший появление в недалеком будущем крестьянского движения. После заседания мы долго беседовали с Туган-Барановским, гуляя в Царском саду на берегу Днепра. Зашла речь и о Ленине.

— Я не буду, — говорил Туган-Барановский, — касаться Ленина как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своем месте, но экономист, теоретик, исследователь — он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Фурье, ни французских утопистов. История развития экономической науки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенэ, ни даже Листа. Он не прочитал ни Менгера, ни Бём-Баверна, ни одной

книги, критиковавших теорию трудовой стоимости, разрабатывавших теорию предельной полезности. Он сознательно отвертывался от них, боясь, что они просверлят дыру в теории Маркса. Говорят о его книге «Развитие капитализма в России», но ведь она слаба, лишена настоящего исторического фона, полна грубых промахов и пробелов.

Отзывы Булгакова были не менее резки.

— Ленин нечестно мыслит. Он загородился броней ортодоксального марксизма и не желает видеть, что вне этой загородки находится множество вопросов, на которые марксизм бессилен дать ответ. Ленин их отпихивает ногой. Его полемика с моей книгой «Капитализм и земледелие» такова, что уничтожила у меня дотла всякое желание ему отвечать. Разве можно серьезно спорить с человеком, применяющим при обсуждении экономических вопросов приемы гоголевского Ноздрева.

Получив от меня «Что делать» Ленина, Булгаков, возвращая книгу, воскликнул:

— Как вы можете увлекаться этой вещью! Брр! До чего это духовно мелко! От некоторых страниц так и несет революционным полицейским участком.

В отзывах Тугана и Булгакова я видел след их личных столкновений с Лениным. У Тугана-Барановского могло играть и чувство «конкуренции»: он написал книгу «Русская Фабрика», а Ленин одновременно почти на ту же тему «Развитие капитализма». Кроме того, их отход от марксизма, у Тугана тогда не столь далекий, у Булгакова уже полный, я считал отказом в сторону мягкотелого либерализма, в моих глазах исключавшего возможность беспристрастно судить и оценивать Ленина. Коечто (может быть даже многое) из их критики во мне всё же отлагалось, а поскольку это имело место, создавались априорные посылки, при всем уважении к Ленину, не видеть в нем неподлежащее никакой критике

«партийное божество». Отсюда некоторый скрытый протест против «религиозного» преклонения пред ним женевских большевиков. Решение не поддаваться чувству преклонения — однако, скоро испарилось. Сказать, что Ленин мне понравился — было бы мало. Сказать, что я в него «влюбился» немножко смешно, однако, этот глагол, пожалуй, точнее, чем другие определяет мое отношение к Ленину в течение многих месяцев. А. Н. Потресов, еще с 1894 г. знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее в течение первой и второй революции ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы 23 года после смерти Ленина, написать о нем (в «Die Gesellschaft») следующие строки:

«Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, повидимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал господства над ними. Только за Лениным беспрекословно шли как за единственным бесспорным вождем, ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающей фанатическую веру в движение, в дело, с неменьшей верой в себя. Эта своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление».

На меня гипнотическое воздействие Ленина, наверное, было больше чем на Потресова, хотя в числе причин не стояла на первом месте влюбленность в его волю и энергию. Во-первых, мне пришлось видеть Ленина в состоянии полной подавленности, безволия, а потом какого-то болезненного изнеможения, и, во-вторых, волей

и энергией меня нельзя было удивить. К Ленину притягивала не только гармония слова и дела (оказавшаяся мнимой!), о которой я говорил. Производило впечатление что-то другое, сложное и, вероятно, эта загадочная сила и обаятельность, о которой говорил Потресов. Мне представлялось, что в нем есть нечто крайне важное, что мне неизвестно. Что? Я не мог бы на это ясно ответить. Знаю только, что к Ленину что-то притягивало. А узнать его было совсем нелегко. Откровенность ему была чужда. Он был очень скрытный. В разговоре с Гусевым, — я был при этом, — вспоминая жизнь в Лондоне, — Ленин как-то сказал:

— Нельзя жить в доме, где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете. Я бы с ума сошел, если бы пришлось жить в коммуне, вроде той, что в 1902 г. Мартов, Засулич и Алексеев организовали в Лондоне. Это больше, чем дом с открытыми окнами, это проходной двор. Мартов весь день мог быть на людях. Этого я никак не могу. Впрочем, Мартов вообще феномен. Он может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей. Чернышевский правильно заметил: у каждого есть уголок жизни куда никто никогда не должен залезать и каждый должен иметь «особую комнату» только для себя одного.

«Уголок», куда он никому не позволял «залезать», у Ленина был очень обширным. Домом с открытыми дверями и окнами он совсем не был. На окнах всюду были ставни с крепким запором. В то, что он считал своей частной жизнью, никто не подпускался. Но как узнать Ленина, не зная ровно ничего из этой частной жизни? Из одних разговоров на партийные темы, как бы они ни были интересны, Ленина не узнаешь. Чтобы заглянуть в Ленина, нужно было подходить к нему с самых разных сторон. Например: любит ли он театр, любит ли он му-

зыку? Разговор о театре однажды возник и тут же заглох. Что же касается музыки, прекрасно помню слова Ленина, сказанные Красикову (тот играл и, кажется, хорошо на скрипке):

«Десять, двадцать, сорок раз, могу слушать Sonate Pathètique Бетховена и каждый раз она меня захватывает и восхищает всё более и более».

Вступать в разговор о Бетховене, мне не полагалось. В этой области был и остаюсь полнейшим профаном. Две смежные вещи всё-таки заметил. У Ленина был превосходный музыкальный слух. Сужу по тому, что он мастерски, во время игры со мною в шахматы (играл превосходно!), насвистывал сквозь зубы разные мелодии. Несомненно, было и другое: огромная любовь к пению. Присяжным певцом при Ленине был Гусев, при весьма неказистой наружности, обладавший прекрасным баритоном[5]. В течение января и февраля, до момента, когда Ленин весь ушел в писание «Шаг вперед — два назад», Гусев постоянно пел на раутах, еженедельно происходивших у Ленина с целью укрепления связи между большевиками Женевы. В его репертуаре было четыре коронных арии, особенно нравившиеся Ленину: первая — «Нас венчали не в церкви», кажется — Даргомыжского, вторая ария из оперы «Нерон» Рубинштейна — «Пою тебе, бог Гименей». За этим всегда следовал романс, написанный Чайковским на слова славянофила Хомякова.

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе

---

[5] В 1927 г. в день трехлетия смерти Ленина, советское радио, сообщая о разных фактах его жизни, указало, что Ленин любил пение и в Женеве в 1904 г. ему часто пела моя жена. В. Н. Вольская помнит только один случай, когда она пела в присутствии Ленина. Пела романс «Пусть плачет и стонет мятежная буря» и революционную песню «Как дело измены, как совесть тирана» — вещи, очень понравившиеся Ленину.

Высший подвиг в терпеньи
Любви и мольбе.

Подвижничество, выражающееся в «терпении, любви и мольбе» было, разумеется, абсолютно чуждо Ленину. Он хотел подвига в сражениях, хотел «драться» и Гусев, как бы отвечая на такое желание Ленина, оборачиваясь в его сторону, глядя на него, нажимая, «педалировал» следующую строфу романса:

С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья
И взлетишь ты на них!

Это звучало приглашением, вместе с тем пророчеством, и оно сбылось. Вещью, которой Гусев обычно оканчивал свое вокальное выступление был эллегический романс того же Чайковского на слова великого князя К. Романова:

Растворил я окно, стало душно не в мочь,
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно запел соловей,
Я внимал ему с грустью глубокой и т. д.

Какие переживания связывались у Ленина с последним романсом? Он, конечно, никому бы об этом не сказал. Романс Чайковского, очевидно, ему говорил что-то многое. Он бледнел, слушал не двигаясь, точно прикованный, смотря куда-то поверх головы Гусева и постоянно просил Гусева повторить. Однажды, Гусев, принимаясь за вторичное исполнение, захотел немного подурачиться и дойдя до слов «опустился пред ним на колени», действительно, стал на колени и в таком положении, повернувшись к окну, продолжал петь. Все

присутствующие рассмеялись. Ленин же сердито цыкнул на нас: «Тсс! Не мешайте!». После одного такого раута я сказал Гусеву: «Заметили ли вы, какое впечатление производит на Ленина ваш романс! Он уходит в какое-то далекое воспоминание. Уверен — cherchez la femme». Гусев засмеялся:

— Я то же предполагаю. Думали ли вы когда-нибудь откуда происходит псевдоним Ленина? Нет ли тут какой-то Лены, Елены! Я спросил Ильича — почему он выбрал этот псевдоним, что он означает? Ильич посмотрел на меня и насмешливо ответил: много будете знать, — скоро состаритесь.

Кроме того, что Ленин был в ссылке, а перед этим жил в Петербурге, у меня не было никаких сведений о его прошлой жизни. Полагая, что он об этом знает, я обратился к П. Н. Лепешинскому. Я уже сказал, что он обожал Ленина почти так, как сентиментальные институтки «обожают» некоторых своих учителей. У него была не только уверенность в полной победе Ленина над меньшевиками, было еще предчувствие какой-то особой, великой, судьбы, ожидающей Ленина.

— Ильич, — таинственно сказал он мне однажды, — нам всем покажет, кто он. Погодите, погодите — придет день. Все тогда увидят, какой он большой, очень большой человек.

Узнав, что меня интересует прошлая жизнь Ленина, Лепешинский вытянулся во весь рост, наставительно поднял над головою палец и учительским тоном, в упор глядя на меня белесоватыми глазами, сообщил:

— Запомните, хорошенько запомните на всю жизнь: Ленин родился в 1870 г. в Симбирске. Окончив гимназию, стал студентом Университета в Казани, откуда был исключен за революционное поведение. Жил потом в Самаре, потом, переехал в Петербург, где обнаружились его великие политические таланты и где появились его

первые блестящие произведения. Он сидел в Петербурге в тюрьме, был сослан в Сибирь, в Минусинский район. Там, тоже находясь в ссылке, живя от него на расстоянии 30 верст, я имел счастье и честь познакомиться с Ильичом. Это там он написал свою замечательную книгу «Развитие капитализма в России».

Города, указанные Лепешинским, я знал: и Самару, и Казань, и Симбирск. В последнем от парохода до парохода я пробыл целый день. С его зданиями конца XVIII и начала XIX столетия, садами, тихими улицами, площадью у Собора, заросшей кудрявой травкой, дивными видами на Волгу — Симбирск показался мне самым красивым приволжским городом. «Заведу, — думал я, — разговор с Лениным о всех городах, где он жил, наверное, многое узнаю о его прошлой жизни. Лучшего предлога втянуть «Ильича» в такой разговор — не найти.

— Владимир Ильич, вы родились в Симбирске — значит на Волге. Вы учились в Казани — тоже на Волге. Жили потом в Самаре — опять же на Волге. Можно сказать, почти две трети вашей жизни прошли около Волги. Она должна вам что-то говорить и, конечно, больше чем другим. Вы наверное Волгу очень любите. Не правда ли? То, что входит в душу человека в детские и юношеские годы остается в ней навсегда. Неправда ли?

Ленин как-то странно, искоса, посмотрел на меня и, может быть, это мне почудилось, пожал плечами. И ничего не ответил. Вышло как будто я развязно залезаю в «уголок», куда Ленин никого не пускает, пристаю к нему с вопросами, отвечать на которые, откровенничать, говорить о себе, он не испытывает никакого желания*.

---

* Ленин несомненно очень часто испытывал тоску по Волге. В 1902 г. он писал из Лондона матери: — «хорошо бы летом на Волгу. Как мы великолепно по ней прокатились с тобой и Анютой

Заминая, оказавшийся неуместным, вопрос «о Волге», я быстро перешел к Каме. Мне много раз приходилось ездить на пароходе от Уфы по реке Белой, Каме до Казани. Там, где Белая впадает в Каму и дальше, берега покрыты липами. Когда эта масса лип цветет, от сладкого аромата даже у находящихся на пароходе кружится голова. Недаром одна из пристаней на Каме называлась «Пьяный Бор»[7].

Ленин, внимательно выслушав меня, сказал, что Кама — действительно «красавица», он с большим удовольствием, перед отъездом заграницу прокатился по ней и Белой, отправляясь в Уфу. О Волге — ни слова! Он явно не хотел о ней говорить. Вход посторонним в этот уголок был закрыт...

Наш разговор происходил во время прогулки в ближайшие к Женеве горы. Ленин, Крупская и я сидели на небольшом выступе. Сзади нас, точно обрубленная топором, подымалась гладкая, как стена, высокая гора. Спереди — глубокая пропасть с прицепившимися к ее краю кустами. На горизонте цепь холмов от игры солнца с несущимися облаками, постоянно менявших окраску, казавшихся то серыми, то темносиними, то почти черными.

— Вот мы любуемся этой красотой, — и Ленин указал на горы, — а десятки, сотни миллионов людей, кроме курной избы, зловонной фабрики, грязной улицы ничего во всю жизнь не увидят. И непременно найдутся дурни (Ленин произносил: «дурррни» с раскатом), кото-

---

весной 1900 г.!». В 1910 г., — направляясь из Марселя к Горькому на Капри, он пишет матери: «ехал как по Волге — дешево и приятно», а Горькому говорит: «едучи к Вам — все Волгу вспоминал». В 1911 г. в письме к М. Т. Елизарову — мужу старшей сестры — признается — «соскучился я по Волге». В 1912 г. в марте запрашивает мать: «как-то у вас весна на Волге?».

[7] Кравченко в своей книге «Я избрал свободу» упоминает о «Красном Боре» на Каме. Пьяный бор, очевидно, переименован.

рые будут уверять, что народ по своей толстокожести, не способен понимать и ценить красоту природы. Дурни не понимают, что у людей, истомленных тяжелым, а иногда каторжным трудом — больше желания вдоволь выспаться, чем любоваться восходом солнца. В этом суть. Не так давно мы с Надеждой Константиновной (Крупской) взбирались на Салэв (гора у Женевы) встречать восход солнца. Компанионами оказались двое рабочих, на вершине горы от нас отделившихся. Спускаясь с горы, мы их опять встретили и спрашиваем: не правда ли, восход солнца был очень красив? Они отвечают: «К сожалению, ничего не видали, весь день до этого работали, устали, в ожидании восхода солнца прилегли немного отдохнуть, да и проспали». Вот вы говорите о воспоминаниях детства и их идеализации. Такое явление имеет место главным образом среди состоятельных классов общества. У меня, повидимому и у вас, сохраняются весьма приятные воспоминания о детстве. Жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями, прогулками. Но ведь этого нельзя сказать о детях рабочих и крестьян. Какие приятные воспоминания о детстве может сохранить крестьянский мальчуган, которого чуть ли не в шесть лет заставляют нести тяжелую работу вроде полки? Только социализм может принести изменения в этой области и создать у массы любовь к природе, иное к ней отношение. До этого народным массам любить природу — невозможно. Состоятельные классы могут во всем ее разнообразии познавать красоту природы, практикуя путешествие, туризм. Но рабочим и крестьянам туризм недоступен. Посмотрите на маленьком примере, что из этого получается. В горах Германии, мы это с Надеждой Константиновной видели, совершая экскурсии из Мюнхена, устраиваются шалаши, домики для усталых или просто желающих в них провести ночь туристов. То же самое

есть и в других странах. Те, кто имеют возможность заниматься туризмом, следовательно, при надобности и пользоваться этими шалашиками, разумеется, их ценят и охраняют. Но для других, для массы — туризм неизвестное явление. Случайно попадая в горы и видя такой шалаш, они обращаются с ним как с вещью ненужной, они ее больше не увидят и назначение ее не ценят. Добро, если бы дело ограничивалось одними дурацкими, иногда и похабными, надписями. Бывает хуже. Шалаши от нечего делать, от того, что руки чешутся, подвергаются мамаеву побоищу. Всё сломают, а потом уйдут. Уйдут, конечно, безнаказанно, — кто их там видит! Почему буржуа этого не сделают, а иной из рабочих на это оказывается способным? Да, именно по причинам только что указанным. Шалаши — вопросик микроскопический, а когда думаешь о нем, видишь, что связан он с вопросами большими — изменением социальных условий, повышением культурности народа, воспитанием масс и, добавлю, если не хотят походить на персонажа из басни Крылова «Кот и повар», с некоторыми *принудительными* и *репрессивными* мерами. Об этом не следует забывать. Когда мальчишка сидит в школе и перочинным ножом жестоко увечит парту, в какой-то момент бывает очень полезен щелчок по рукам, как бы на это ни возражала Надежда Константиновна. А иные взрослые бывают много хуже и вреднее этого мальчишки.

Итак, по Ленину, а я передаю его речь, следовало, что при существующих социальных условиях народные массы по-настоящему любить природу никак не могут. Утверждение до такой степени неверное, надуманное, противоречащее фактам, что оспаривать, опровергать его мне и в голову не пришло. Стоит только заметить, что оно очень гармонирует с позднейшим «пораженческим» тезисом Ленина: пролетариат не может любить свою страну и быть партиотом, пока строй, в котором он живет, не превращен в социалистический. Не на эту

сторону его речи я обратил внимание, слушая Ленина. Гораздо интереснее мне показалось указание на щелчок мальчугану, портящему парту и на те принудительные и репрессивные меры, которыми нужно обеспечить сохранность того, что Ленин назвал «шалашиками» — их нужно понимать, конечно, в расширенном смысле. Помню, что на счет щелчка я вполне согласился с Лениным, но Крупская укоризненно качала головой. Не только Крупская не сходилась с «Ильичем» в этом вопросе. Можно с уверенностью сказать, что в партии никто тогда не думал, что социалисты могут прибегать к «щелчкам» и репрессивным мерам по отношению к народным массам. О щелчках, притом жестоких, весьма думали, но они предназначались не «своим», а «чужим» — слугам самодержавия, буржуазии, входя в понятие революции и «диктатуры пролетариата». Что же касается воздействия на народную массу, оно представлялось исключительно в виде идейного воспитания, внушения, уговаривания, аппеляции к разуму, совести, расчету. Я почувствовал, что в этой очень важной области взгляды Ленина далеко отходят от сентиментальной и политической «педагогики», разделяемой всеми социалистами. Это найденное отличие Ленина от других партийцев лишь увеличило у меня желание заглянуть, если удастся, поглубже в Ленина. Что я в нем еще найду?

Хорошим способом узнать побольше о Ленине мне казался разговор о художественной литературе. Какие произведения он любит, какие люди ему в них интересны, что в них нравится или не нравится? Я сказал об этом В. В. Воровскому — в отеле его комната была рядом со мною; до отъезда в Россию он часто со мною вел разговор на самые разнообразные темы. С ним можно было говорить о многом: о дифференциалах, интегралах, механике, и художественной литературе. Воровский улыбнулся.

— Поисследовать Ленина хотите, ну что же —

попробуйте. Он всех нас исследует, займемся и мы им. Я тоже этим делом занимался. Но предупреждаю — Ильич очень часто любит делать «глухое ухо». Я хотел однажды узнать — читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, всё же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гёте, даже выучил наизусть несколько тирад Мефистофеля. Вы здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

"Ich salutiere den gelehrten Herrn
Ihr habt mich weidlich Scwitzen machen".

Но кроме «Фауста» ни одну другую вещь Гёте Ленин не знает, Он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различении — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и Наказание», он «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал. «Содержание сих обоих пахучих произведений, заявил он, мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову Стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?

После того, что услышал от Воровского, желание «поисследовать» Ленина с помощью его отзывов о художественной литературе не уменьшилось, а скорее уве-

личилось. Как к этому приступить? Ведь было бы смешно ни с того ни с другого спрашивать: Владимир Ильич — сочинения какого автора и почему вы больше всего любите? То, что я мог в этой области получить, могло бы быть только случайным и при случайно возникшем разговоре. Так, случайно я узнал, что Ленин любит «Войну и Мир» Толстого, а морально-философские размышления, которые вклеены в роман, считает глупостью. Это ничего не давало. Я не встречал еще ни одного русского человека, заявившего, что он не ценит и не любит это произведение.

Мимолетный разговор был о романах Гончарова. «Обрыв» Ленин совсем не ценил. Главного героя романа Райского назвал «никчемным болтуном» и другим уже непечатным словом, а в поднадзорном Марке Волохове видел «скверную каррикатуру на революционеров». Отношение к «Обломову» Гончарова у него было иным и весьма оригинальным.

— Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, запер бы их на ключ в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?

Случайно узнал, что в гимназии Ленин написал сочинение на тему «Пророк» Пушкина, однако, разговор о том был прерван и больше не возобновлялся. Лишь позднее мне стало известно, что в Симбирской гимназии, где учился Ленин, литературу преподавал Ф. М. Керенский — отец Александра Федоровича Керенского[8]. Это

---

[8] Когда Ленин писал сочинение о «Пророке» Пушкина, — сыну директора гимназии Керенского было только шесть лет. Через тридцать лет эти два уроженца Симбирска, города, по вы-

он многим своим ученикам, в том числе и Ленину, внушил великое почтение и любовь к Пушкину. Немилосердно ругая сына Керенского и очень хорошо отзываясь о Керенском-отце, Ленин рассказывал об этом П. А. Красикову, а разговор о том возник по следующему поводу. В 1921 г. (или 1920 — не могу точно сказать) Ленин посетил Вхутемас — Высшее художественное училище в Москве. Если не ошибаюсь, в какой-то заметке есть о том и у Крупской. На вопрос Ленина, что читает сейчас молодежь, любит ли она, например, Пушкина — студенты и студентки Вхутемаса почти единогласно ответили, что Пушкин «устарел», они его не признают, он «буржуй», представитель «паразитического феодализма», им никто теперь не может увлекаться и все они стоят за Маяковского — он революционер, а как поэт на много выше Пушкина[9]. Ленин слушал это, пожимая плечами. Стихи Маяковского он совершенно не переносил. После посещения Вхутемаса, беседуя с Красиковым, Ленин говорил:

— Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукарство, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению ре-

---

ражению Гончарова (тоже уроженца Симбирска!) погруженного в непробудный сон, «в оцепенение покоя», в своего рода «штиль на суше» предстали на фоне величайшей, потрясшей Россию, социальной бури, бешеного урагана, встав в центре не только всероссийского, а мирового внимания. Борьба этих двух русских людей из Симбирска — по своему смыслу, значению и последствиям — вышла далеко из русских границ.

[9] По словам Ю. П. Денике (журнал «На Рубеже») в СССР издано, главным образом за позднейшие годы, более сорока миллионов экземпляров Пушкина, в том числе около пяти миллионов на других языках, кроме русского. Маятник с 1920 года качнулся в противоположную сторону: от отрицания «буржуя» Пушкина, от признания его «устарелым» — к глубочайшему преклонению пред ним. Это хороший показатель и общественного выздоровления, и роста культуры.

волюции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже.

— Я передаю, — рассказывал мне Красиков, — подлинные слова Ленина. Можете их записать. Давайте сделаем большое удовольствие Ильичу — трахнем по Маяковскому. Так статью и озаглавим: «Пушкин или Маяковский?». Нужны ли революции шуты гороховые? Конечно, на нас накинутся, а мы скажем: обратитесь к товарищу Ленину, он от своих слов не откажется.

Статья не была написана, но, оставляя в стороне вопрос о нашей компетентности в этой области, она могла быть напечатанной, тогда как теперь, когда Сталин изрек, что «Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи», «Правда» (№ 12 ав. 1951 г.), как всегда лживо заявила, что «многие стихи Маяковского написаны под непосредственным впечатлением выступлений тов. Сталина» — всякая критика сего поэта стала невозможной — ее приказано считать «клеветой классового врага».

Более основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если, что мне и показалось странноватым, так это почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажам в стихотворениях Некрасова и особенно в «Кому на Руси жить хорошо». В моих глазах это плохо увязывалось с марксистской любовью Ленина к пролетариату, — ведь обычно его мыслили как антипода крестьянства. Говоря о Некрасове я заметил (знаю теперь — ошибочно), что

хотя он много писал о деревне — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин, а ну-ка попробуйте найти лучшее чем у Некрасова описание ранней весны. И картавя, катая «р», он продекламировал:

Идет, гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний Шум,
Как молоком облитые
Стоят сады вишневые
Тихохонько шумят.
Пригреты теплым солнышком
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая
И белая березынька
С зеленою косою.

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая
И белая березынька
С зеленою косою.

— А вы любите липу? — спросил я.

— Это самое, самое любимое мною дерево!

С большим жаром продекламированный «Зеленый Шум» и то, что мимоходом уже приходилось слышать от него, — мне показали, что Ленин действительно любит природу, хотя об этом нельзя предположить судя, например, по тем невероятно, до дикости, грубым строкам, которые изредка он посвящал искусству и литературе. «Поэтическая» любовь к природе у человека столь мало поэтического как Ленин, конечно, вызвали у меня удивление, а через несколько дней мне пришлось испытать и другое удивление.

Некая дама приехала в Женеву с специальной целью познакомиться с Лениным. У нее от Калмыковой (persona grata, дававшая в 1901-3 г.г. деньги на «Искру») было письмо к Ленину. Имея его, она была уверена, что будет им принята с должным вниманием и почтением. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с «невероятной грубостью», почти «выгнал» ее. Гусев передал об ее сетованиях Ленину и тот пришел в величайшее раздражение:

— Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли. И она еще жалуется. Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать. Ухажерством я занимался когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты. И за кем ухаживать? Эта дура подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

— Какая Матрена Семеновна? — с недоумением спросил Гусев.

— Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева. Стыдно не знать Тургенева.

С этого дня, к величайшему моему удивлению и особому удовольствию (Тургенева я очень любил), я узнал, что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно и некоторые слова, выражения Тургенева, например, из «Нови», «Рудина», «Дыма» въелись в его лексикон. Кроме Воровского и меня этого никто не замечал. Так, по поводу самоубийства в Сибири Федосеева он сказал: «Однако, Федосеев не был барчуком и хлюпиком вроде Нежданова (персонаж из «Нови»). Другой раз от Ленина можно было услышать: «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет» (лишь немножко измененная фраза

из «Рудина»). Он очень часто пользовался ненавистным ему образом Ворошилова из романа «Дым» Турненева. Представление о нем у Ленина обычно сопровождалось накатом жгучего презрения. Обозвать кого-нибудь из пишущей братии Ворошиловым он считал одним из сильнейших оскорблений и из произведений Ленина мы знаем, что таким эпитетом немилосердно злоупотреблял. Например, в статье «Аграрный вопрос и критика Маркса», напечатанной в «Заре» (1901 г. № 2-3), полемизируя с В. М. Черновым, Ленин *14* раз именует его Ворошиловым, делая к этому добавления вроде: «Ворошилов извращает», «Ворошилов безбожно путает», «Ворошилов хвастается», «За Ворошиловым не угнаться» и т. д. Явно наслаждаясь, что нашел наименование достаточно ругательное, он в той же статье называет Ворошиловым проф. С. Н. Булгакова (за большую работу последнего «Капитализм и земледелие»), австрийского социалиста Герца, писавшего на ту-же тему, сотрудников журнала «Sozialistische Monatshefte», чтобы в конце концов, заявить, что Ворошиловы, «критикующие взгляды Маркса на аграрный вопрос» — «везде одинаковы: и в России, и в Австрии».

К бежавшему в 1902 г. из ссылки молодому Троцкому Ленин одно время относился с большим благоволением, но после съезда Троцкий оказался в рядах меньшевиков и Ленин иначе как Ворошиловым его уже не называл, причем для большего клеймения к Ворошилову присоединял эпитет «Балалайкин» (Щедрина). Помню — 1 мая 1904 г. в Женеве Троцкий на митинге эмигрантов произнес излишне цветистую, все же эффектную речь. Когда я передал Ленину мое впечатление об этом выступлении, в глазах его пробежал насмешливый огонек: «С печалью констатирую — вам нравятся речи Ворошиловых-Балалайкиных».

— Но вы не можете отрицать, что Троцкий превосходный оратор?

— Все Ворошиловы-Балалайкины — ораторы. В эту категорию входят недоучившиеся краснобаи-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частицы от всех этих категорий.

Через полтора месяца в категорию Ворошиловых попаду и я!

Если мотивы влечения Ленина к некоторым произведениям Тургенева («будучи в гимназии, — сказал он мне, — я очень любил «Дворянское гнездо») приходится узнавать лишь с помощью догадок, различных сопоставлений и сближений с различными его высказываниями, есть одна вещь Тургенева в которой можно уже точно указать какие в ней мысли им особенно ценились. Имею в виду рассказ «Колосов», а касаясь его мы неизбежно придем к весьма интимной стороне жизни Ленина.

В тот период, когда ко мне «благоволила» и Крупская, она часто рассказывала о разных фактах из его жизни. Лишь после одного происшествия, о нем я скажу позднее, она стала весьма осторожной или, употребляя выражение из ее «Воспоминаний», «скупой» в своих рассказах. Я узнал от нее, что будучи в ссылке в Сибири, Ленин, желая возможно скорее и лучше овладеть немецким языком, решил переводить с русского на немецкий и обратно произведения авторов, которых он знал и любил. В 1898 г. в качестве приложения к журналу «Нива» было издано полное собрание сочинений Тургенева. Ленин, именно потому, что еще со времен юности любил Тургенева, попросил родных прислать ему это собрание вместе с немецким словарем, грамматикой и существующими переводами на немецкий язык произведений Тургенева.

«Мы, рассказывала Крупская, иногда по целым часам занимались переводами... Ильич выбирал у Тургенева страницы по тем или иным причинам наиболее для него интересные. Так, с большим удовольствием

Ильич переводил ехидные речи Потугина в романе «Дым»[10] По настоянию Ильича особенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа «Колосов». На эту вещь он обратил большое внимание еще в гимназии и крайне ценил ее. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку как надо понимать то, что напыщенно называют — *«святостью» любви*. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в «Колосове». Это, говорил он, — настоящий, революционный, а не пошлобуржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины.

Весьма заинтересованный тем, как же Ленин смотрит на «святость любви», я, конечно, отыскал «Колосова» и вновь прочитал его. Рассказ слабый, бесцветный, не я один, а обычно все проходят мимо него. Ничего из него не западает, ничто в нем не останавливает. Стран-

---

[10] Выражение «ехидные речи» Потугина слишком мягко! Ведь Потугин доказывал, что Россия ничего не дала мировой цивилизации и культуре, что «даже самовар, лапти, дугу — эти наши знаменитые продукты, — не нами выдуманы». Он высмеивал русскую науку: «у нас мол, дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Ныне в Кремле объявлено, что все мировые открытия и изобретения сделаны в СССР — России, она венец мировой культуры, — поэтому Потугина за «подлое», «изменническое, космополитское преклонение пред Западом» наверное посадили бы в концлагерь или прикончили бы в подвале МГБ. — Роман «Дым», насколько мне известно, не перепечатывается в СССР, так же как, но уже по другим причинам (оскорбление революции) тургеневский роман «Новь». Речи Потугина в «Дыме» представляют в русской литературе крайнее, искривленное, перегнутое проявление западничества. Это по поводу «Дыма» Достоевский злобно писал, что Тургеневу (Кармазинову в «Бесах») водосточные трубы в Карлсруэ дороже всех вопросов России. Очевидно, Ленин в Сибири был охвачен «низкопоклонством» пред Западом — раз с «большим удовольствием переводил «ехидные речи Потугина»!

но, думал я, как могла такая вещица «крайне цениться» Лениным! В Женеве я мог этим удивлением ограничиться и о том, что говорила Крупская, позабыть. Но в свете того, что с Лениным позднее случилось — о «Колосове» нужно поговорить подробнее.

Лицо, от имени которого ведется рассказ, называет Колосова человеком «необыкновенным». Он полюбил девушку, потом разлюбил ее и от нее ушел. Помилуйте, что же тут необыкновенного? Это ежедневно и ежечасно всюду случается. Необыкновенно то, отвечает рассказчик, что Колосов это сделал смело, порывая со своим прошлым, не боясь упреков.

«Кто из нас умел во время расстаться со своим прошлым? Кто, скажите, кто, не боится упреков, не говорю — упреков женщины, упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию, то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию, мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию? О, господа, человек, который расстается с женщиной, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости, продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец. Мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может называться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным».

В этих словах квинт-эссенция рассказа Тургенева. Является ли поведение Колосова «революционным» или

«пошло-буржуазным» в это входить, конечно, не буду. Важно, что рассуждения Колосова Ленин одобрял, именно таков, по словам Крупской, был его взгляд на вопрос. Близкие отношения мужчины и женщины должны быть основаны на безраздельной, полной, любви и искренности. Как только человек чувствует и сознает, что его сердце уже «невполне» проникнуто женщиной, еще недавно им любимой, не боясь упреков, не поддаваясь «мелким чувствам» (Ленин очень часто употреблял эти слова) он должен с нею расстаться. Этого требует «святость любви», так поступать значит «быть естественным».

Многие страницы жизни Ленина, в частности в бытность его гимназистом, остались для всех его биографов неизвестными. Они не выплыли ни в одном из воспоминаний о нем: канонизация Ленина не допускала появления каких-либо сообщений вне тех, коими очерчен его, установленный верхами партийный образ вождя. Опираясь на фразу, брошенную Лениным Гусеву — «ухажерством я занимался, когда был в гимназии» — можно предположить, что экспансивный, бурливый юноша, каким был Владимир Ульянов — этим делом, действительно, занимался (я это плохо себе представляю!). В садах на берегу Волги или в Киндяковском лесу, — описанном в романе «Обрыв» — и бывшем местом свидания влюбленных парочек, ему, допустим, случалось объясняться в любви каким-нибудь гимназисткам, а потом эта «любовь» ему надоедала и без долгих фраз он расставался с предметом своего увлечения. Тургеневский Колосов с его «ясным и простым взглядом на жизнь» мог служить примером. И так как отсутствие клятв в вечной любви, «отсутствие всякой фразы в молодом человеке» в этом возрасте — вещь необыкновенная, Владимир Ульянов мог считать себя уже тогда человеком тоже необыкновенным. О «необыкновенности» тут, конечно, смешно и говорить. Здесь только малюсенькая и

легкомысленная «философия», свойственная сотням тысяч или миллионам юношей.

Иным и весьма серьезным делается воззрение Колосова в зрелом возрасте. Раз Ленин прожил с Крупской без малого тридцать лет (они познакомились в 1894 г.) и всё время придерживался кодекса Колосова — значит его сердце всю жизнь было проникнуто любовью к ней одной. Будь иначе, во имя проповедуемой им «святости любви», не боясь упреков «глупцов», не поддаваясь «мелким чувствам» (среди них — *раскаянию и сожалению),* он смело расстался бы со своим прошлым, покинул бы Крупскую, хотя в течение многих и многих лет она была вернейшей и преданной спутницей его жизни. Так должен бы я заключить, слушая в 1904 г. Крупскую, но то, что произошло с Лениным позднее — свидетельствует о полном попрании им кодекса Колосова.

Жизнь больших исторических фигур, а кто будет отрицать, что Ленин вошел в большую историю? — всегда интересует людей. Все хотят знать (биографы спешат на это ответить) не только чем облагодетельствовал мир, например, Наполеон или сколько сотен тысяч людей он отправил на тот свет, но кем он был, как жил, что любил, как любил. Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь пред глазами полный не вымышленный, образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandinière книга «Les amours secrètes de Lénine», написанная двумя авторами — французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 г. в газете «Intransigeant». За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некоей Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного про-

изведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной. Это очень интимная область, о ней было как-то неловко писать, но теперь, когда имя этой «другой женщины» названо полностью в печати (со слов А. М. Коллонтай ее называет г. Марсель Боди в апрельском номере 1952 г. журнала «Preuves») — ничто уже не мешает подробно рассказать об этом происшествии в жизни Ленина, никогда не бывшим секретом для его старых товарищей (Зиновьева, Каменева, Рыкова). Ленин был глубоко увлечен, скажем, — влюблен, в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм.

Инесса Арманд — родилась в 1879 г. в Париже, ее родители французы, отец артист, избравший псевдонимом имя Стеффен. После смерти родителей Инесса осталась бесприютным ребенком и была взята на попечение своей тетки, бывшей гувернанткой в семье Евгения Арманд, имевшего фабрику шерстяных изделий в Пушкино, в 30 километрах от Москвы. Инесса воспитывалась вместе с А. Е. Арманд — сыном фабриканта и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей). На путь революционной деятельности Инессу, повидимому, толкнул старший брат ее мужа — Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит; наборот, Инесса всё более и более страстно ей предается. В качестве агитаторши и

пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 г., надолго запоминали ее несколько странное, нервное, как будто ассиметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Ее арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавшись двух месяцев до окончания срока, она скрывается заграницу, в Брюссель, где слушает лекции в Университете. Несмотря на ее разрыв с мужем, происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд ее снабжает средствами. Всё время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается. В 1910 г. она приезжает в Париж и здесь происходит ее знакомство с Лениным. В кафе на avenue d'Orléans его часто видят в ее обществе. В 1911-12 г.г. внимание, которым ее окружает Ленин, всё время растет. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист — большевик Шарль Рапопорт: «Ленин, — рассказывал он, — не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols il épiait toujours cette petite française»). Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер, делали из нее фигуру бесспорно более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе — пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.

— Ты, — писал он ей 15 июля 1914 г., — из числа тех людей, которые развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.

Он восхищался ее знанием иностранных языков; в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кантале и Циммервальде в 1915 г. и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919 и 1920 г.г. Он доверял и её знанию

марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longjumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные, семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономии. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «Sonate Pathetique» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать Sonate Pathetique и каждый раз она меня захватывает и восхищает всё более и более», — говорил Ленин.

После смерти Ленина Политбюро вынесло постановление, требующее от партийцев, имеющих письма, записки, обращения к ним Ленина, передать их в архив Центрального Комитета, что с 1928 г. фактически было передачей в полное распоряжение Сталина. Этим путем, нужно думать, попали в архив и письма Ленина к Инессе. В отличие от писем, обращенных к другим лицам, почти всех напечатанных еще до 1930 г., — письма Ленина к Инессе — за исключением трех напечатанных в 1939 г. — начали появляться в «Большевике» лишь в 1949 г., т. е. 25 лет после смерти Ленина. Ряд понятных соображений («разоблачение интимной жизни Ильича») препятствовало их появлению. Только в 1951 г. — 27 лет после смерти Ленина — в 35 томе четрвертого издания его сочинений опубликованы (конечно, не все, а с осторожным выбором!) некоторые письма, свидетельствующие, что отношения Ленина с Инессой были столь близкими, что он обращался к ней на ты. Из писем можно установить, что это интимное сближение произошло осенью 1913 года. Инесса тогда только что бежала из России, куда поехала с важными поручениями Ленина и попала в тюрьму. Ленин и Крупская жили в это время в Кракове. В своих «Воспоминаниях» Крупская пишет: «Осенью 1913 г. мы все очень сблизились с Инессой. У нее (после сидения в тюрьме) появились признаки туберкулеза, но энергия не убавилась. У нее много было какой-то жизнерадостности и горячности. Уютнее и ве-

селее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичом и Инессой много ходили гулять. Ходили на край города, на луг (луг по польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша. Очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил Sonate Pathetique и просил ее постоянно играть»...

В конце 1914 г., Ленин в письмах к Инессе с целью, вероятно, не афишировать их отношения, переходит с ты снова на вы. Между ними в это время происходит любопытная переписка о свободе любви, однако, то, что писала Инесса Ленину, известно лишь по немногим словам, в своем ответе цитируемых Лениным. Инесса прислала ему план своей брошюры о женском вопросе, выставив в ней «требование свободной любви». Ленин в письме от 17 января 1915 г. советует это требование выкинуть. «Это не пролетарское, а буржуазное понимание любви». У «буржуазных дам», по его мнению, оно сводится к «свободе от деторождения и свободе адюльтера». Инесса, возражая, «не понимает как можно отожествлять свободу любви с адюльтером».

«Вы, — отвечает ей Ленин, (письмо от 24 января 1915 г.), — забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в атаку на меня... «Даже мимолетная страсть и связь, пишете Вы, поэтичнее и чище, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так собираетесь Вы писать в брошюре. Логично ли это противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен, им надо противопоставить... что? казалось бы, — поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?). Выходит по логике — будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским. Странно! Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентский-крестьянский пошлый и гряз-

ный брак без любви пролетарскому гражданскому браку с любовью. С добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь, страсть, может быть грязной, может быть чистой»...

Крошечная стычка, эхо которой дошло до нас, чрез стену партийной цензуры, — отнюдь не изменила их отношений. В 1915 г. Инесса приезжает в Берн и поселяется рядом с Лениным, «наискосок от нас, — пишет Крупская, — в тихой улочке, примыкавшей к Бернскому лесу. Мы часами бродили по лесным дорогам. Большей частью ходили втроем: Владимир Ильич и мы с Инессой». На лето Ленин и Крупская поехали в Соренберг — «к нам туда приехала Инесса»...

Инесса Арманд умерла от холеры 24 сентября 1920 г. в Нальчике на Кавказе, куда поехала отдыхать. Похоронена, как Воровский, Дзержинский и другие первые коммунисты, на Красной площади у стен Кремля в «братской могиле» между Никольскими и Спасскими воротами. Смерть ее глубоко потрясла Ленина. На похоронах, по словам Коллонтай, он «был неузнаваем». Он шатался, «мы думали, что он упадет».

Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов той же Коллонтай (она хорошо знала Инессу и с нею переписывалась) Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела *«отстраниться»*, но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он. С точки зрения кодекса Колосова здесь все данные, чтобы расстаться с прошлым, не бояться упреков, не поддаваться мелким чувствам — раскаянию и сожалению. Но Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и, вместе с тем, Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь оказалась невлезающей ни в т. н. «революционные» декларации Колосова, ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное по-

том Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд» и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях (см. издание 1932 г.). Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя...

В попытках узнать Ленина у меня были «открытия» приятно удивлявшие (например, его любовь природы, отношение к Тургеневу и т. д.), но были и открытия другого рода, ставившие просто в тупик. Об одном из них я сейчас и расскажу.

В конце января 1904 года в Женеве я застал в маленьком кафе на одной из улиц, примыкающих к площади Plaine de Plainpalais, — Ленина, Воровского, Гусева. Придя после других, я не знал, с чего начался разговор между Воровским и Гусевым. Я только слышал, что Воровский перечислял литературные произведения, имевшие некогда большой успех, а через некоторое, даже короткое, время настолько «отцветавшие», что кроме скуки и равнодушия, они ничего уже не встречали. Помню, в качестве таких вещей он указывал «Вертера» Гёте, некоторые вещи Жорж-Занд и у нас «Бедную Лизу» Карамзина, другие произведения, и в их числе, — «Знамение времени» Мордовцева. Я вмешался в разговор и сказал, что раз указывается Мордовцев, почему бы не вспомнить «Что делать» Чернышевского.

— Диву даешься, — сказал я, — как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно. Тем не менее, на указание об отсутствии у него художественного дара, Чернышевский высокомерно отмечал: «Я не хуже повествователей, которые считаются великими».

Ленин, до сего момента рассеянно смотрел куда-то

в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул заскрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился.

— Отдаете ли вы себе отчет что говорите? — бросил он мне. — Как в голову может придти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса! Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал, — сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. *Он меня всего глубоко перепахал.* Когда вы читали «Что делать»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит, спросил Гусев, вы не случайно назвали в 1903 году вашу книжку «Что делать»?

— Неужели, ответил Ленин, о том нельзя догадаться?

Из нас троих меньше всего я придал значение словам Ленина. Наоборот, у Воровского они вызвали большой интерес. Он начал расспрашивать, когда, кроме «Что делать», Ленин познакомился с другими произведениями Чернышевского и вообще, какие авторы имели на него особо большое влияние в период, предшествующий знакомству с марксизмом. Ленин не имел привычки говорить о себе. Уже этим он отличался от подавляющего большинства людей. На сей раз, изменяя своему правилу, на вопрос Воровского он ответил очень подробно. В результате, получилась не написанная, а сказанная страница автобиографии. В 1919 году В. В. Воровский — он был короткое время председателем Госиздата — счел нужным восстановить в памяти и записать слышанный им рассказ. Хотел ли он его вставить в начинавшееся тогда издание сочинений Ленина или написать о нем статью — не знаю. Стремясь придать записи наибольшую точность, он обратился за помощью к памяти лиц, присутствовавших при рассказе Ленина, т. е. к Гусеву и ко мне. Лучшим способом установить правильность передачи было бы обращение к самому Ленину. Воровский это и сделал, но получил сердитый ответ: «Теперь совсем не время заниматься пустяками». Ленин тогда очень сердился на Воровского — за скверное выполнение Госиздатом партийных поручений[11]. Гусев, находившийся на фронте гражданской войны, оказал Воровскому минимальную помощь. Тетрадку, — а в ней для замечаний и добавлений к записи Воровский оставил широкие

---

[11] Ленин пришел в ярость за небрежное издание Госиздатом брошюры о конгрессе Коминтерна. Объявляя за это выговор Воровскому, Ленин в октябре 1919 г. ему писал:

«Брошюра издана отвратительно. Это какая-то пачкотня. Какой-то идиот или неряха, очевидно безграмотный, собрал, точно в пьяном виде, все «материалы», статейки, речи и напечатал». Ленин приказывал виновных «засадить в тюрьму» и заставить их вклеивать исправления во все экземпляры. Никто не был посажен в тюрьму, но переполох был большой...

поля, — он возвратил почти без пометок, ссылаясь, что многое не помнит. В отличие от него, я внес в запись кое-какие добавления и некоторые выражения Ленина, крепко сохранившиеся в памяти. Впрочем, мои добавления были очень невелики. Запись Воровского была сделана так хорошо, с такой полнотой, что в них не нуждалась. После этого я больше Воровского не видел. Вскоре он был назначен на пост посла в Италию, а в 1923 году убит в Лозанне.

Запись Воровского, восстанавливая рассказ Ленина, бросает новый свет на историю его духовного и политического формирования. Должен сознаться, что я понял это с громадным опозданием. Нужно было предполагать, что в СССР, где собираются даже самые ничтожные клочки бумажек, имеющие отношение к Ленину, — запись Воровского будет, напечатана. Однако, сколь ни искал я её в доступной мне советской литературе — нигде не нашел. О ней нет ни малейшего упоминания. Чем и как это объяснить? Запись Воровского со слов самого Ленина устанавливает, что он стал революционером еще до знакомства с марксизмом, в сторону революции его «перепахал» Чернышевский и потому, не поддаваясь упорно поддерживаемому заблуждению, нельзя утверждать будто только один Маркс, марксизм «вылепил» Ленина. Под влиянием произведений Чернышевского Ленин, к моменту встречи с марксизмом, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии именно как Ленина. Всё это крайне важно и находится в резком противоречии с партийными канонами и казенными биографиями Ленина. Весьма возможно, что именно по этой причине — запись Воровского и не опубликована. Если же это предположение не верно, нужно сделать другое заключение: в бумагах Воровского или в той части их, которая попала в партийный архив, она не найдена и ее следует считать по-

гибшей. В таком случае приобретают важность и те извлечения, что я сделал из нее, когда на несколько дней она была в моих руках. Крайне жалею, что, в то время не придавая ей должного значения, поленился полностью списать ее. Вот что рассказал Ленин.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько как в год после моей высылки в деревню из Казани[12]. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, при чем мы с сестрой[13] состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Всё напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе и выяснилась революци-

---

[12] Ленин был выслан в Кокушкино, 40 верст от Казани, имение его матери и тетки. «Ссылка» продолжалась от начала декабря 1887 года по ноябрь 1888 года. «Что делать» он прочитал в Кокушкине летом 1887 г.

[13] Сестра — Анна Ильинична, высланная в мае 1887 г. из Петербурга после казни Александра Ульянова. Некоторое время только она и Ленин жили в Кокушкине. Потом туда переехала вся семья Ульяновых. Ленин со всеми удобствами жил в семейной обстановке. Трудно это называть «ссылкой».

онная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля и так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал, замечательные по глубине мысли, обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые всё это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти[14]. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках[15]. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, проницательностью и силою, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма.

---

[14] Чернышевский умер в 1889 г. в Саратове.

[15] «Расшифровке» политических взглядов Чернышевского могла помочь и сестра Анна. Она была старше Ленина на 6 лет, вращалась в Петербурге в среде оппозиционно-настроенного студенчества и до 1893 года разделяла народнические воззрения.

В бывших у меня в руках журналах возможно находились статьи и о марксизме, например, статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать — читал ли я их или нет[16]. Одно только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши Разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского, я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее, влияние имел на меня только Чернышевский и началось оно с «Что делать». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

---

[16] В записке Воровского было указано, о каких статьях говорил Ленин. В моих «извлечениях» этого, как и многого другого, нет. Ленин, вероятно, имел в виду статью Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капитале», помещенную в «Вестнике Европы», в 1877 г. и статью в том же году в «Отечественных записках» Михайловского: «Карл Маркс пред судом Ю. Жуковского». Возможно, что речь шла о другой статье Михайловского в «Отечественных записках» 1872 года — о русском переводе I тома «Капитала». В то время они могли остаться Ленину неизвестными по той причине, что, в отличие от «Современника», — «Вестник Европы» и «Отечественные Записки» в книжном шкафу в Кокушкине были представлены не полными годовыми комплектами, а лишь разрозненными книгами. Указание на это сделано Воровскому Анной Ильиничной.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского, как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне», — ударили, как молния. Я конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовывалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода. Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было».

Когда после этого рассказа Ленина я возвращался с Гусевым в наш отель, он посмеивался надо мною:

— Ильич за непочтительное отношение к Чернышевскому вам глаза хотел выдрать. Старик, видимо, и по сей день не забыл его. Никогда всё-таки не предполагал, что Чернышевский ему в молодости так голову вскружит.

Гусев этого не предполагал, я тем менее. Роман Ленина с Чернышевским мне был совершенно непонятен, возбуждал только недоумение. Мне казался какимто курьезом, что такая тусклая, нудная, беззубая вещь как «Что делать» могла «перепахать» Ленина, дать ему «заряд на всю жизнь». Как небо от земли была далека от меня мысль, что есть особая, скрытая, но крепкая революционная идеологическая, политическая, психоло-

гическая линия идущая от «Что делать» Чернышевского к «Что делать» Ленина и речь идет не только о совпадении заголовков. Я должен был констатировать, что какой-то, и видимо очень важной, стороны мировоззрения Ленина — не понимаю. Мое удивление, что Ленин считает Чернышевского в числе своих главных учителей увеличивалось еще следующим обстоятельством.

В Уфе в 1899 г. я был знаком со старым народником Ольшевским (или Ольховским, боюсь, что искажаю его фамилию). Сей старичок, живший во дворе того же дома, где и я — и отсюда частые встречи с ним, — был большой любитель «рюмочки» с закуской из соленых грибов. После шестого или седьмого к ней припадания на него накатывал сентиментально-политический транс с пролитием слезы. Он вспоминал в такие моменты свое участие в революционных кружках 60-х годов и неизменно говорил о Чернышевском, называя его великим революционером, учителем, вождем, о котором благоговейно люди будут помнить и через «сто лет». Откликаясь на просьбу дать мне наиболее важные сочинения Чернышевского, Ольшевский из какого-то тайника извлек, кажется, женевское издание «Что делать», «Очерки политической экономии по Миллю» и еще какие-то статьи. Для него это были сосуды с священными дарами. Вручая их, Ольшевский взял с меня честное слово беречь книги как зеницу ока, немедленно возвратить после прочтения без единого пятнышка, без единой неловко перевернутой страницы. Я с трудом одолел «Что делать», находя, что еще не читал книги более бездарной, пустословной, варварским языком написанной. Еще с большим трудом прочитал статьи и «Очерки политической экономии». После первого тома «Капитала» Маркса, с которым мы, молодые социал-демократы, тогда не разлучались, написанного блестящим языком, полного всякими яркими социальными

формулами и перспективами, Чернышевский мне представился в образе какого-то Тредьяковского, подвизающегося в политической экономии. Возмущение Ольшевского моим кощунством не знало пределов. Обругав меня «ничего не понимающим фаршированным марксизмом поросенком», он недели три после этого со мною не разговаривал. Гнев Ольшевского я мог себе объяснить: он был народник и вполне понятно не терпел какого-либо умаления Чернышевского, пророка народнического мировоззрения. Но разве не странно, что через пять лет почти аналогичное происшествие: но на этот раз уже не народник, а ортодоксальный марксист — Ленин свирепо накидывается на меня в защиту Чернышевского и объявляет недопустимым говорить о нем недостаточно почтительными словами. «Он меня всего глубоко перепахал». Большая новость для тех, кто, как я, до сих пор думал, что это Маркс перепахал Ленина!

В конце 1904 г., уже уйдя из большевистской группы и встречаясь с В. И. Засулич, я однажды высказал ей мое недоумение, что люди ее поколения видели в лице Чернышевского великого учителя революции.

— А вы его знаете? — ответила Засулич.

— Почему же не знаю, читал его, как всё, и того, что вы и, например, Ленин — в нем находите, не нашел...

— Не знаете, не знаете, не знаете — упрямо твердила Засулич. — И вам трудно это знать. Чернышевский, стесненный цензурой, писал намеками, иероглифами. Мы умели и имели возможность их разбирать, а вы, молодые люди девятисотых годов, такого искусства лишены. Читаете у Чернышевского какой-нибудь пассаж и вам он кажется немым, пустым листом, а за ним в действительности большая революционная мысль. Вставляя в свои статьи загадочные иероглифы, Чернышевский всегда объяснял своим друзьям и главным сотрудникам «Современника», что он имел ввиду и эти

объяснения оттуда долетали до революционной среды, в ней схватывались и переходили из уст в уста. Поэтому, даже когда Чернышевский уже был в Сибири и свои статьи не мог объяснять, долгое время существовал, был в обращении, можно сказать, некий шифр для ясного понимания того, что, по принуждению, он выражал прикрыто и очень темно. Такого шифра у вас ныне нет, а если нет, Чернышевского вы не знаете, а раз не знаете, то и не понимаете, что он совсем не таков, каким по своему неведению, хотя оно простительно, вы себе его представляете.

Засулич дала затем несколько примеров как нужно понимать некоторые фразы и заявления Чернышевского, без обладания «шифром» на самом деле непонятные. К большому моему сожалению, эти примеры я забыл, запомнился лишь один. В одной из своих статей говоря об устройстве в России земледельческих коммунистических ассоциаций, Чернышевский намекает, что для этой цели очень пригодятся разбросанные по всей стране множество «старинных зданий». Чтобы цензуре было трудно догадаться о каких старинных зданиях идет речь, Чернышевский сопровождает свои указания нарочито туманными и сбивчивыми дополнениями.

— Вы читаете теперь, — говорила Засулич, — это место и оно вам непонятно. Пожалуй, даже глупостью, болтовней назовете. А нам в 60 и 70 годах, потому что до нас объяснения долетали и мы кое-что слышали, — всё было понятно. «Старинные здания» — это главным образом монастыри, отчасти церкви, их надо уничтожить, а здания их утилизировать для организации в них фаланстер. Такова была мысль Чернышевского.

Объяснения Засулич я слушал с интересом, но глубоко они не западали. Восемнадцатилетний Ленин, не имея того «шифра», о котором говорит Засулич,

всё же превосходно понял Чернышевского, вероятно потому, что обладал особым чутьем распознавать и тянуться к революционному «динамиту». Чернышевского я плохо знал, не понял, а вместе с этим непониманием обнаружилось, что не могу понять, — как я уже сказал, что-то крайне важное, глубоко заложенное в строй воззрений и чувств Ленина. Однако, не хочу оставить впечатления, что с этим непониманием, подобно многим другим, я остался и по сей день. Когда я стал тоже «с карандашиком в руках» штудировать сочинения Чернышевского и собирать всё, что нужно для знания его и его времени — мне представился, думаю, с достаточной ясностью весь процесс — как, чем, в какую сторону Чернышевский «перепахал» Ленина? Распространяться об этом здесь излишне, но по мотивам, а они будут ясны из дальнейшего, одну частицу из того, что я собрал по этому вопросу[17] — мне кажется — стоит извлечь и привести.

Чернышевский был, конечно, самым крайним революционером. Уже в двадцать лет (см. его дневник) он был решительным «монтаньяром», «партизаном социалистов и коммунистов», сторонником «диктатуры», чувствовал «неодолимое ожидание близкой революции и жажду ее», мечтал о «тайном печатном станке» и «писании» воззваний к восстанию. Таким он был и в течение десятилетий позднее. Арестованный в июле 1862 г., просидев в Петропавловской крепости два года (там он написал свое «Что делать»), он был судим и отправлен в Сибирь. При разборе его дела в следственную комиссию и судивший его Сенат поступили две записки с характеристикой литературной деятельности Чернышевского, составленные по заказу III отделения (ох-

[17] Сошлюсь на мои, далеко не исчерпывающие вопрос, статьи «Чернышевский и Ленин», в редактируемом М. М. Карповичем «Новом Журнале» в книгах 26 и 27 за 1951 г.

ранка). В одной из них, написанной поэтом и переводчиком В. Д. Комаровым, предавшим Чернышевского, весьма подробно доказывается, что издающиеся подпольные прокламации в громадной степени инспирируются идеями, развиваемыми Чернышевским в его статьях в легальном журнале «Современник».

«В подметных прокламациях высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский с тою лишь разницей, что в прокламациях они не прикрыты ученой диалектикой. Насильственные средства к осуществлению новых порядков указываются в прокламациях с беззастенчивой откровенностью такие же, на какие Чернышевский, стесненный условиями цензуры, мог в своих литературных произведениях только намекать более или менее ясно. Словом, прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его подробный к ним комментарий».

Опровергать это безнадежно и невозможно, это сущая правда и одним из образцов (весьма ярким) такого перевода статей и идей Чернышевского на язык подпольных произведений — несомненно была прокламация под заглавием «Молодая Россия», появившаяся в Москве в мае 1862 г. В ней выражена вся социально-политическая программа Чернышевского, правда с противоречиями и большими «излишествами». В ней, например, требуется «уничтожение брака, как явления в высшей степени безнравственного» и «семьи», как института, препятствующего «развитию человека». Недовольный такими «перегибами», Чернышевский послал в Москву виднейшего члена «Земли и Воли» Слепцова уговорить составителей прокламации как-нибудь сгладить созданное ею неблагоприятное впечатление. Составители прокламации потом объяснили, что их излишества появились от желания «чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно». Прокламация бы-

ла выпущена от имени «Центрального Революционного Комитета» (весь состав этого комитета из студентов сидел в это время под арестом в московском полицейском участке), а написал ее студент П. Г. Зайчневский, горячий сторонник Чернышевского. В прокламации он прямо опирается на него, т. е. на письмо, которое, за подписью «Русский Человек», Чернышевский поместил в № от 1 марта 1860 г. в лондонском «Колоколе» Герцена.

«Наше положение, — писал Герцену «Русский Человек» — невыносимо и только топор может нас избавить и ничто, кроме топора, не поможет. Перемените тон и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат. *К топору зовите Русь!*».

Прокламация Зайчневского, следуя этому призыву, именно *к топору* и зовет. Это одна из самых кровавых российских прокламаций.

«Мы будем последовательнее великих террористов 1792 г. Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито *якобинцами* в 1790-х годах... С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: *к топору!* И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Да здравствует социальная и демократическая республика русская!».

Почитатель Чернышевского, французских якобинцев и Бланки (всё *это* весьма увязывается) Зайчневский позднее стал главарем партии «русских якобинцев-

бланкистов». Другая разновидность этого течения была представлена П. Н. Ткачевым и его «Набатом». У Зайчневского — никогда не было недостатка в сторонниках и среди них было много женщин, например, Ошанина, ставшая виднейшим членом Исполнительного Комитета «Народной Воли», Е. Оловенникова, принимавшая участие в покушении 1 марта, М. И. Ясенева (потом замужем за Голубевым) и другие. Ясенева — вернейшая политическая спутница Зайчневского с 1882 г. по день его смерти — человек с характером, но фигура неяркая. Вспомнить же о ней важно по следующей причине. Когда Зайчневский был сослан в Сибирь, Ясеневу, привлеченную по его делу, после тюремного заключения, отправили в 1891 г. под гласный надзор полиции в Самару, где она познакомилась с Лениным и часто бывала в семье Ульяновых. В большевистской литературе есть указание, что в Самаре Ленин будто бы «оказал сильное влияние на формирование ее мировоззрения и политических взглядов». Это неверно. При встрече с Лениным, Ясенева, старше его на 9 лет (родилась в 1861 г.), имела уже и революционное прошлое, и сложившееся под влиянием Чернышевского и Зайчневского мировоззрение. «Зайчневский, — говорила она Мицкевичу (см. его статью в «Пролетарской Революции»), — заставлял нас изучать «Примечания к Миллю» Чернышевского». Ленину же, тоже «перепаханному» Чернышевским и лишь недавно ставшему марксистом, было 21 год. Не он открывал Ясеневой новые перспективы, а следует думать, в гораздо большей степени, она ему. Ленин в это время особенно интересовался историей русского революционного движения, ища личного знакомства с его участниками. Очень заинтересовался он и партией «якобинцев-бланкистов» Зайчневского, и о программе и истории ее, начиная с появления «Молодой России», ему и рассказывала Ясенева. Об этом можно кое-что найти в ее статье «Последний Караул», напеча-

танной в сборниках «О Ленине», книге II. Говорю лишь кое-что, так как Ясенева, плохо владея пером, не смогла связно и подробно рассказать о том, что для истории политического развития Ленина, несомненно, представляло большой интерес.

«В разговорах со мною, — писала она, — Владимир Ильич часто останавливался на вопросе о захвате власти — одном из пунктов нашей якобинской программы. Он не оспаривал ни возможности, ни желательности захвата власти, только никак не мог понять на какой такой «народ» мы думаем опереться. Я теперь еще больше, чем раньше, прихожу к заключению, что у него уже тогда являлась мысль о диктатуре пролетариата».

Можно найти ряд подтверждений, что мысль о захвате власти и диктатуре, тогда, действительно бродила, формировалась, в голове Ленина, несмотря на то, что этому шла наперекор критика идеи захвата власти в работе Плеханова «Наши Разногласия», с усвоения которой в 1889 г. Ленин начал свое марксистское воспитание. Разговоры с Ясеневой о «Молодой России», Зайчневском, партии якобинцев-бланкистов — несомненно осели в памяти Ленина. На это указывает следующий факт. Осенью 1904 г., после двенадцати лет полного забвения Ясеневой, отсутствия между ними какой-либо переписки, Ленин вдруг вспоминает о ней, пишет ей из Женевы в Саратов письмо, «чрезвычайно радуется», узнав что она «жива» и «очень хотел возобновить дружбу» с нею. Что случилось, что толкнуло его вспомнить о ней? На это легко ответить: написав «Шаг вперед — два назад», Ленин в это время пришел к твердому убеждению, что ортодоксальный марксист-социал-демократ непременно должен быть *якобинцем,* что якобинство требует диктатуры, что «без якобинской чистки нельзя произвести революцию» и «без якобинского насилия диктатура пролетариата выхолощенное от всякого содержания слово». Но ведь это всё близко к тому, что следуя призыву Чер-

нышевского, к топору приглашала «Молодая Россия», весьма близко к тому, что развивала программа «якобинцев-бланкистов», излагавшаяся Ясеневой. Как тут ее не вспомнить! Тем более, что Ленин узнал, что Ясенева примкнула к большевистскому течению и «занимает солидарную с нами позицию» (письмо к Ясеневой опубликовано в полном собрании сочинений Ленина). Эту, почти никому неизвестную, историю с «Молодой Россией», партией «якобинцев-бланкистов» и, разговорами Ленина с Ясеневой — мне казалось уместным привести. Она бросает особый свет на ряд заявлений Ленина, о которых буду говорить в главе о том, как он писал «Шаг вперед — два шага назад».

Несколько строк в добавление. Зайчневский — глава «русских якобинцев-бланкистов», умер в 1896 г., на смертном одре, в бреду споря с Лавровым и доказывая, что «недалеко время, когда человечество шагнет в царство социализма». С его смертью, писал в 1925 г. Мицкевич, один из виднейших последователей Зайчневского — «русское якобинство умерло, чтобы воскреснуть в новом виде в русском марксизме — революционном крыле русской социал-демократии — в большевизме». Не только Ясенева, но *«все из участников кружка Зайчневского»* — тот же Мицкевич, А. Романова, Л. Романова, Арцыбашев, Орлов и другие — потом прислонились к Ленину, стали большевиками. «Очевидно, *якобинство предрасполагало к большевизму»*, очевидно и другое — *большевизм предрасполагал к якобинству.* Вспоминая отправной политический документ русского якобинства — прокламацию «Молодой России», но упуская из виду, что она навеяна «топором» Чернышевского, Мицкевич указывал, что это «замечательное» произведение содержит много лозунгов, претворенных октябрьской революцией.

«Тут и предсказания, что России первой выпадет на долю осуществить великое дело социализма, тут и

предсказания, что все партии оппозиционные объединятся против социальной революции, тут и требование организации общественных фабрик, общественной торговли, национализации земли, конфискации церковных богатств, признание необходимости для свершения революции строго централизованной партии, которая после переворота в «наивозможно скором времени» заложит основы нового экономического и общественного быта при помощи *диктатуры*, регулирующей выборы в национальном собрании так, чтобы в состав его не вошли сторонники старого порядка. Все это идеи октябрьской революции, не хватает только одного пролетариата».

Мицкевич совершенно прав: октябрьская революция 1917 г. провела в жизни много лозунгов «Молодой России» 1862 г.; в течение десяти слишком лет практически осуществлялись даже такие лозунги, как уничтожение брака и семьи. И вот что достойно внимания. В архивах Слепцова было найдено письмо, написанное в 1889 г. Зайчневским какому-то неизвестному Андрею Михайловичу. На вопрос последнего — что знали и читали составители «Молодой России», Зайчневский ответил: «*Марксятину мы тогда еще не читали*».

Замечание весьма интересное. Из него явствует, что руководимая Лениным октябрьская революция могла быть «сделанной» без всякой «*марксятины*», а только исходя из поучений перепахавшего Ленина Чернышевского.

ЛЕНИН СПОРТСМЕН. ИСТОРИЯ С РУЧНОЙ ПОВОЗКОЙ

Читая разные описания жизни Ленина, его биографии, да и подавляющую часть воспоминаний о нем, мы все время видим Ленина только в качестве производителя политических резолюций, организатора большевистской партии и Коминтерна, человека, занятого только борьбой и сокрушением инакомыслящих. Вы не найдете указаний на то, как жил Ленин вне политической сферы, каковы были его привычки, как он одевался и т. д. Все мелочи, входящие в жизнь всякого человека, в описаниях жизни Ленина обычно тщательно вытравлены. В результате получается не живая, а какая-то геометрическая фигура. А между тем, мелочи, связанные с характером, обычаями Ленина, именно потому, что одними прославляемый, проклинаемый другими, он уже вошел в историю XX века, — не менее интересны, чем мелочи, входившие в жизнь, например, Наполеона I. Ведь на ход истории личность Ленина положила отпечаток, конечно, не меньший, чем Наполеон. Вот почему, в отличие от других авторов воспоминаний, мне хочется рассказать о некоторых известных мне «мелочах», кое-каких фактах, ничего не прибавляющих нового для характеристики «политика» Ленина, но интересных как черточки для портрета живого, а не «геометрического» Ленина.

Красиков, в день моего приезда в Женеву, представил меня Ленину следующими словами: «Смотрите, Ильич, на эту дохлую кошку. Можете ли вы поверить, что

этот человек имел лошадинные мускулы и подбрасывал десятки пудов?».

Конечно, я «не подбрасывал» и не мог «подбрасывать десятки пудов», таких Геркулесов в природе вообще нет, не было и не будет — это миф. Какой же вес я мог поднимать не тогда, когда после голодовки, стал «дохлой» кошкой, а до этого? Именно этот вопрос предложил мне Ленин, при одной нашей встрече.

— Правда ли, что вы легко могли поднимать десять пудов?

— Нет, это очень, очень далеко от истины. Самое большее, что я двумя руками поднимал вверх на вытянутых руках — было 7 пудов 20 фунтов. Это вес, который могут поднять не все атлеты, подвизающиеся в цирках, но это, конечно, значительно меньше рекордов прославленных атлетов.

— Если, — заметил Ленин, — вы могли над головой поднять 7 пудов 20 фунтов, значит могли бы поднять от земли наверное вдвое больше.

— Нет, это не так. Пробы поднятия от земли максимального для данного лица веса мне кажутся опасными. Так можно нажить грыжу. Следуя указаниям в Уфе моего монитера по атлетике С. И. Елисеева, держателя в то время (конец девяностых годов) всех мировых рекордов по поднятию тяжестей — я за это и не принимался. Один раз поднял от земли на немного 9 пудов и это было столь тяжело, что больше за такой номер я не брался.

Ленин меня слушал с явным недоверием:

— Здесь какой-то физический или физиологический абсурд! Не пойму, как же это так — поднимали над головою 7 пудов, а 9 пудов еле подняли с земли?

Объяснить этот факт с точки зрения «научной» я никак не мог. Мог лишь указать, что между максимальным весом, который умеючи можно двумя руками поднять вверх, и максимальным весом, поднятым от земли

совсем нет того огромного разрыва, который предполагает, так сказать, здравая сравнительная логика.

На этом наш разговор не кончился. Ленин меня крайне удивил (сколько раз он меня удивлял!), когда обнаружилось, что он немало интересуется спортом и разными физическими упражнениями. Он мне сообщил, что когда-то, в Казани, ходил в цирк специально, чтобы видеть атлетические номера и потерял к ним «всякое уважение», случайно узнав за кулисами цирка, что гири атлетов дутые, пустые и потому совсем нетяжелые. Разговор потом перешел к упражнениям, считающимся в атлетике основными, «классическими». Я взялся их показать Ленину, оперируя вместо штанги половой щеткой, которую он мне принес.

— Вот смотрите, Владимир Ильич, номер — первый. Вы берете штангу двумя руками, вот так, быстро подымаете ее на грудь и от плеча, толчком рук, ног, спины, усилиями всего тела, вскидываете наверх, держа ее там на вытянутых руках. Вот так. Этот номер называется толканием двумя руками.

Взяв половую щетку из моих рук, Ленин мастерски повторил, «скопировал» упражнение.

— Второй номер. На этот раз штанга не толкается от груди, а без всяких толчков медленно подымается, так сказать, выжимается. Поэтому это упражнение и называется выжиманием и оно много тяжелее первого. При нем крайне напрягаются бицепсы, трицепсы, мускулы плечевые и груди. Для облегчения можно корпус откинуть немного назад. Ноги должны быть раздвинуты для придания себе большей опоры. Если же приставить их одна к другой, встать, как говорят русские атлеты, в «солдатскую стойку», упражнение делается еще более тяжелым.

Ленин и это упражнение в солдатской стойке и без нее, проделал снова мастерски.

— Наконец, третье основное упражнение — вы-

брасывание. Штанга берется на этот раз одной рукой[18] и должна быть быстро поднята вверх и там удержана. Ничего не выйдет, если пробовать взметывать ее вот так на вытянутой руке. Тут требуется следующий трюк.

Я показал какой. Два раза «трюк» не удавался Ленину, в третий он съимитировал его превосходно. Как раз в этот момент на ступенях, шедших в кухню-приемную, где мы находились, я увидел Елизавету Васильевну — мать Крупской. Смотря на наши упражнения с щеткой и держа платок у рта, она тряслась от хохота. Заметил ее и Ленин.

— Елизавета Васильевна, не мешайте нам, мы занимаемся очень важными делами!

При встрече чрез несколько дней Елизавета Васильевна мне сказала:

— Неправда ли, какой Владимир Ильич ловкий? Прямо удивительно, как он схватывал всякие ваши штуки с щеткой. Володинька во всем ловкий. Пуговица у него где-нибудь оторвется, ни к кому не обращаясь, он сам ее пришьет и лучше, чем Надя (Крупская). Он и ловкий, и аккуратный. Утром, прежде чем сесть заниматься, всюду с тряпкой наводит порядок среди своих книг. Если ботинки начнет чистить — доведет их до глянцу. Пятно на пиджаке увидит — сейчас же принимается выводить.

Беседуя с Лениным, я понял, откуда у него такая крепко сложенная фигура, бросившаяся в глаза при первой с ним встрече. Он был настоящий спортсмен с большим вкусом ко всей гамме спорта. Оказалось, что он умел хорошо грести, плавать, ездить на велосипеде, кататься на коньках, проделывать разные упражнения на трапеции и на кольцах, стрелять, охотиться и, как я

---

[18] Ныне на международных чемпионатах практикуется выбрасывание двумя руками, а не одной. Как видите, я вводил Ленина в курс атлетики, следуя старинным правилам.

мог убедиться, ловко играть на биллиарде. Он мне поведал, что каждое утро, полуголый, он проделывает не менее 10 минут разные гимнастические упражнения, среди них на первом месте, разведение и вращение рук, приседание, сгибание корпуса с таким расчетом, чтобы, не сгибая ног, коснуться пола пальцами вытянутых рук.

— Эту систему упражнений я сам себе установил уже много лет. Не гимнастирую только, когда, работая ночью, чувствую себя утром усталым. В этом случае, как показал опыт, гимнастика не рассеивает усталость, а ее увеличивает.

Ленин несомненно заботился о своем здоровье и для него упражнения, гимнастика были не просто удовольствием, как у меня, а одним из средств укрепления здоровья. Впрочем, он и сюда подходил с точки нужд революции. В этом отношении очень характерны следующие слова, которые я от него услышал. После многодневной голодовки в Киевской тюрьме я долго не мог поправиться. Ленин, узнав об этом от Красикова, — спросил меня: что сказал доктор, какие лекарства он дал? Денег у меня не было, к доктору, кроме одного раза, я не ходил, но не стал это объяснять Ленину, а только сказал: у доктора не был. Ленин посмотрел на меня — другого выражения не нахожу — с какой-то брезгливостью, с которой относятся, например, к человеку грязному или дурно-пахнущему.

— У доктора не были? Это уже совсем некультурно, это уже замашки Чухломы. Попрошу Красикова, чтобы он насильно свел вас к доктору. Здоровье надо ценить и беречь. Быть физически сильным, здоровым, выносливым — вообще благо, а для революционера обязанность. Допустим вас выслали куда-нибудь к чорту на кулички в Сибирь. Вам представляется случай бежать на лодке, это предприятие не удастся, если не умеете грести и у вас не мускулы, а тряпка. Или другой

пример: вас преследует шпик. У вас важное дело, вы обязательно должны шпика обуздать, другого выхода нет. Ничего не получится, если нет силёнок.

О гимнастике и физических упражнениях мы потом неоднократно говорили с Лениным. Он как-то мне рассказывал, что, живя в Самаре, несколько раз совершал на лодке один, без компаньонов, четырехдневное путешествие по Волге, по маршруту, названного самарскими любителями лодочного спорта «кругосветкой». Из Самары нужно было спуститься вниз по Волге, огибая Жигули, следуя по излучине реки, так называемой — Самарской Луке. Километров 70 от Самары на правом берегу Волги у села Переволоки лодка перетаскивалась в речку Уса, текущую позади Жигулей, параллельно Волге, но в обратную сторону и впадающую в Волгу выше Самарской Луки, почти напротив г. Ставрополя. Выплывая на Волгу, отсюда возвращались в Самару. «Круговое» путешествие не было трудным: по Волге, и по Усе все время были вниз по течению. Трудно было «волочить», перетаскивать лодку от села Переволок в Усу, кажется — около трех километров. Как Ленин справлялся с этой задачей и был ли он в состоянии один без помощи других — волочить лодку — мне осталось неизвестным. Я тогда не очень об этом его расспрашивал, плохо представляя себе и всю эту «кругосветку», и самый трудный момент ее — перетаскивание лодки. Стоит напомнить, что недалеко от того места, где из Усы Ленин выплывал на Волгу — ныне строится Куйбышевская гидроэлектростанция, «самое большое, по словам советской прессы — гидротехническое сооружение мира».

О всяких физических упражнениях Ленин мог разговаривать только со мною. С кем другим? Для других компаньонов Ленина эта область была столь же неведома, далека, чужда, как вязание чулок или вышивание на пяльцах. Ведь это было 48 лет назад. Теперь не то.

Теперь спорт не только вошел в жизнь, а подмял и оседлал ее. О подвигах боксеров радио иных стран рассказывают, как о великих исторических событиях. Организация спорта стала государственной заботой, спорт создал целую новую индустрию, профессии мониторов, огромную специальную прессу. В своем увлечении боксом и футболом, в преклонении и восхищении пред боксирующим кулаком, мускулами ног у пловца или прыгуна, почтением неизмеримо большим, чем пред мозгом, интеллектом, часть человечества стала загадочной... К чему это ведет?

Я забыл указать, что, помимо уже перечисленных спортивных способностей, Ленин был еще превосходным, неутомимым ходоком и, в частности, в горах. Я участвовал в трех прогулках с Лениным в ближайшие к Женеве горы. В первой, кроме Ленина и Крупской, приняли участие только что приехавший из России А. А. Богданов с женой и Ольминский. От этой прогулки запали в память два момента: во-первых, страсть, с которой защищал Ленин свою позицию на партийном съезде, убеждая Богданова немедленно, не теряя дня, броситься в атаку на меньшевиков. Другой момент — когда, став на выступ горы, как на кафедру, он вдруг стал декламировать стихотворение Некрасова:

Буря бы грянула что ли,
Чаша с краями полна,
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи.
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!

Все очень аплодировали Ленину и больше всех Крупская. Аплодировал и я, но почему-то чувствовал себя неловко. Может быть, потому, что пафос Ленина в данном месте и данном обществе показался несколько неуместным и театральным, тем более, что «поза» была

чужда Ленину. В двух других горных прогулках компанионом Ленина и Крупской был я один. От продолжения их я был принужден отказаться. Поспевать за Лениным, карабкаясь по горным тропинкам, я, не совсем оправившийся от последствий голодовки, — не мог. Я был обузой. Ленин и Крупская часто останавливались, поджидая меня. «Живы? Не упали?» — кричал мне Ленин. Отправляясь на прогулку в горы, Крупская, однажды, по настоянию Ленина, взяла с собою колбасу, крутые яйца, хлеб и печенье. Соль для яиц забыла взять, за что получила «выговор» от Ленина.

Во время пикников, прогулок, когда нет стола, тарелок, вилок и т. д. — как с пищевым добром управляются люди? Полагаю, со мною согласятся, если скажу, что поступают следующим образом: отрезают кусок хлеба, кладут на него кусок колбасы и сделанный таким образом «сандвич» откусывают. Ленин поступал по-другому. Острым перочинным ножиком он отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и немедленно отрезав кусочек хлеба подкидывал его вдогонку за колбасой. Такой же прием он применял и с яйцами. Каждый кусочек, порознь, один за другим, Ленин направлял, лучше сказать, подбрасывал в рот какими-то ловкими, очень быстрыми, аккуратными, спорыми движениями. Я с любопытством смотрел на эту «пищевую гимнастику» и вдруг в голову мне влетел образ Платона Каратаева из «Война и Мир». Он всё делал ловко, он и онучки свои свертывал и развертывал — как говорит Толстой — «приятными, успокоительными, круглыми движениями». Ленин обращается с колбасой, как Каратаев с онучками. Кусая сандвич, я эту чепуху и выпалил Ленину. Это не умно? Но каждый из нас, лишь бы то не повторялось слишком часто, имеет право изрекать и делать глупости.

До этого не приходилось слышать Ленина громко хохочущим. У меня оказалась привилегия видеть его

изгибающимся от хохота. Он отбросил в сторону перочинный ножик, хлеб, колбасу и хохотал до слез. Несколько раз он пытался произнести «Каратаев», «ем, как онучки он свертывает» и не кончал фразы, сотрясаясь от смеха. Его смех был так заразителен, что, глядя на него, стала хохотать Крупская, а за нею я. В этот момент «старику Ильичу» и всем нам было не более 12 лет.

Из обихода Ленина были изгнаны всякие фамильярности. Я никогда не видал, чтобы он кого-нибудь хлопал по плечу и на этот жест по отношению к Ленину, даже почтительно, никто из его товарищей не осмелился бы. В этот день, когда, возвращаясь в Женеву, мы спускались с горы, Ленин, вопреки своим правилам, дружески тяпнул меня по спине: «Ну, Самсоныч, осрамили же вы меня Каратаевскими онучками»! Может быть это был кульминационный пункт периода «благоволения»?

Раз я коснулся мелочей, фактов из petite histoire Ленина — хочу рассказать еще об одном происшествии.

Перейдя нелегально границу в Польше, моей жене тоже удалось добраться до Женевы. В отличие от Кати Рерих приехала она совсем не для того, чтобы разобраться, — кто прав, кто виноват — большевики или меньшевики. К с.-д. партии она никогда не принадлежала. Она привезла немного денег, и я поспешил покинуть отель на Plaine de Plainpalais и от партийного содержания отказаться. Деньги, привезенные женою, быстро разошлись, нужно было поскорее найти заработок и, не находя ничего лучшего (жена была начинающей артисткой), она стала мыть посуду в столовой для эмигрантов, организованной Лепешинской. Имя это в СССР стало таким знаменитым, что на чете Лепешинских нужно обязательно остановиться.

О Пантелеймоне Николаевиче — его эмигрантской кличкой была Олин, жена его звала «Пантейчик» —

Ленин всегда говорил с добродушной усмешкой. Он очень скептически относился к литературным способностям и желанию Лепешинского писать и часто говорил, что «в товарище Олине сидит Обломов, в уменьшенном размере, а всё же Обломов». Может быть, поэтому Лепешинский при всей его верности «Ильичу» не сделал большой карьеры после октябрьской революции. Его сажали на места, не требующие инициативы и большой ответственности. Он был малозаметным членом коллегии Комиссариата Народного Просвещения, потом членом Истпарта (истории партии), потом председателем МОПР — международного общества помощи жертвам революции. Какова его была судьба в последние годы и жив ли он — не знаю. Знаю только, что ему дали чин «доктора исторических наук».

Иной оказалась карьера его супруги. Она лауреат Сталинской премии, профессор, «выдающийся биолог», действительный член Академии Медицинских наук СССР. Ее имя фигурирует рядом с знаменитым садоводом Мичуриным («мичуринская биология») и «уничтожившим» учение Вейсмана, Менделя и Моргана академиком Лысенко, (доносчиком, погубившим многих больших ученых и в том числе ак. Вавилова). Не это удивительно, а то, что ее ставят почти рядом с таким знаменитым именем, как покойный академик Павлов! Вот докуда она возвысилась! Что же сделала она? За что такие почести?

Еще недавно, в 1930 г., в II томе «Большая Советская Энциклопедия» называла Р. Вирхова, выдающимся ученым, патологом, антропологом. Она писала, что он заложил фундамент «грандиозного по своему значению создания целлюлярной клеточной патологии», дал «ряд замечательных исследований по сифилису, проказе, опухолям, о животных и растительных паразитах и т. д.», основал «знаменитый архив патологии, физиологии, клинической медицины». Ныне советская печать сооб-

щает, что после опубликования в 1950 г. работ Лепешинской — всё учение Вирхова потрясено, уничтожено до тла. Оно «отнесено к идеалистическим установкам реакционных буржуазных ученых». По ее собственным словам, Лепешинская нанесла Вирхову «сокрушительный удар». «Советская наука, — недавно писала она, — непосредственно руководимая Сталиным, превзошла достижения науки за пределами нашей страны (см. Литературную Газету № 20 сент. 1951 г.). Будучи профаном в биологии, не могу иметь даже малейшее суждение о ценности открытий Лепешинской и ее «сокрушении» Вирхова... Но взлет Лепешинской на вершины науки меня повергнул в крайнее удивление.

Я хорошо знал Ольгу Борисовну Лепешинскую в Женеве, где в течение многих месяцев мог ежедневно видеть ее, приходя завтракать в весьма умело ею организованную столовую. «Пантейчика» она посылала с корзинками для закупки провизии, сама изготовляла из нее — обычно одно и тоже меню — борщ и рубленые котлеты, а помощницами у нее были Аня Чумаковская и моя жена: они чистили овощи, подавали к столу, мыли посуду. Сколько получала Чумаковская — неизвестно, моя жена за работу, минимум 6 часов, получала вознаграждение натурой: завтрак для себя и другой для меня, причем для поедания причитающейся мне порции, я, по указанию Ольги Борисовны, должен был приходить лишь поздно, после того как уже удовлетворены товарищи — за еду платящие. Они были, так сказать, гражданами первого сорта, а я низшего порядка. Когда заготовленные для них блюда — всё те же котлеты — съедались, мне приходилось довольствоваться лишь увеличенной порцией борща, заготовлявшегося в огромном количестве и бывшим для бюджета столовой самым выгодным продуктом.

В 1904 г. Ольге Борисовне — (не представляю ее себе иначе как только вооруженной большой зубочист-

кой!), было 33 года — ее 80-летие праздновалось в Академии в сентябре 1951 г. Лет десять пред этим она была на фельдшерских курсах и этим ее медицинское образование ограничивалось. Повышенным уровнем общего развития она никак не могла похвалиться и никаких позывов к наукам, в частности, к биологии — тогда не обнаруживала. Она была из категорий женщин, называемых «бой-бабой», очень практичной, с большим апломбом изрекающей самые простецкие суждения по всем решительно вопросам. Ленин, узнав, что она хорошо зарабатывает в организованной ею столовой, заметил: «с нею (Ольгой Борисовной) Пантейчик не пропадет». До 1931 г., — а в то время, я лишь недавно попав заграницу, имел еще хорошие связи с Россией, — ни от кого не слыхал, что Лепешинская ушла в науку. Очевидно, ее чудесное, загадочное, для меня непонятное превращение в признанного партией и советской наукой «выдающегося биолога», «сокрушившего» учение Вирхова, произошло за последние 19 лет в царствование Сталина. И даже не за 19, а за 15 лет, в книжке А. Эмме «Наука и религия о возникновении жизни на земле» (Москва, 1951 г. стр. 92) — указывается, что работы Лепешинской в СССР «в течение пятнадцати лет не признавались, замалчивались и опорачивались сторонниками вирховианства» (т. е. Вирхова)[19].

---

[19] Лепешинская в № 1 «Правды» за 1951 г. пояснила, что ее великие открытия сделаны благодаря «руководству тов. Сталина».

«Выполняя предначертания Ленина и Сталина, советские ученые отстаивают в своей повседневной работе принципы большевистской партийности в науке. Этот принцип стал девизом не только для меня старого большевика (почему не старой большевички? Н. В.), но и для многих тысяч молодых научных работников, воспитанных партией Ленина—Сталина. Идеи Ленина—Сталина оплодотворили и вызвали расцвет многих отраслей наук... Диалектический метод, как учит товарищ Сталин (следующие строки Лепешинская списывает из «Краткого курса партии ВКП», Сталина — стр. 102, издание 1950 г., который их, в свою оче-

Одним борщом и котлетами, т. е. заработком жены — мы просуществовать не могли. Я тоже бросился в поиски заработка и после некоторых проб стал кое-что зарабатывать перевозкой багажа. Перевозил его на charrette à bras, ручной повозке, а нанимал ее у консьерж на улице Carouge, платя за пользование 20 сантимов в час. Главными моими клиентами, кроме иностранцев-туристов (их нужно было ловить при выходе из вокзала) были русские эмигрантки и студентки. Владимиров в брошюре «Ленин в Женеве и Париже», напечатанной в 1924 г. писал, что в Женеве среди большевиков в 1904 г. было «не мало» таких, которые, чтобы не погибнуть с голода, занимались перевозкой вещей. Владимиров превратил меня во множественное число. Никаких конкурентов по «извозу» у меня не было, кое-кто из большевиков даже считал, что заниматься таким делом, заменять собою лошадь, — «оскорбительно для человеческого достоинства».

Однажды во время какого-то собрания, на котором шел бой между социал-демократами и социалистами-революционерами, ко мне подошел (назовем его Петров: фамилию его прекрасно помню, но по некоторым причинам не хочу называть). Он приехал в Женеву

редь, списал у Ленина), считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. Руководствуясь этими указаниями тов. Сталина, мы подошли к изучению происхождения сложных жизненных единиц-клеток из более простого живого вещества, из белковых тел способных к обмену веществ. Таким образом, экспериментально была опровергнута идеалистическая теория Вирхова (всякая клетка и все ее составные части могут происходить только от клетки путем делений и что вне клетки нет ничего живого) и создана новая диалектико-материалистическая клеточная теория, гласящая: всякая клетка из живого вещества и ниже клетки есть более простое вещество — живое вещество».

самым легальным путем, посещал университет, слыл за попутчика меньшевиков, жил не по-эмигрантски, будучи, как говорили, очень состоятельным человеком.

— Мне сказали, что вы занимаетесь перевозкой багажа. Не могли ли вы доставить вещи из пансиона, в котором сейчас живу, в другой пансион, на дачу, за Женевой. Могу предложить за это десять франков.

У меня дыхание сперло от такой блестящей перспективы. До сих пор, за уплатой аренды повозки, более двух франков и, разумеется, не каждый день, зарабатывать не приходилось. Десять франков на весах эмигрантского бюджета представлялись чем-то огромным!

— Вы приедете в мой пансион послезавтра в 12 часов дня. Мы с женою уже уедем на дачу на велосипедах, но все вещи будут собраны и вам останется лишь их погрузить.

— А далеко ли везти?

Петров выдернул из своей записной книжки листок и пометил адрес своего пансиона — avenue Petit, (боюсь ошибиться) и место назначения. Везти нужно было через весь город и двигаться дальше к франко-швейцарской границе, ориентируясь на Fernay. Это название меня хлестнуло: «Вольтер-патриарх Fernay!». Как раз несколько дней до этого, увидя у А. С. Мартынова книгу о Вольтере, я попросил ее мне дать и с большим интересом прочитал. Вольтер, разрушавший основы феодально-средневекового мировоззрения, поучавший, как малых детей, коронованные головы того времени, был весьма предусмотрительным и осторожным человеком. Не доверяя коварному и злобному Людовику XV, он приобрел замок в Fernay на швейцарской границе с таким расчетом, чтобы в случае угрожающих ему неприятностей, в несколько минут очутиться в свободной Швейцарии. Как не позавидовать такому удобству! У нас с Катей Рерих таких удобств не было. Когда Воль-

теру что-либо казалось подозрительным, он набрасывая на себя плащ, брал подмышку ящичек с золотом и драгоценными камнями и вооружившись палкой с золотым набалдашником, просто перешагивал через границу. Раз дача Петрова, куда мне нужно доставить багаж, находится не так уж далеко от Fernay, воспользуюсь удобной оказией и побываю в жилище Вольтера. После прочитанной книги оно меня очень заинтересовало. Но вот вопрос: много ли вещей везти? Петров ответил: «Немного, на обычного размера ручной повозке они легко помещаются. Два ящика с книгами, три чемоданчика, кое-какие пакеты. Я оставлю достаточно веревок, перевязав вещи, вам будет легко их везти».

Радужное настроение духа (перспектива заработка 10 франков), с которым через день я подкатил повозку к пансиону Петрова, сразу исчезло при виде груды вещей, назначенной к перевозу. «Ящички» с книгами оказались тяжелыми ящиками. Снести их со второго этажа и водрузить на повозку помог служитель пансиона. Чемоданов из толстой кожи, туго набитых бельем и разными вещами, очень тяжелых, оказалось не три, а помнится четыре или пять. А сверх того — тяжелые пакеты с одеялами, пледами, пальто. С ними долго пришлось повозиться. Когда все было нагружено на повозку, она превратилась в настоящий воз. Стало окончательно ясно, что обещанные франки не достанутся легко. Передвижение такого воза само по себе требовало силы, а тут были нужны дополнительные усилия, чтобы держать оглобки перегруженной повозки параллельно земле, иначе она опрокинется назад. Я был уже достаточно опытен в перевозках, чтобы знать, что без отдыха, передышки в пути, при таком грузе не обойтись. А я не мог его иметь, если бы положил оглобли просто на землю. В части платформы повозки, обращенной к оглоблям, почему-то не было доски, груз мог бы отсюда скатиться вниз. Два раза я обращал на это

внимание владелицы повозки, на что она мне неизменно отвечала: «Не нравится повозка, — не берите». Отдыхать я мог бы, лишь опуская заднюю часть повозки на землю, но в такой позиции ее оглобли взметнутся почти вертикально и опустить их будет не легко. Меня это не смутило бы, будь то до голодовки в тюрьме, но теперь я чувствовал, что во мне что-то не ладится, что силы стало гораздо меньше и я далеко не был уверен, что мне при таком тяжелом грузе удастся справиться с повозкой. «Vous creverez!» — убежденно сказал мне служитель пансиона. Однако, к данному положению, более чем к какому-либо другому, подходила пословица: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж». И я покатил.

Путь был долог. Там, где улицы были гладки, повозка шла тоже сравнительно гладко, на плохо замощенных приходилось напрягаться. Была весна. Солнце пекло немилосердно. На мне тяжелое черное пальто и в нем, под лучами солнца, я обливался потом, как взмыленная скачкой лошадь. А почему бы не снять пальто? В спешке бегства из Киева под руками не нашлось ничего подходящего, чем бы заменить форменную студенческую тужурку и совершенно износившиеся в тюрьме штатское одеяние. Мой друг Леонид, отбывавший повторный призыв на военную службу в качестве прапорщика, уступил мне свой военный мундир и его, когда после выхода из тюрьмы я провел день у проф. Тихвинского, лишь слегка приспособили под штатский облик. В этом одеянии, имевшем довольно странный вид, я приехал в Женеву и в полдень, на следующий день после своего водворения в отеле, появился к завтраку, к табельдоту. Красиков, великий насмешник, вытаращив глаза на мой мундир (он меня в нем не видел, приведя к Ленину, почти немедленно от него ушел) — решил меня «разыграть»: отведя в сторону хозяйку

отеля и так, чтобы я слышал, указывая на меня, стал шептать:

— Смотрите, это казак, это знаете ли страшные и дикие люди: они и свечки едят. Хозяйка бросила на меня испуганный взгляд:

— Зачем же, monsieur, есть свечи? Порции за завтраком достаточно большие. Пусть monsieur берет столько, сколько хочет.

Пришлось к ней подойти и поклясться, что я не казак и свечей не ем. На странноватый мундир — обратил внимание и Ленин настоял, чтобы на партийные деньги мне было куплено другое одеяние. Костюм я покупал вместе с П. А. Красиковым, деньги за него, — выбиралась дешевка, — были уплачены ничтожные, а соответственно деньгам было и качество материи. Оно было низко до крайности, особенно штаны стали быстро разлезаться, когда я занялся перевозками. Сколько ни чинила их моя жена, сколько ни ставила заплат, штанная конструкция еле держалась. Чтобы скрывать зияющие прорехи, я, выходя на улицу, невзирая на погоду, надевал черное пальто, полученное из эмигрантского фонда. Не снимал его и приходя к Ленину, и по этому поводу от Крупской, которая в эту пору уже стала на меня сильно коситься и злиться, выслушал следующее язвительное замечание:

— Удивительно глупо, что вы не снимаете пальто. Чего вы стесняетесь? Неужели вы думаете, что весь свет или кто-то на вас смотрит? Чем вы можете к себе привлекать? Не понимаю.

Свет на мои разорванные штаны, конечно, не смотрел. Будь это сейчас, я без малейшего стеснения в этих самых брюках мог бы прогуливаться на самых шикарных улицах Парижа, тем более, что в этом отношении Париж — город совершенно особый. Всякие экстравагантности там все видят, но никто и вида не покажет, что их заметил. Но что поделаешь, в Женеве я, дей-

ствительно «стеснялся» и предпочитал мучиться под солнцем в веригах тяжелого пальто, но дыр штанов «всему свету» не показывать. В этих веригах я и тащил мою повозку. Перетащив ее через мост, я двинулся по дороге, недалеко от которой жил Ленин. Вскоре я почувствовал, что дальше везти не могу. Руки и спина от усилий онемели. Я был так мокр, точно только что вылез из озера. Кое-как подкатив к тротуару в тень под дерево, против какого-то простенького кафе, я опустил повозку наземь. Как и нужно было ожидать, ее оглобли встали на-дыбы. Ну, и чорт с ними! Всё равно, нужно отдохнуть. В эту минуту в нескольких шагах от меня я увидел Ленина. На нем был люстриновый легкий пиджачек и он держал шляпу в руке. На его лице промелькнуло удивление, когда он увидел меня около воза-повозки.

— А где жена?

Я ответил с раздражением:

— При чем тут жена?

— Как причем? Вы ведь куда-то переезжаете?

Мне стало смешно.

— Неужели вы думаете, что всё это добро мне принадлежит?

Я уже сказал, что Ленин крайне редко интересовался тем, что находилось вне партийного, политическо-идеологического сектора жизни его товарищей. Он, например, знал, что я покинул отель на Plaine de Plainpalais, но он ни разу не спросил меня, на какие средства я стал после этого жить. Совершенно естественно, что мне в голову не приходила мысль сообщать ему, что я занимаюсь «извозом». К партии и большевизму это никакого отношения не имело. На этот раз, изменяя себе, Ленин заинтересовался моим случаем.

— Пойдемте в кафе, вам нужно подкрепиться, — сказал он.

В кафе, отвечая на вопросы Ленина, пришлось

рассказать детали моего «ремесла» и почему такой тяжелой оказалась перевозка вещей Петрова.

— Как далеко до места назначения?

Я развернул листок Петрова, расстояния на нем не были помечены. Ленин обратился тогда к хозяину кафе. Тот ответил, что до места назначения (повторяю, забыл его название) по крайней мере восемь километров, что оказалось ошибочным, расстояние было гораздо меньше.

— Ну, — сказал Ленин, — не знаю, как вы с вашей задачей справитесь? Вы сделали с повозкой, вероятно, два километра и совсем выдохнулись. Что же останется от вас после шести последующих? Видно придется мне писать некролог и указать, что товарищ Самсонов стал жертвой эксплуатации меньшевика Петрова. Какую сумму он вам обещал уплатить?

— Десять франков.

— Возмутительно! Фиакр за такое расстояние взял бы с него не меньше 20 франков.

Я не знал, сколько бы взял фиакр, но указал Ленину, что его расчет неверен: если бы я брал за перевозку по тарифу извозчиков, все обращались бы к ним, а не ко мне. Ленин с этим согласился, но самым строгим и серьезным тоном прибавил:

— Всё равно меньше 15 франков брать не должны. У Петрова есть деньги, пусть платит. Решено и подписано: меньше 15 франков не брать. Завтра обязательно приходите ко мне и расскажите, чем всё это кончилось.

Ленин в это время с великим терзанием оканчивал свою книгу «Шаг вперед — два шага назад», посвященную анализу партийных разногласий, о чем будет речь в следующей главе. Тема эта до того его съедала, что он стал избегать о ней говорить. «Ради Бога, только не об Аксельроде и Мартове, меня тошнит от них». В кафе, избегая жгущей его темы, мы от разговора о

повозке перешли к последним известиям с театра русско-японской войны. Выпив два стакана черного кофе и подкрепившись сандвичем (платил Ленин, у меня, как всегда в Женеве, не было денег), я почувствовал себя годным тащить дальше повозку.

Ленин вышел со мною: «хочу немножечко вам подмогнуть». Повозка стояла задрав кверху свои оглобли. Нужно было ухватиться за самый их кончик и, действуя оглоблями, как рычагом, нагнуть таким образом воз. От передка повозки, упирающегося в землю, до верха вздыбленных оглоблей было, полагаю, более 200 сантиметров. Достать этот верх поднятой рукой нельзя. Ухватиться за него можно было лишь подпрыгнув. Ленин прицелился на одну оглоблю, я на другую. Прыгнули и неудачно, повозка качнулась, но не опустилась. Толстый хозяин кафе стоял у дверей и смеялся. Еще один прыжок и повозка выпрямилась. Ленин с каким-то торжеством произнес. «Ну, вот видите, готово!». Я начал, как говорится, рассыпаться в благодарностях, но Ленин, оборвав меня — «пустяки», скомандовал: «двигайтесь, тащите, я вам еще подмогну». Вот это было уже совершенно излишне. Это меня стесняло морально, да, что быстро обнаружилось, и физически. Одному человеку держа обе оглобли, толкать повозку гораздо более сподручно, чем двум. Чтобы не толкать друг друга, им нельзя быть между оглоблями, они должны идти сбоку оглоблей, очень неудобно их держать и не быть в состоянии наклоном тела помогать толканию повозки. Ленин, бросив на меня неумолимый взгляд, всё-таки решил мне помогать.

Сколько времени и какое расстояние мы прокатили — не знаю. Оно показалось нестерпимо, томительно долгим. У меня было неприятнейшее чувство, что, сверх всякого допустимого предела, эксплуатирую желание Ленина мне помочь. В конце концов, я не выдержал:

— Держите повозку, Владимир Ильич, даю чест-

ное слово, везти вдвоем больше не буду. Прошу вас, бросьте и идите домой. Или, если хотите отбить у меня десять франков, — везите одни.

— Но вы до места назначения ее не довезете.

— Довезу.

— Но что вы будете делать, если в пути придется даже не раз останавливаться? Вы одни выпрямить ее не будете в состоянии.

— Ничего, найду на подмогу еще двух-трех Лениных.

Ленин рассмеялся, отдал оглоблю в мое полное распоряжение и, пожав мне руку, уходя, еще раз напомнил:

— Помните, не менее 15 франков!

Тронутый таким дружеским отношением ко мне Ленина, смог ли я тогда думать, что через два месяца — этот же человек будет с остервенением выискивать выражения, чтобы меня выругать и оскорбить? И другое еще более важное: смог ли я тогда предполагать, что человек, тащивший со мною повозку, нагруженную рухлядью Петрова, будет основателем на месте империи царей — особого типа государства, перевернувшего всё соотношение мировых сил?

Конец происшествия после ухода Ленина, в сущности, уже неинтересен. Доскажу его только «для литературного порядка». К месту назначения я пришел, вернее дополз, когда начало смеркаться. По дороге два раза останавливался для отдыха. Первый раз мне удалось, чтобы оглобли не взметнулись, подсунуть их под ветки дерева, второй раз помог какой-то рабочий. Когда я появился, Петров и его супруга, занимаясь вечерним чаепитием, сидели на террасе дачи. Увидев меня, он сбежал с нею с недовольным возгласом: «Наконец-то»! Этот возглас меня до такой степени озлобил, что я стал ругаться.

— Вы во всем меня обманули. Скрыли и расстоя-

ние и тяжесть багажа. Если бы не помощь Ленина, которого случайно встретил в пути, я не смог бы сюда дотащиться.

Для усиления впечатления я с большим преувеличением стал расписывать, что Ленин почти два часа тащил со мною повозку. Петров изменился в лице.

— Ленин вам помогал? Он знает кому вы везли багаж?

— Конечно, знает. Почему мне нужно было это скрывать? Ленин назвал вас эксплуататором и возмущался, что вы обманули меня и дали везти груз, посильный лишь лошади.

Петров, явно терроризированный этими словами, превратился в медовый пряник. Не позволив мне разгружать багаж, призвав какого-то молодца на помощь, он сам стал вносить вещи в дом. Он пошептал что-то своей супруге и та — она видела меня в первый раз — принимая меня как долгожданного, почетного гостя, пригласила к столу на террасу, предлагая всякую еду, чай, конфекты. Усиленно занимая меня разговором о жаркой погоде, она мельком, дипломатично, ввернула, что ее муж и она симпатизируют и меньшевикам, и большевикам. Участие Ленина в перевозке их вещей видно потрясло и ее.

Было темно, когда я двинулся обратно в Женеву. Без всякого запроса с моей стороны, принося всякие благодарности и извинения, Петров сунул мне в руку 15 франков. Как раз сумму, назначенную Лениным. В столь позднее время нечего было и думать о посещении Fernay. Оказией побывать в замке Вольтера не пришлось воспользоваться!

ДВА ПРИЗНАНИЯ

Это было в марте. Я случайно встретил Ленина на rue de Carouge и пошел его проводить до дому. Сделав несколько шагов, мы увидели идущую к нам навстречу В. И. Засулич. Не желая с нею столкнуться нос с носом, Ленин взял меня за руку и быстро свернул в сторону. Он знал, что со времен съезда партии Засулич его ненавидит и отвечал на это холодным презрением. Всё, что она говорила, Ленин считал не заслуживающим никакого внимания. Засулич, по его мнению, уже давно потеряла способность понимать и разбираться в окружающем. Хотя она была ярая меньшевичка, а я — в моем представлении — твердокаменный большевик, все же мне казалось, что Ленин слишком пристрастно, несправедливо судит о Засулич. Неожиданная встреча толкнула меня начать о ней разговор.

— Вы, Владимир Ильич, очень мало цените Засулич, а всё-таки эта старушка — молодчина, например, ясно и основательно она проанализировала смысл событий на юге России и мягко, но твердо, одернула моего товарища Пономарева и меня за некоторые увлечения и иллюзии.

— О какой статье Засулич вы говорите?

— «О чем нам говорят июльские дни в Киеве».

Статья под под таким названием была сначала напечатана в № «Искры» от 25 ноября 1903 г., а потом приложена в качестве предисловия к брошюре Правдина «Революционные дни в Киеве», редактированной

Лениным и Крупской. Это обстоятельство вероятно и привлекло внимание Ленина к тому, что я говорю о Засулич.

— В чем же вы видите «молодечество» Засулич? Что вас так в ней восхитило? Насколько помню, никаких особых достоинств и ценных мыслей в статье не было.

Отвечая на это Ленину, я счел нужным рассказать какого рода письмо, посланное из Киева к Засулич, побудило ее написать вышеупоминаемую статью.

В начале девятисотых годов Киев не был значительным индустриальным городом. Рабочее движение в нем было очень слабым. Местный комитет партии не мог похвалиться большим влиянием на рабочую массу. По всем видимым признакам она спала. И вдруг 21 июля 1903 г. прокламации комитета сыграли здесь некоторую роль, начинается забастовка в железнодорожных мастерских, по численности рабочих важнейшем предприятии Киева. В тот же день или на следующий, хорошо не помню, бастуют машиностроительный завод и несколько мелких заведений. Число бастующих превышает 4.500 человек. Явление в Киеве невиданное, неслыханное. 23 июля — день для меня памятный, я впервые говорил пред двумя с лишком тысячами железнодорожных рабочих, — начинаются стычки между рабочими, войсками и казаками. Рабочие препятствуют выходу паровозов из депо, отправке поездов. Солдатам приказано стрелять в толпу, а казакам разгонять ее нагайками. В этот день есть убитые — восемь человек. Слух о стрельбе бежит по городу, говорят уже о десятках убитых. Среди рабочих растет возбуждение, негодование. В нижней части Киева, на Подоле, рабочие бьют стекла на мельнице миллионера Бродского. Войско опять стреляет, снова два убитых, пораженных шальными пулями. Лозунг «долой убийц» — летит уже по всему рабочему Киеву. Забастовка превращается во

всеобщую. Бастуют трамваи, типографии, пароходные мастерские, казенный склад, завод Гретера, дрожжевой завод, булочные, колбасные, кирпичные заводы, строительные рабочие. Вся жизнь как будто, останавливается. Полиция, видя размеры движения, понимает, что она не может его остановить и отходит в сторону. Уличные митинги с пламенными речами происходят беспрепятственно на ее глазах. Охрана города передается войску и казакам.

Комитет партии чувствует, что бастующие ждут указания, что им делать. Им нужно бросить какой-то лозунг. В Комитете дебатируют, отвергают предложение о панихиде по убитым, долго спорят, ищут «лозунга» и с промедлением решают пригласить всех «честных людей» собраться на Софийской площади в час дня в воскресенье 27 июля — провозгласить «вечную память» убитым и заклеймить убийц-слуг царского правительства. Демонстрация по замыслу Комитета должна иметь мирный характер и длиться не более полчаса.

На эту демонстрацию, кроме нескольких десятков лиц, главным образом членов организации, никто не пришел. Обширная Софийская площадь была пустыннее, чем обычно и в час дня, именно когда должна была начаться демонстрация, по всем линиям города побежали трамвайные вагоны, невидимые в предыдущие дни. Без всякого лозунга, без всякого приглашения, рабочие приступили к работе. Забастовка окончилась столь же внезапно, таинственно, непонятно, как из солидарности с железнодорожными рабочими — она вспыхнула и превратилась во всеобщую.

На члена Комитета Н. Ф. Пономарева и на меня, которого Правдин в своей брошюре называет «сторонником решительных мер», — события июльских дней произвели огромное впечатление. От того ли, что впервые пришлось говорить перед двумя тысячами железнодорожных рабочих, потом на многолюдной сходке за

Днепром типографских рабочих, на Галицком базаре, в разных других местах, т. е. находиться всё время среди крайне возбужденной толпы, ею возбуждаться, ее возбуждать — я потерял всякое равновесие, потерял голову. Бешеное желание мести охватывало меня при мысли об убитых. После окончания забастовки мы с Пономаревым решили, как мы говорили, «всё додумать до конца», понять, что же произошло. Пономареву, как и мне, ему в меньшей степени, казалось, что мы были свидетелями каких-то экстраординарных событий, нигде и никогда в таком виде не происходивших в мире.

Забастовка нам показала, что рабочий класс — Сфинкс. Его мы не знаем. Какие до сих пор были у нас пути и средства, чтобы добраться до мыслей и чувств этого Сфинкса? Наш организованный «контакт» с рабочим классом несмотря на всю энергию его упрочить — был слаб. И показания, даваемые этим контактом, приводили к заключению, что рабочая масса находится в глубокой спячке, среди нее нет никаких признаков стойкого революционного чувства. Всеобщая стачка грянула как гром среди белого дня. Она свидетельствовала, что у нас нет в сущности никакого знания о действительном состоянии и психологии рабочих. Во время стачки проявилась, с одной стороны, неожиданная, необычайной силы, солидарность всех рабочих профессий, а с другой стороны, совершенно непредполагаемое революционное чувство и готовность рабочих не останавливаться перед самыми крайними средствами борьбы и отпора властям. Судя по поведению Киевского Сфинкса, о психологии которого мы «ни черта не знали», (лишь гадали на основании книжных формул) легко можно допустить, тому доказательство стачка в Ростове, — что Сфинкс может себя проявить и в других городах и местах. Следовательно, революция, о которой принято говорить, как о чем-то отдаленном, может придти неожиданно, гораздо скорее, чем мы думали *(через два года она и*

пришла!). А сойдясь на этом, мы стали обсуждать, во-первых, что во время июльских дней мы должны были бы делать и не делали, и, во-вторых, что должна делать партия, когда уже во многих городах вспыхнет такая же неожиданная и останавливающая всю жизнь забастовка как в Киеве? Мы порешили, что, в предчувствии подобных событий, партия должна иметь тщательно разработанный план действий и требований. Доклад на эту тему я набросал и передал Пономареву, он должен был внести в него свои поправки и дополнения. За подписью нас обоих мы хотели послать его в «Искру», но вскоре после этого я был арестован и за составление доклада в окончательном виде взялся один Пономарев.

Н. Ф. Пономарев — большая умница и талантливый человек (как многие русские люди он погиб от пьянства и от в пьяном виде полученной и запущенной болезни), анализируя мой доклад, конечно, заметил его «хилиастический», импрессионистский характер и разные революционные «излишества». Недели чрез две после июльских событий, революционный хмель, круживший нам голову, с него слетел и он смотрел на вещи гораздо более трезво. Мой доклад он переделал, придал ему «трезвый» вид и послал его В. И. Засулич. Он, однако, оставил нетронутой мысль, что ничего подобного Киевским событиям в Европе никогда не происходило, и что в ожидании будущих подобных событий нужно иметь общероссийский «план действий». «Не настала ли пора подумать, как именно должно произойти падение царизма, и что станет непосредственно на его месте? Не пора ли начать определять способы и пути революции. Решительная минута не так уж далека и встретить ее неподготовленными, без определенного плана, было бы величайшей ошибкой. Если бы удалось в каком-нибудь центре временно овладеть властью, победа, вследствие отсутствия определенного общерус-

ского плана, обратилась бы в поражение. А о победе можно не только мечтать, но и думать».

Статью Засулич, отвечающую на письмо Пономарева, я прочитал только попав в Женеву. Все ее суждения мне показались очень правильными. Гипнотизирующее влияние киевских событий от меня тоже отлетело и критика Засулич, направлявшаяся против «плана», дирижирующего ход революции, и утверждения, что стачек, подобных киевским нигде в Европе не происходило, мне представлялись вполне основательными.

Рассказывая обо всем этом Ленину, в ответ на его вопрос, что меня «восхитило» в статье Засулич, я сказал:

— Хорошо, что в руки Засулич попало письмо Пономарева, а не мой доклад. Вот влепила бы она мне за разные глупости, а глупости были неизбежны потому, что голова кружилась.

Ленину, которому, насколько можно было заметить, мало доставляло удовольствия слышать похвалы Засулич, спросил:

— А за какие такие глупости вы могли ожидать от нее порицание?

— О, их было много. Например, предложение строить баррикады.

— С каких это пор на языке революционера баррикады называются глупостями? Не с того ли момента, когда всякий революционный акт, не входящий в горизонт «Новой Искры», начали считать опасным «бланкизмом», «якобинизмом»?

— Вы неправы, Владимир Ильич, баррикады в июле в Киев были бы даже больше, чем глупостью. Было бы убитых не десять человек, а 200 или 300, что от этого выиграл бы рабочий класс?

— Не будем пока это обсуждать, лучше скажите — какие это другие глупости, которые вы предлагали делать?

— Если не глупостью, то некоторой пинкертоновщиной было предложение, надев маски, овладеть ночью какой-нибудь типографией и там заставить наборщиков набрать и отпечатать большие революционные афиши. Мало продуманной авантюрой было и предложение ворваться в квартиру губернатоа Штакельберга, считавшегося главным виновником стрельбы в железнодорожных рабочих, увести его куда-нибудь за город и там не убить и не повесить, а беспощадно высечь розгами.

Ленин меня прервал и сказал, что ему совсем не нравится «усмешечка», с которой я якобы, рассказываю о киевских событиях. «Засулич вас слегка покритиковала и вы уже не знаете как ей угодить, попасть в ее линию, не замечая, что линия-то кривая». Для исчерпывающей характеристики Ленина, его политической линии, то, что потом он говорил, мне теперь кажется крайне важным. К сожалению, я не в состоянии это передать с достаточной полнотой и точностью, какую бы требовал данный случай. Из памяти, например, вылетела его мотивировка, что «линия» Засулич в оценке июльских дней в Киеве была «кривой». Его дальнейшие рассуждения окончившиеся заявлением, что он — *Ленин — доживет до социалистической революции в России* — показались мне до такой степени неожиданными, столь двусмысленными, столь противоречивыми господствовавшей марксистской доктрине, отвергавшей мысль о близости социалистической революции, что я колебался как относиться к словам Ленина, не шутка ли это? Вероятно такое состояние неуверенности и привело к тому, что слышанные слова не запечатлелись с четкостью, как при других разговорах с Лениным и я не могу передать ни оттенков мысли Ленина, ни ее развития, а лишь грубые куски, вырванные из этого разговора. Возражая Ленину по поводу «усмешечки» я сказал:

— Вопрос не в «усмешечке», а в освобождении от иллюзий, в требовании трезвой оценки того, что про-

изошло. Захваченные совершенно непредвиденными событиями, считая обнаружившуюся в них огромную солидарность всех даже самых отсталых рабочих явлением экстраординарным, мы подверглись такому идейному шатанию, что готовы были думать, что узрим социалистическое небо.

— О социалистическом небе (выражение мне не нравится), надеюсь, вы говорите без усмешечки и не считаете глупостью? Вас тогда нужно бы из партии гнать!

— Не искажайте мои слова! Не социализм глупость, а глупость в июле 1903 г. видеть социализм, появляющимся из-за спины десяти или двенадцати тысяч забастовавших киевских рабочих, в конце концов, горстки рабочих.

— Горстки? А сколько вам нужно миллионов, чтобы сказать — вот идет социализм? Нужно ли для этого 8.888.888 и ни одним рабочим меньше?

И Ленин начал объяснять, что, с точки зрения теории, для установления социализма нужны объективные экономические условия и условия субъективные — организованность рабочего класса, его революционность, готовность рабочих бороться, иначе говоря, «социалистическое движение». Но, особенно подчеркнул он, вот что не нужно забывать. Английский капитализм вполне создал объективные материальные предпосылки для социалистического строя, а между тем, социалистического революционного движения в Англии совсем нет. Трэдюнионизм не есть социализм. В этом отношении наши киевские и ростовские рабочие, проявившие всех поразившую солидарность и желание прибегнуть даже к *самым крайним средствам борьбы, куда более социалистичны,* чем английские. То же самое можно сказать и об Америке. Социалистическая революционность в ней нуль, а объективные предпосылки для социализма более обширны чем в Англии. Упускать субъективный фак-

тор, характер, революционность рабочего движения страны и оперировать только объективным, экономическим фактором, значило бы *«опошлять»* марксизм. Нужно «диалектически» относиться и к самому вопросу об объективных условиях социализма. Нет никакого абсолютного и формального измерения экономической подготовленности страны к социализму. Нельзя сказать, — данная страна готова к социализму, раз в ней, например «60%» принадлежат к рабочему классу. «Истина всегда конкретна, всё зависит от обстоятельств времени и места». В стране среди десятков тысяч разных предприятий может быть только 50 очень больших фабрик и заводов. С формальной точки зрения никаких социалистических перспектив у этой страны в данный момент нет. Число больших предприятий смехотворно мало и число их рабочих в общей рабочей массе страны ничтожно, но если эти 50 предприятий сосредоточивают у себя важнейшее производство страны — уголь, чугун, сталь, нефть и т. д. и все их рабочие превосходно организованы в революционную социалистическую партию, являются передовым, самым сознательным авангардом рабочего класса, отличаются высокой степенью *боевой энергии* — вопрос о социалистических перспективах в этой стране и о значении «горсти» рабочих принимает совсем не тот вид, который придают вопросу люди «опошляющие марксизм». Таким пошляком был П. Струве — сказал Ленин. В бытность его легальным марксистом, в частной беседе, ссылаясь на все законы об условиях победы социализма, Струве доказывал, что в России раньше чем чрез 100 лет нельзя и думать о введении социализма.

В рассуждениях Ленина было для меня что-то настолько странное, двусмысленное, противоречащее общепринятым партийным понятиям, что я воскликнул:

— Сознаюсь, не понимаю, куда клонят ваши слова! Неужели вы в самом деле думаете, что в России в близком времени может быть социалистическая революция?

Но ведь по всем правилам марксизма и не Струве, а Энгельса и Плеханова, можно доказать, что в России нет и долгое, долгое время не будет никаких возможностей такой революции. Социалистическую революцию ни вы, ни я во всяком случае не увидим.

— А вот я, позвольте вам заявить, *глубочайше убежден, что доживу до социалистической революции в России.*

Мы подошли в это время к дому, где жил Ленин, и он ушел к себе. Разговор был окончен и на эту тему больше не возобновлялся. Заключительные слова Ленина быть может были только шуткой? Нет, они были вполне серьезны. Заявление подобные тому, что я от него услышал, Ленин два года до этого делал и другим лицам. В журнале «Пролетарская революция» (1924 г. № 3) Н. И. Алексеев рассказывает, что в 1902 г. в Лондоне, беседуя с Лениным, он насмешливо отозвался об одной английской газете («Джастис»), делавшей предположение о возможности в близком времени в России социалистической революции. Алексеев, как вся партия, считал такую мысль, конечно, абсурдной и ее высмеивал. Замечаниями Алексеева Ленин был очень недоволен. «А я надеюсь дожить до социалистической революции, — заявил он решительно, прибавив несколько нелестных эпитетов по адресу скептиков».

Глубочайшая вера Ленина «дожить до социалистической» революции меня сейчас никак, нисколько не удивляет. Это аксессуар его двойственной души. С тех пор как его «перепахал» Чернышевский (1887-1888 г.), он в своем подсознании, в глубинах души, носил социалистический хилиазм, присутствие скрытых или более явных элементов которого можно проследить, анализируя его произведения, начиная с самых ранних, написанных в 1893-94 г. В Сибири, в ссылке, этот хилиазм как будто исчез, в этот период Ленин в своих политических и экономических взглядах обнаружил поразительную

умеренность и трезвость, но в следующем периоде, начиная с «Что делать» хилиазм опять выплыл наружу. Ровно через год после того, что я слышал от Ленина, он в газете «Вперед» (№ 30 март 1905 г.) писал, что социал-демократия «осрамила бы себя», пытаясь «поставить своей целью социалистический переворот». Но одновременно проповедуя необходимость «диктатуры пролетариата и крестьянства», — он замаскированным путем фактически, бессознательно, толкался к тому самому социалистическому перевороту, который, как будто бы отвергал[20]. Вера в духе Чернышевского и левых народовольцев, якобинцев-бланкистов в социалистическую революцию и неискоренимая, недоказуемая, глубокая, чисто религиозного характера (при воинственном атеизме) уверенность, что он доживет до нее — вот что отличало (и выделяло) Ленина от *всех* прочих (большевиков и меньшевиков) российских марксистов. В этом была его *оригинальность.* И, вероятно, здесь нужно искать одно из объяснений его загадочного, непонятного, гипнотического влияния, о котором писал Потресов.

Если при более глубоком знании Ленина мне ни в коем случае не следовало бы так удивляться услышанному от него убеждению, что он доживет до социалистической революции, было другое его признание не вызвавшее во мне ни удивления, ни чувства неожиданности,

[20] Сталин в его «Кратком курсе истории компартии» (издание 1950 г., стр. 70) пишет, что в 1906-7 г.г. «диктатура пролетариата и крестьянства нужна была Ленину не для того, чтобы завершив победу революции над царизмом, закончить на этом революцию, а для того чтобы *начать прямой переход к социалистической революции»*. Вот редкий случай, когда мы соглашаемся со Сталиным. «Это была, утверждает он, новая установка по вопросу о соотношении между буржуазной и социалистической революциями». Здесь уже ошибка: особенного нового в такой «установке» нет. С конца 50-х годов 19 столетия в революционной среде (вспомним хотя бы Чернышевского) глубоко сидит мысль о прямом переходе, минуя буржуазный строй, к социализму.

встреченное как нечто естественное и понятное. А между тем оно должно вызывать недоумение, слишком уже оно несвойственно Ленину. К этому другому признанию я сейчас и перейду, но могу это сделать не прямо, а проходя только через мостик некоторых моих сентиментов и переживаний, без привлечения которых обстановка признания Ленина станет непонятной.

В России до 1905 г. сочинения Герцена были запрещены. С цензурными выемками первое издание некоторых его произведений появилось лишь в 1907 г. Из всего литературного наследия Герцена я знал лишь его самые ранние статьи, случайно попавшиеся мне в руки в Уфе в старых журналах. Позднее удалось прочитать «С того берега», но не в подлиннике, а в немецком переводе. Может быть, потому, что некоторые страницы «Vom andern Ufer» показались нелегкими для чтения, потребовав словаря, это произведение не оставило в мозгу никакой зарубки. В Женеве впервые пришлось прочитать главное произведение Герцена «Былое и думы». То было настоящее открытие, полное огромного интеллектуального и эстетического наслаждения. Я и жена моя были буквально покорены талантливостью «Былого и дум» и так как мы оба провели детство в деревне, точнее сказать, в помещичьих усадьбах, нам, как мне кажется, были более чем другим близки, душевно созвучны, страницы, где Герцен вспоминает свою жизнь в Покровском и Васильевском, подмосковных имениях его отца[21]. В «Былом и думах» в главе о Покровском есть места, настраивавшие меня в Женеве на острые ностальгические чувства. Например:

---

[21] Мог ли я тогда предполагать, что в 1914-15 г. буду часто бывать в доме Герцена в Покровском, производить «раскопки» на чердаке покосившегося столетнего амбара, найду акт от 1823 г. ввода Яковлева — отца Герцена, во владение Покровским, равно как некоторые документы, относящиеся к лету 1843 г., когда Герцен там жил.

«Перед домом (в Покровском), — писал Герцен, — за небольшим полем тянулся темный строевой лес, чрез него шел просек в Звенигород. По другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей чрез майковскую фабрику на Можайку. Мы жили в деревне до поздней осени. Изредка приезжали гости из Москвы. Все друзья явились к 26 августа, потом опять тишина, тишина и лес, и поля — и никого кроме нас... Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей и запах, этот травянолесный запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами, которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весною, и жарким летом и почти никогда не находил».

Мы с женой жили на отдаленной, серой, окраине Женевы за рекой Арвой. Вероятно, теперь это место застроено, тогда оно было пустынно. Из углового окна нашего жилища было видно кладбище, гора Salève и через деревья — тропинка, ведущая к французской границе. Из двух других окон в глаза назойливо лез большой пустырь с кучками мусора среди репейника, крапивы и чахлой высохшей травы. Наше жилье, с почти отсутствием в нем мебели, было невесело, противный пустырь делал его еще унылее. Пустырь и кладбище особенно били по нервам, когда читал о дубравном шуме Покровского, жужжания его пчел, шмелей, травянолесном запахе. Отталкиваясь от унылого жилища, всяких неприятностей, мысль, подхлестнутая страничкой Герцена, перелетала к другим видениям.

Я переносился в Тамбовскую губернию, в деревню Подъем, где проводил детство и юношеские достуденческие годы. В памяти вставал обвитый плющем и диким виноградом старый дом. Вспоминался вечер в деревне. Из деревенской церкви на косогоре несутся тихие звуки дребезжащего колокола. Старые ветлы на плотине у пруда склонили усталые от дневной жары ветви. Где-то

в саду, перелетая с ветки на ветку, поет иволга. Клумбы пред домом переполнены цветами: пестрый и нежный ковер из гвоздики, резеды, незабудок, лилий, душистого горошка, петуний, маргариток, левкоев, настурций, астр, циний, герани. Вечером цветы политы и как пахнут! На раскаленный в течение дня солнцем золотой песок вокруг клумб попала вода из леек и от него тоже несется особый тонкий запах, он особенно силен на песчанных берегах рек. Легкий ветерок приносит с пруда запах свежести воды. Смешиваясь с ароматом цветов, запахом песка, он образует какую-то спаянную воздухом троицу. Это не травяно-лесной запах, которого заграницей тщетно и жадно искал Герцен, это другой запах, запах Подъема, родной деревни. В эмиграции (первой — во время царя, во второй — в царствование Сталина) я тоже его всегда искал и редко находил.

Видения прошлого, воспоминания, обостряли у меня появившуюся тоску по родине. Я начинал ненавидеть Женеву, мечтать возможно скорее возвратиться в Россию. Конечно, не в Подъем, имение уже давно было продано отцом, а куда угодно — в Москву, Нижний-Новгород, на Волгу, только бы не оставаться в Швейцарии. Но я не мог уехать. Нужно было иметь два фальшивых паспорта. Один, с которым моя жена могла бы переехать границу, а другой для меня и не только для переезда чрез границу, а достаточно солидный, с которым я мог бы жить, будучи на нелегальном положении. Паспортов не было. За ними эмигранты становились в очередь. Не было и другого для отъезда еще более важного — денег. Были и другие препятствия...

Русская пословица гласит: «У кого что болит, тот о том и говорит». И об этом для меня больном я и стал говорить Ленину. Он находился в это время в состоянии подавленности, изнеможения, полной прострации. Подходя к концу своей книги «Шаг вперед — два шага назад», он стоял пред решением, определявшим всю его

последующую политическую жизнь. Он колебался пред выбором пути, мучился и боялся, что обнаружатся его колебания, явно избегал разговоров о партийных делах. «О чем угодно, только, ради Бога, не об Аксельроде и Мартове». В целях отдыха от дум, проветривания головы, чтобы не думать о том, что его мучило, Ленин в это время охотно слушал рассказы на темы, не имеющие никакого касательства к партийной склоке. Именно этим я объяснил сочувственное внимание к моему повествованию о впечатлении, произведенном «Былым и думами», о вызванных им воспоминаниях, о вечере в Подъеме, запахе цветов в клумбах, о накатившей на меня тоске по родине, т. е. о таких вещах, о которых в другое время Ленин в боевом настроении вряд ли бы стал слушать. Но тогда он меня слушал и задумчиво, коротко, спросил: *«А много было цветов, какие?»*.

Отгоняя от себя боязнь, что меня могут высмеять за слишком уже сентиментальные переживания, я пустился в детальные описания и формы клумб, и цветов и аллей. В это время в кафе вошел Ольминский[22]. Ленин ему назначил свидание по какому-то делу, сужу потому, что Ольминский принес пачку исписанных листков и, поздоровавшись с нами, стал их перенумеровывать. Ольминский меня не любил. Ему передали, — а сплетничать в Женеве очень любили — мою непочтительную оценку произнесенной им на одном собрании речи. Ольминский по этому поводу потребовал от меня объяснений, на что я ему резко ответил, что никаких объяснений давать не желаю и пусть он не думает, что критика его есть lèse majesté. После этого мы встречались, холодно здоровались, но никогда не разговаривали; я чувствовал, что он точит зуб против меня. Ольминский слышал лишь часть того, что я говорил, но, очевидно, нашел, что

[22] Ольминский (1863-1933) — бывший народоволец. С 1920 г. редактор журнала «Пролетарская Революция», председатель Совета Истпарта (истории партии).

момент меня щипнуть наступил и, перестав возиться с своими листками, обращаясь к Ленину сказал:

— Владимир Ильич, вас, наверное, тошнит от того, что говорит Самсонов? Вот как вдруг обнаруживается помещичье дитё. Сразу тайное делается явным, он так и икает дворянской усадьбой. О цветах и ароматах говорит совсем, совсем как 16-летняя институтка. Посмотрите с каким увлечением рассказывает о красоте липовых и березовых аллей. Однако, революционер не имеет права забывать, что в этих самых красивых липовых аллеях бары березовыми розгами драли крестьян и дворовых. Из рассказа Самсонова вижу, что ему очень захотелось снова увидеть места его счастливого детства. Для революционера таким чувствам поддаваться опасно. Затоскуешь, а там и усадебку захочется приобрести. А дальше захочется, чтобы мужички работали, а барин, лежа в гамаке, с французским романом в руках, приятно дремал в липовой аллее.

«Стрела», пущенная Ольминским, мне показалась верхом грубой глупости. Никогда, если меня о том спрашивали, ни от кого не скрывал, что родился в «дворянском гнезде». В сем «преступном акте» я не повинен. И если никогда не приходила в голову мысль, что за свое рождение в «дворянском гнезде» мне следует пред кем-то «каяться», «извиняться», «просить прощения», то еще более мне была чужда мысль сим рождением «гордиться». В моей ностальгии и в воспоминаниях не было ни одного малюсенького атома сожаления об утерянных материальных благах прошлой жизни. Ольминскому я мог бы указать, что мой отец, с которым за несколько лет до приезда в Женеву я порвал всякие отношения, за мои революционные воззрения лишил меня наследства. Я собирался уже возражать Ольминскому, но Ленин жестом остановил меня, заложил большие пальцы за отворот жилетки и начал говорить. Это была отповедь. Отпечаток болезненной вялости, подавленности, лежавший

на нем несколько минут пред этим, с него слетел. Он говорил резко, с видимым раздражением.

— Ну, и удивили же вы меня, Михаил Степанович! Послушав вас, придется признать предосудительными и, чего доброго, вырвать и сжечь многие художественные страницы русской литературы. Ваши суждения бьют по лучшим страницам Тургенева, Толстого, Аксакова. Ведь до сих пор наша литература в преобладающей части писалась дворянами-помещиками. Их материальное положение, окружающая их обстановка жизни, а в ней были и липовые аллеи, и клумбы с цветами, позволяла им создать художественные вещи, которые восхищают не одних нас русских. В старых липовых аллеях, по вашему мнению, никакой красоты не может быть, потому что их сажали руки крепостных и в них прутьями драли крестьян и дворовых. Это отголосок упростительства, которым страдало народничество. Мы, марксисты, от этого греха, слава Богу, освободились. Следуя за вами, нужно отвернуться и от красоты античных храмов. Они создавались в обстановке дикой, зверской эксплуатации рабов. Вся высокая античная культура, как заметил Энгельс, выросла на базе рабства. В чувствах и словах Самсонова не вижу абсолютно ничего, что позволило бы вам так распалиться. Человек прочитал Герцена, увлекся его страницами, они напомнили ему места, где он родился, и всё это так разожгло его тоской по России, что он на крыльях бы улетел из паршивой Женевы. Что здесь предосудительного, непонятного, странного? Ничего. А вот ваша мысль идет уже действительно странным путем. Раз Самсонову нравятся липовые и березовые аллеи, клумбы с цветами помещичьих усадеб, значит, заключаете вы, он заражен специфической феодальной психологией и непременно дойдет до эксплуатации мужика. Извольте в таком случае обратить внимание и на меня. Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде *я тоже поме-*

щичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако, не я его косил: ел с грядок землянику и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров. Из сказанного вами по адресу Самсонова вывожу, что такого рода воспоминания почитаются вами недостойными революционера. Не должен ли я поэтому понять, что тоже недостоин носить звание революционера? Подумайте хорошенько, не слишком ли вы строги, Михаил Степанович?

Ольминский ничего не ответил, только теребил свои бумаги. Он не посмел отвечать. После отповеди Ленина, по тону и выражениям гораздо более резкой, чем я передал, желание отвечать Ольминскому у меня исчезло. «Противник» и без того был положен на обе лопатки. Атака Ленина мне так понравилась, что очень хотелось бы дружески похлопать его по спине. В этот момент я чувствовал к нему особое расположение. К тому времени я достаточно знал, что Ленин скрытен, несмотря на это, не обратил никакого внимания, что, отвечая Ольминскому, Ленин приоткрыл «уголок», в который он никому не позволял залезать.

Его признание, что он сам «в некотором роде помещичье дитя», сопровождаясь дополнением, что он не забыл приятных сторон жизни в имении, не забыл его лип и цветов (речь шла, конечно, о Кокушкине!) открывало вход в уголок, может быть, больше того, что хотел Ленин. Только чрез несколько десятков лет, найдя ключи к пониманию Ленина и материал относительно его прошлой жизни, я смог понять что скрывалось за его отповедью Ольминскому. Я тогда думал, что, «благоволя ко мне», он хотел защитить меня. Ничего подобного. Не меня он защищал, *а себя,* выражая точнее свои, тоже вдруг ожившие, воспоминания о детстве и юношеских

годах, о лете, проведенном в Кокушкине, в 40 верстах от Казани.

Когда Ленин говорил, что он не забыл его лип («самое, самое мое любимое дерево!») — его память обращалась туда — в Кокушкино, где «у крутой дорожки, сбегавшей к пруду, росли старые липы, посаженные в кружок и образовавшие беседку». Сюда постоянно бегал Ленин, будучи маленьким, светловолосым, кудрявым Володей Ульяновым. О чем думал Ленин, слушая мой рассказ о клумбах в Подъеме и задумчиво спрашивая: «А много ли было цветов, какие?». Теперь я могу и на это ответить. Мать Ленина и его тетя Анна Александровна страстно любили цветы; в принадлежащем им имении всюду около старого дома, и около флигеля, летом было множество цветов: «Резеда, левкои, душистый горошек, душистый табак, настурции, флоксы, гераний и мальвы в средине клумб». Вот о чем думал Ленин!

Заявление Ленина, что ему совсем не чужды сентименты, связанные с его жизнью в качестве «помещичьего дитяти», — повторяю, не произвело на меня тогда никакого впечатления. Наоборот, теперь оно вызывает во мне удивление. Как мог сентиментальничать и быть откровенным такой несентиментальный человек как Ленин, отличавшийся к тому же огромной скрытностью, которую он привил и Крупской? Она не столько из боязни полиции, а из боязни, что кто-нибудь может заглянуть в тайный «уголок» Ленина, подчиняясь его требованию, немедленно по прочтении уничтожала все поступившие лично к ней его письма. Сохранила только одно (в 1919 г.). Чем объяснить, что Ленин, внезапно отбрасывая скрытность, с таким раздражением и даже страстью накинулся на Ольминского? Вместо ответа, не лучше ли сослаться на следующие факты.

Редакция газеты «Искры», подготовлявшей русскую революцию, газеты с правом носившей эпиграфом слова

Герцена «Из искры возгорится пламя» — состояла из шести лиц: двое Аксельрод и Мартов (Цедербаум) были евреи-разночинцы, остальные четверо — Плеханов, Потресов, Засулич, Ленин — дворяне, выросшие в помещичьих усадьбах. В. Г. Плеханов, проживший 27 лет заграницей, никогда не мог забыть имения Гудаловка, недалеко от Липецка. Приехав в 1917 г. в Россию (умер в 1918 г.), он горевал, что обстоятельства ему не дают возможности вновь увидеть место, где протекали его детство и юность. Его супруга Р. М. Плеханова мне рассказывала, что за две недели до смерти он просил ее, когда его не будет, вместо него побывать в Гудаловке. Другой член редакции А. Н. Потресов — в своих воспоминаниях в 1927 г. указывал, что он никогда не мог забыть имения своего дяди — Никольского, где обычно жил летом.

«Побывка в Никольском вызывала во мне неизменно целый сложный комплекс необыкновенно радостных чувств. Я до сих пор еще ощущаю то магическое действие, которое это слово — Никольское — производило на меня. Преобладало, вероятно, убеждение, что нигде, как в Никольском, нет для меня такого запаса занимательных вещей, способных превратить мое лето в один сплошной, нескончаемый праздник».

Третий член редакции — Вера Ив. Засулич — с детства и в течение долгих лет жила в имении своих родственников — Бяколове.

«Я не думала, — пишет она в своих предсмертных воспоминаниях, — что весь век буду вспоминать Бяколово, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкафа в коридоре, что очертания старых деревьев, видных с балкона, будет мне сниться через долгие, долгие годы».

В этой области чувства Ленина мало отличаются от других помещичьих детей. Как и они, он говорил:

«Прошло много лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в именьи деда».

Кокушкино — имение деда Ленина — после его смерти принадлежало матери Ленина и ее сестре, которая была замужем за Веретенниковым. Ульяновы из Симбирска, Веретенниковы из Казани приезжали в Кокушкино на всё лето. Обе семьи следовали примеру всех дворянских фамилий, переселявшихся летом в свои поместья. Выезды из Симбирска в деревню были для детей Ульяновых, в том числе и Владимира (Ленина), неиссякаемым источником радостей, предметом нетерпеливого ожидания. Старшая сестра Ленина — Анна об этом говорит в своих воспоминаниях[23]:

«Задолго начинали мы мечтать о поездке в Кокушкино, готовиться к ней. Лучше и красивее Кокушкина, деревеньки действительно очень живописной, для нас ничего не было. Думаю, что любовь к Кокушкину, радость видеть вновь эти места, передалась нам от матери, проведшей там свои лучшие годы. Конечно, деревенское приволье и деревенские удовольствия, общество двоюродных братьев и сестер, были и по себе очень привлекательны для нас. Особенно позднее, после стен нелюбимых нами казенных гимназий, после майской маяты с экзаменами, лето в Кокушкине казалось чем-то несравненно красочным и счастливым».

«С приездом в Кокушкино, — вторит двоюродный брат Ленина Веретенников, — наступал для нас настоящий праздник. Отменялись занятия иностранными языками, подготовка к переэкзаменовкам... Мы знали всегда заранее день, когда должны приехать Ульяновы и старались угадать час их приезда. Целым обществом отправлялись пешком встречать их километра за два, на перекресток, к постоялому дворику. Иной раз мы не

---

[23] А. И. Ульянова, «Пролетарская Революция», 1927 г., № 1, стр. 84.

угадывали время приезда и выходили два-три раза в день. А встретив, целой кампанией, радостные и веселые, возвращались домой»...

Зимою мертвое, Кокушкино летом оживало. Детский гомон и смех раздавались повсюду. Больше всех шумел, разумеется, Володя Ульянов. Для него, как и для всех, открывалась полоса непрерывных удовольствий и развлечений: купание в реке, экскурсии на лодке, прогулки в лес за ягодами и грибами, игры в крокет, в горелки, игра на биллиарде, устройство фейерверков, пускание бумажных змей, поездки с самоваром в так называемый «Передний Лес» и т. д. Сытую, полную разнообразных деревенских удовольствий, помещичью жизнь Ленин узнал не по наслышке, не по одним книгам Льва Толстого, Тургенева, Герцена, Аксакова, Гончарова. Он с этой жизнью был хорошо знаком.

У Ленина тут ничего отличного от других помещичьих детей — ни от Плеханова, Потресова, Засулич. Но дальше уже громадное различие. Плеханов, как Потресов и Засулич, хотели бы, чтобы вопрос о «Гудаловках, Никольских, Бяколовых» революция решала без варварства, не убивая владельцев «дворянских гнезд», не поджигая их дома, не выбрасывая их из «гнезд» голыми, без всякого имущества. Так не поступают, писал Плеханов, если «у победителя сердце льва, а не гиены». Ленин рассуждал по-иному: победитель должен быть *беспощадным!*

ЛЕНИН ПИШЕТ «ШАГ ВПЕРЕД — ДВА ШАГА НАЗАД». ГНЕВ КРУПСКОЙ

В конце января или в начале февраля Ленин начал писать «Шаг вперед — два шага назад». В течение трех месяцев, понадобившихся ему для написания книги, с ним произошла разительная перемена: крепко сложенный, полный энергии, жизненного задора, Ленин осунулся, похудел, пожелтел, глаза — живые, хитрые, насмешливые — стали тусклыми, моментами мертвыми. В конце апреля одного взгляда на него было достаточно, чтобы заключить — Ленин или болен, или его что то гложет и изводит.

«Я был свидетелем, вспоминает Лепешинский, такого подавленного состояния его духа, в каком никогда мне не приходилось его видеть ни до, ни после этого периода. «Я, кажется, — говорил Ленин, — не допишу своей книги, брошу всё и уеду в горы». Ни одну вещь, — говорил мне Ленин, — я не писал в таком состоянии. Меня тошнит от того, что приходится писать. Я насилую себя».

Большой любитель игры в шахматы, не упускавший ни одного случая вызвать кого-нибудь на бой, Ленин прекратил это занятие. «Не могу, мозг устал, шахматы меня утомляют». Он был готов слушать самые пустяковые речи. Только бы не думать о том, что нарушало его внутреннее равновесие. Но во время таких пустяковых разговоров нетрудно было заметить: он плохо слушает,

мысли его где-то в другом месте. Что же такое происходило тогда с Лениным? Что его так изнуряло, делало больным? Почему работа над «Шаг вперед — два шага назад» привела его в такое состояние? Ни Лепешинский, ни другие лица, касавшиеся этого периода жизни Ленина, не дали на этот счет никакого объяснения. *Конечно*, нет его и в воспоминаниях Крупской. Всякий, читавший ее мемуары, знает как тщательно она избегала всего, что позволило бы заглянуть в «уголок» Ленина, в его душевный мир. Он должен был оставаться домом, в котором окна плотно закрыты ставнями. Этот период мне представляется теперь одним из *важнейших* моментов в политической жизни Ленина. *Он стоял на повороте*. Пред ним вставал выбор — какой дорогой идти: той ли, на которую указывала его властная натура, характер, психология, убеждения, идеология, т. е. дорогой развернутого большевизма, приведшего к власти в 1917 г., или другой, во имя единства партии, пойти на ряд самоограничений, сделать меньшевикам уступки, несвойственные его вере в себя, непоколебимому убеждению, что только он может организовать настоящую революционную партию, повести ее к большим победам? В течение февраля — половины апреля я неоднократно виделся с Лениным, сопровождая его на прогулках. Он говорил о том, что заполняло его голову, что он написал, пишет и хотел бы написать. Из того, что слышал, я мог понять суть раздиравших Ленина колебаний, узнать какие мысли он насильственно в себе подавляет и почему, в конце концов, такое большое различие между тем, что я слышал от него и тем, что потом напечатано в «Шаг вперед — два шага назад». Чисто случайные обстоятельства дали мне возможность быть, так сказать, «за кулисами» этой работы Ленина — отправного пункта, откуда, отмежевываясь от меньшевиков, пошло организационное выделение особой большевистской ленинской партии. Важность этого исторического факта обязывает

самым подробным образом остановиться на том, как появилась эта книга Ленина.

На мой вопрос — в чем же главная суть внутрипартийного разногласия, Ленин, при первой встрече с ним, ответил:

— В сущности, никаких больших принципиальных разногласий нет. Единственное разногласие такого рода — параграф 1 устава партии, — кого считать членом партии. Но это очень несущественное разногласие. Жизнь или смерть партии от него не зависит. Параграф 1 устава был принят на съезде не в моей формулировке, а Мартова. Оставшись в меньшинстве, ни я, ни те, кто меня поддерживали — о расколе и не помышляли. И всё-таки он произошел. Почему? На это превосходно ответил Плеханов: произошла la grève générale des généraux. Некоторые партийные «генералы» обиделись за неизбрание их в редакцию «Искры» и в Центральный Комитет и отсюда пошла вся склока. Когда Мартов, вместе со мною и Плехановым, выбранный в «Искру», отказался с нами работать и соединился с неизбранными съездом Аксельродом, Старовером (Потресовым), Засулич, мы потом, идя на уступку, предлагали меньшинству послать от них двоих в редакцию, так что в ней было бы двое от большинства и двое от меньшинства, генералы отказались. После того как Плеханов, под давлением обиженных генералов, стал настаивать на приглашении в «Искру» всех прежних редакторов, я плюнул и, уйдя из «Искры», перебрался в Центральный Комитет, избравший меня своим заграничным представителем. А как только это произошло, началась немедленная атака на Центральный Комитет, на «сверхцентр», где засел самодержец Ленин, бюрократ, формалист, человек неуживчивый, односторонний, узкий, прямолинейный. Я спрашиваю — где тут принципы? Их нет.

Запомним — это мне говорил Ленин 5 января (старого стиля) 1904 г. Он категорически отрицал, что

между ним и меньшевиками существуют какие-то важные принципиальные разногласия. Во время следующей встречи Ленин мне рассказал, что на одном из меньшевистских собраний некий оратор доказывал, что Ленину нужна «дирижерская палочка», чтобы ввести в партии дисциплину, «подобную той, что существует в казармах лейб-гвардии Его Величества Преображенского Полка».

— Вот, — говорил Ленин, — уровень на котором держится полемика! Словечко «дирижерская палочка» я употребил впервые два месяца назад, отвечая письмом в «Искру» на статью Плеханова «Чего не делать». Я бросил словечко не случайно, а намеренно, обдуманно. Когда за вами гонится свора собак, бывает интересно бросить им кость и посмотреть, как они с нею будут возиться. Они (меньшевики) с тех пор с «дирижерской палочкой» и возятся, как собаки с костью. Они до сих пор не хотят признать, что для правильного руководства партией, размещения ее работников по силе и качеству, нужно выйти из обывательских, кружковых соображений, будто при таком размещении можно кого-то обидеть. Дирижерская палочка в оркестре не принадлежит всякому, на нее претендующему или знающему ноты. Ноты должен знать и барабанщик. Право на дирижерскую палочку дается тому, кто обладает особыми свойствами, из них дар организаторский на почетном месте. Каутский — первоклассный ученый, а всё-таки дирижерская палочка в немецкой социал-демократии не в его руках, а больше всего у Бебеля. Плеханов — первоклассный ученый, но я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь мне указал, кого за последние 25 лет он организовал и способен ли он вообще что-либо и кого-либо организовать. О других — Аксельроде, Засулич, Старовере — смешно и говорить. Кто с ними имел дело — скажет: «Друзья, как ни садитесь, а в дирижеры не годитесь». Мартов? Прекрасный журналист, полезная фигура в редакции, но разве может он претендовать на дирижер-

скую палочку? Ведь это истеричный интеллигент. Его всё время надо держать под присмотром. Ну, а кто еще? Тупой Дан или Ворошилов-Троцкий? А еще кто? Фомины и Поповы! Это курам на смех!

Из слов Ленина с полной ясностью вытекало, что право на дирижерскую палочку в партии может принадлежать *только ему*. Была ли тут напыщенность, приподнятый тон тщеславия, подчеркивание своих особых качеств или заслуг? Нет, право утверждалось с такой простотой и уверенностью, с какой говорят: $2 \times 2 = 4$. Для Ленина это была вещь, не требующая доказательств. Непоколебимая вера в себя, которую, много лет позднее, я называл его верою в свою предназначенность, в предначертанность того, что он осуществит какую-то большую историческую миссию, меня сначала шокировала. В последующие недели от этого чувства мало что осталось, и это не было удивительным: я попал в Женеву в среду Ленина, в которой никто не сомневался в его праве держать дирижерскую палочку и командовать. Принадлежность к большевизму как бы предполагала своего рода присягу на верность Ленину на покорное следование за ним. При отсутствии в то время программных и тактических разногласий, распря сводилась только к разным представлениям о строении и руководстве партией, а это, в конечном счете, всегда, обязательно, неминуемо приводило к роли, которую желал играть в партии Ленин и в которой ему отказывали его противники. Хотели ли того спорящие или нет, каждое собрание, каждый спор на партийные темы, начинался с упоминания имени Ленина и кончался упоминанием того же имени. На эти собрания Ленин не ходил и всё-таки незримый, отсутствующий, он на них присутствовал. О других большевиках, в сущности, серьезно не говорили. На них меньшевики Женевы смотрели как на «галерку», марионеток, статистов, только исполнителей воли Ленина. Произошел ли бы на съезде раскол, завязалась ли

бы после него партийная склока, если бы не было Ленина? На это почти с уверенностью можно ответить *отрицательно.*

Постоянная фиксация внимания на личности Ленина в течение четырех месяцев послесъездовской полемики, с прекращением всяких личных отношений между многими партийными работниками, стала казаться меньшевикам явлением нежелательным и опасным. Во-первых, подобная фиксация придавала Ленину «удельный вес», значение, большее того, что ему хотели бы отвести меньшевики. Во-вторых, постоянные указания, что Ленин — Собакевич, полон самомнения, нетерпимости, властолюбив, прямолинеен, неуживчив, бестактен, грозили объяснить партийную борьбу столкновением на личной почве, что было на руку Ленину, доказывавшему, что нет никаких принципиальных разногласий, а только обиды, уязвленное самолюбие партийных генералов. Считаясь с этим, нужно было критику Ленина вывести из области узко-организационных вопросов, поднять над личными столкновениями и попытаться объяснить происходящее какими-то важными причинами, коренящимися в самой русской исторической действительности. За такую задачу и взялся П. Б. Аксельрод в двух больших статьях, напечатанных в «Искре» под названием «Объединение российской социал-демократии и ее задачи». Первая статья была напечатана в № от 15 декабря 1903 г. — я еще сидел тогда в киевской тюрьме. Ленин не обратил на нее почти никакого внимания. Сужу потому, что при свиданиях моих с ним 5, 7 и 9 января он ни разу на нее не сослался, ни разу о ней не упомянул. Он говорил со мной об атлетике, а не об Аксельроде. Вторая статья появилась в «Искре» в № от 15 января 1904 г. и, по словам Красикова, видевшего Ленина в день ее появления, «обозлила Ильича до того, что он стал похож на тигра». Это тогда у Ленина возникла мысль написать брошюру (будущая книга «Шаг вперед — два шага

назад») и беспощадно расправиться с Аксельродом. Что же превратило Ленина в «тигра»?

Социализм на Западе, писал Аксельрод, в виде самостоятельной силы появился лишь после буржуазной революции, в условиях сложившегося буржуазного строя. Там социал-демократия есть часть пролетариата «плоть от плоти его, кость от кости его». Будучи подлинно классовой партией пролетариата, социал-демократия Запада (Аксельрод имел ввиду больше всего Германию) выполняет свою основную цель — развитие у рабочего класса сознания его «принципиального антагонизма со всем буржуазным строем и сознание им (пролетариатом) всемирно-исторического значения его освободительной борьбы». «Систематически вовлекая рабочие массы в непосредственную и прямую борьбу со всей совокупностью буржуазных идеологов и политиков, социал-демократия конкретно вскрывает непримиримый антагонизм интересов пролетариата с господством буржуазии, неспособность даже передовых элементов буржуазии последовательно отстаивать интересы прогресса». «В ином положении находится социал-демократия в России, где еще не было буржуазной революции, где буржуазный строй политически не оформился. В ней социал-демократия «ни рыба, ни мясо». Ее нельзя назвать партией только интеллигенции, но нельзя сказать, что это партия пролетариата. Рабочие играют в ней ничтожную роль. Ближайшей политической задачей в стране является устранение самодержавия и ради нее масса радикальной интеллигенции, ища опоры, идет к пролетариату, стремясь пробудить его из глубокого сна, бескультурного состояния, повести на бой с самодержавием. Тяготение радикальной интеллигенции к пролетариату обусловливается совсем не его классовой борьбой, а общедемократической потребностью избавиться от гнета пережитков крепостничества. На Западе задачей социал-демократии было освобождение пролетариата от

опеки свободолюбивой демократической интеллигенции. В России, наборот, марксисты брали на себя инициативу сближения пролетариата с радикальной интеллигенцией, открывали дорогу для подчинения рабочих ее революционному руководству. Классовую борьбу пролетариата со всем буржуазным обществом господствующая практика почти игнорирует и фактически почти всё исчерпывается борьбой с самодержавием. Таким образом, историческая стихия толкала и толкает наше движение в сторону *буржуазного революционизма.* История за нашей спиною дает преобладающую роль в движении не главной цели, а средству. Организацией рабочего класса преследуется больше всего задача насильственного свержения самодержавия, для чего, по формулировке одного комитета партии (Аксельрод его не называет), нужно иметь «готовую к повиновению и открытому восстанию рабочую массу». В этом виде воздействие социал-демократии на массы означает воздействие на них чуждого им социального элемента. Для закрепления его влияния понадобилась теория о властной, централизованной, ведущей рабочих, организации, о властном органе («Искра»), держащим в своих руках все нити движения, создана «организационная утопия теократического характера». С одной стороны, в ходу были лозунги и слова социал-демократические, с другой — самая что ни на есть буржуазная работа вовлечения масс в движение, «конечным результатом которого, в самом лучшем, в самом благоприятном случае, было бы кратковременное господство радикальной демократии, опирающейся на пролетариат». «В конце пути светится как блестящая точка — *якобинский клуб,* т. е. *организация революционно-демократических элементов буржуазии, ведущая за собой наиболее активные слои пролетариата*».

К этой перспективе, кончая свою вторую статью, Аксельрод сделал дополнение, всем своим жалом прямо, ясно, резко направленное против Ленина.

«Вообразим себе, что все радикальные элементы интеллигенции стали под знамя социал-демократии, группируются вокруг ее центральной организации, а рабочие массы в еще большем масштабе чем теперь, следуют ее указаниям и готовы повиноваться ей. Что означала бы такая ситуация? «Мы имели бы в данном случае революционную политическую организацию демократической буржуазии, ведущей за собою в качестве боевой армии рабочие массы России. А для довершения своей злой иронии история, пожалуй, поставила бы нам еще во главе этой буржуазно-революционной организации не просто социал-демократа, а самого, что ни на есть *«ортодоксального»* (по его происхождению) марксиста. Ведь дал же легальный или полумарксизм литературного вождя (Аксельрод имел в виду Струве) нашим либералам, почему же проказнице истории не доставить революционной буржуазной демократии вождя из школы «ортодоксального революционного марксизма» (стрела в Ленина!).

Таково резюмэ статей Аксельрода. В лагере меньшевиков они произвели огромное впечатление, их объявили «знаменитыми». Я слышал как на одном собрании Мартов назвал их «великолепным марксистским анализом нашего партийного развития». «В свете этого анализа, — говорил он, нельзя не видеть, что Ленин не орел, как думают его поклонники, а только весьма вульгарной породы политическая птица, несмотря на претензии высоко летать — объективно неподымающаяся над буржуазно-демократическим *якобинством*». Много лет позднее, т. е. уже после октябрьской революции, другой видный меньшевик, П. А. Гарви писал, что «фельетоны Аксельрода были как бы молнией, осветившей темное небо и всё окрест... В своих знаменитых фельетонах он первый вылущил зерно политических разногласий. Он первый указал на опасность превращения на путях большевизма нашей партии в *якобинскую*

заговорщического типа организацию, которая под маской ортодоксального марксизма будет прокладывать путь мелкобуржуазному радикализму, подчиняющему себе и использующему для своих политических целей рабочий класс и его массовую политическую борьбу» («Воспоминания социал-демократа», Нью-Йорк, 1946 г. стр. 395-412).

Не знаю, можно ли теперь назвать фельетоны П. Б. Аксельрода «знаменитыми». Он остро и правильно указал на якобинский и «теократический характер», защищаемый Лениным, централизованной властной организации. В какой-то степени прав он и в том, что историческая обстановка могла способствовать превращению русского социал-демократизма в буржуазный революционизм. Но следующее его указание, что толчком движения в эту сторону, «прокладывая пути для мелкобуржуазного радикализма», являлся именно Ленин — это в свете происшедших событий — следует считать явно опровергнутым жизнью. Если бы Ленин вел движение действительно в сторону буржуазного революционизма, его результат — октябрьская революция — должна бы окончиться победой «мелко-буржуазного радикализма», а этого не произошло.

Развиваясь и трансформируясь, эта революция привела не к буржуазному строю, не к социалистическому, а к тоталитарному государству, совершенно новой, в истории никем непредвиденной общественной формации. То обстоятельство, что значительная часть европейского рабочего движения приняла проповедуемые Лениным формы, от которых Аксельрод считал Европу застрахованной, показывает, что вопрос им анализировавшийся, неизмеримо сложнее, чем Аксельрод это думал и изображал. Впрочем, его статьи скоро должны были в глазах меньшевиков потерять значительную часть своего значения. Ведь их критика стала сосредоточиваться совсем не на доказательстве бур-

жузаных тенденций политики Ленина, а, наоборот, на обвинении его в том, что, игнорируя буржуазный характер развертывавшейся в 1905-6 г.г. революции, провозглашая диктатуру пролетариата и крестьянства, перепрыгивая через всякие препоны, он бессознательно стремится превратить буржуазную революцию в социалистическую.

Статьи Аксельрода, когда я с ними ознакомился, показались мне надуманными и лишь неприятно напомнили обостренную полемику в Киеве с Вилоновым, конторщиком железнодорожных мастерских, входившим в кружок, который в 1902-3 году я посещал в качестве пропагандиста. Перевертывая формулу Ленина из «Что делать», — гласящую, что стихийное движение рабочего класса есть трэд-юнионизм, идет к подчинению его буржуазной идеологии и задача в том, чтобы «совлечь» рабочих с этого пути под «крылышко социал-демократии». Вилонов утверждал, что стихийное движение рабочих, наоборот, тянется, *прямо идет к социализму,* а вот приходящая к ним из разных слоев радикальная интеллигенция «совлекает» их с правильного пути, «пакостит» им, затемняет их сознание, ставя пред ними ближайшей задачей не социалистическую революцию, а буржуазную. У радикальной интеллигенции, говорил Вилонов, под видом марксистов, проникающих в рабочую среду, падение царизма высшая и последняя цель, тогда как рабочие должны вместе *с свержением самодержавия добиваться и свержения капитализма*[24].

---

[24] При моем первом свидании с Лениным — он говорил о письмах, которые получал из Екатеринослава от некоего рабочего, подписывавшегося «Мишей Заводским». Одно из них Ленин напечатал в своей брошюре «Письмо к товарищу об организационных задачах». Я тогда не знал, что Миша Заводской никто иной, как часто споривший со мною ученик мой — Вилонов, ставший потом весьма известным большевиком. Ленин впервые увидел Вилонова в Париже в 1909 г. и писал Горькому (Вилонов

О статьях Аксельрода мне удалось говорить с Лениным лишь числа 18 или 20 января, когда я рассказал ему о встрече в отеле с Аксельродом, о которой я уже писал. Напомню, что Ленин был недоволен тем, что я счел нужным извиниться пред Аксельродом за грубые выражения по его адресу. «Промах дали, они на нас собак вешают, пусть не жмутся, получая хорошую сдачу». Начав говорить об Аксельроде сравнительно спокойно, Ленин скоро оставил этот тон и, если употребить выражение Красикова, превратился «в тигра». Он говорил:

— Что такое писания Аксельрода? Самая большая гадость, которую только пришлось читать в нашей партийной литературе. Послушать его, так выйдет, что часть партии, представленная на съезде большинством, вела рабочий класс России на заклание его буржуазией, а вот другая часть партии — Аксельрод и ему подобные — являются выражением кристально-чистого социализма. Аксельрод оплевал трехгодичную работу «Искры», все ее достижения. За три года существования «Искры» и искровской организации, они, по его мнению, кроме «организационной утопии теократического характера» и подчинения рабочего движения буржуазной интеллигенции, — ничего доброго не сделали. Нужно быть тупоумным, выжившим из ума человеком, чтобы отважиться писать такую глупость. Я всю эту выдумку разоблачу. С фактами, документами в руках покажу подлинное лицо обоих течений. Пусть партия судит.

Я спросил Ленина как скоро он намерен написать свою брошюру и когда нужно ждать ее появления?

— Вероятно, в начале апреля.

— Жаль, — сказал я, — что в течение ближайших месяцев не придется с вами видеться. Для меня это

перед этим был в школе Горького на Капри), что видит в Вилонове «поруку, что рабочий класс России выкует превосходную революционную социал-демократию».

будет большим уроном. При первой же возможности я хочу возвратиться в Россию. А до отъезда естественно хотелось бы приобрести возможно больше такого знания, которое почерпается не столько из книг, сколько из личного общения с наиболее авторитетными и опытными членами партии, из них же первым являетесь вы.

— А почему вы думаете, что не придется видеться?

— Вы, вероятно, так будете заняты писанием, что на разговоры и свидания с визитерами моего партийного ранга у вас времени не будет.

— Это совсем не так, — возразил Ленин. — Я не хочу работать без передышки, я буду вести работу, чередуя ее с часами отдыха. Например, около четырех часов — это моя давняя привычка, я обязательно буду выходить на прогулку на полчаса, на сорок минут. Ничего не имею против того, чтобы в это время вы заходили ко мне вместе прогуляться. Шагать по улицам в одиночестве я совсем не люблю.

«Приглашение», или иначе сказать «позволение», сопровождать Ленина во время его прогулок я использовал довольно широко. Этот человек меня крайне интересовал. Та небольшая брошюра, которую он сначала намеревался написать, растянулась, превратилась в довольно объемистую книжку и вышла она из печати не в начале апреля, как Ленин предполагал, а в половине мая. Он писал ее в феврале, марте и половине апреля. Сколько раз видел я Ленина за эти десять недель? Точно не помню, думаю, что, не считая двух прогулок в ближайшие к Женеве горы, — за время писания Лениным «Шаг вперед — два шага назад» я видел его никак не менее пятнадцати раз. И эти свидания с ним позволили мне установить, с какими взглядами на партийную распрю Ленин начал писать свою книгу, какие новые взгляды он стал потом в ней развивать и, в конце концов, как, насилуя себя, он отказался сделать те неизбежные поли-

тические и организационные выводы, которых, по его мнению, неумолимо требовало положение дел в партии.

Подготовку своей книги он начал несомненно ощупью. Он не мог тогда еще сказать, что целый ров принципиальных разногласий разделяет большевиков от меньшевиков. Для унижения последних он прибег к особому методу. «Чтобы определить характер какого-нибудь политического течения, нужно узнать, кто за него голосует, его поддерживает, и кто его союзник и его хвалит. Изучайте детально все прения и голосования на съезде, и вы ясно увидите, что за меньшинством шли, за него голосовали, самые отсталые, путанные, антиискровского духа люди». За ними, заключал Ленин, тянулось «всякое политическое дрянцо» («дррряндо» — как выговаривал Ленин). К нему он относил представителей еврейского Бунда, участников «Рабочего Дела» в лице Акимова и Мартынова, делегатов съезда вроде Махова, презрительно именуемого «болотом», и некоторых других. Передавать, что я слышал от Ленина насчет «дрянца», нет надобности. В очень смягченной форме, без больших ругательств — это можно найти в его книге. Но о двух вещах, слышанных от Ленина во время первых же прогулок с ним, стоит рассказать.

Жестоко понося Бунд, говоря, что его организация превосходна, но ее возглавляют «дурачки», Ленин главное их преступление видел в том, что положение Бунда в общей российской социал-демократии они хотят установить на началах федерации. «Не некоторой автономии, а, заметьте, федерации. На это мы *никогда* не пойдем». Возможно, что против федеративного принципа у Ленина были основательные аргументы, я их не слышал. От него я только слышал, что принцип федерации абсолютно несовместим с принципом централизма, а святость, высочайшее качество, централизма в строении партии имели в глазах Ленина такую же ценность, как самые важные пункты ее программы. По Ленину выхо-

дило, что если нет централизма, всё идет вверх ногами в революционной социалистической партии. «*Ни один ортодоксальный марксист не может стоять за федеративный принцип. Это самая элементарная истина!*. Именно этой «истины» я и не понимал. Например, Швейцария, дававшая нам всем приют, была федерацией. В ней прекрасно уживались и французы, и немцы. Почему такая федерация плоха? Почему в социалистической партии, организующейся на базе федерации, не могут ужиться русские, поляки, евреи, латыши? Боясь, чтобы это не повредило моей репутации, я, однако, такого вопроса Ленину не ставил. Полное отрицание федеративного принципа и абсолютное железное признание принципа централизма Ленин вдолбил в голову всем большевикам. И нигде идолократия централизма не приняла такого чудовищного выражения, как у эпигонов Ленина в эпоху сталинизма. Главнейшая часть СССР называется РСФСР, т. е. «российская социалистическая федеративная советская республика». Слово федерация здесь каким-то чудом допущено, но за этой мнимой федерацией стоит маниакальный, чудовищный, деспотический централизм Кремля, всюду проникающий, всё связывающий. Из централизма Ленина выросло Etat concentrationnaire — Государство концентрационных лагерей!

А теперь о другой вещи, к которой во время первых прогулок с Лениным мне еще более, чем к его сверхцентрализму, было сначала трудно привыкнуть. Со многими своими противниками, с их мыслями и оттенками мысли, Ленин разделывался своеобразным способом. Он с размаху лепил на них позорную печать в виде имен Акимова и Мартынова, двух старых партийных работников, представлявших в глазах Ленина «политический кретинизм, теоретическую отсталость, организационный хвостизм». О Мартынове скажу позднее, пока несколько слов об Акимове. Это партийная кличка В. П. Махновца.

Акимов отрицал всю ленинскую концепцию партии и организацию профессиональных революционеров. Он считал, что она вся проникнута вредным, антидемократическим, деспотическим духом. Он — первый на это указал. Он утверждал, что, занимаясь почти исключительно политической агитацией, партия игнорирует вопросы культурного воспитания рабочих и многие, пусть мелкие, но важные экономические нужды народной массы. Вместо того, чтобы держать речи рабочим о свержении самодержавия, Махновец иной раз готов был превратиться в школьного учителя, когда видел, что в его кружке рабочие плохо читают и безграмотно пишут. Желая быть ближе к рабочим, знать их быт и условия труда, Махновец простым рабочим проработал несколько месяцев на шахтах в Бельгии. Позднее, участвуя в России в рабочей кооперации, чтобы лучше вести ее дела, в частности, лучше организовать заготовку и продажу мяса, он для учебы поступил на некоторое время маленьким приказчиком на службу к одному частному мясоторговцу.

На съезде партии только он голосовал против принятия программы, выработанной Плехановым и редакцией «Искры». В ней для него была особенно неприемлема идея, что для торжества социалистической революции необходима *диктатура пролетариата,* т. е. по объяснению Плеханова — «подавление всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих интересам пролетариата». В то время мы все — и большевики и меньшевики — без малейшей критики, как нечто неоспоримое, как категорический императив, принимали эту идею. Акимов в среде русских социал-демократов был один из первых, восставших против нее. На том же партийном съезде Акимов в одной из своих речей заметил, что партия все время заслоняет собою рабочий класс. В партии, в том виде, в каком ее воспитывает «Искра», сказал он, никогда не произносится пролетари-

ат в «именительном падеже», а всегда только в «родительном», т. е. в виде «дополнения к партии». Делегаты съезда держались за бока от смеха, слушая эту «акимовскую глупость». А странная формула Акимова была далеко не так уж глупа.

С Акимовым мне пришлось встретиться впервые в 1905 и потом видеться с ним в 1919-1920 г.г. после октябрьской революции. Он служил тогда в Звенигороде, недалеко от Москвы, и иногда приезжал ко мне. Узнав его поближе, я не мог не оценить и его обширных знаний и большую скромность. Конечно, у него было много чудачества, но это был кристальной честности человек, до мозга костей демократ, неутомимый общественный работник, без всякой позы, громких слов, проникнутый мыслью, что вся жизнь его до самого последнего дыханья должна служить общественному благу. На смертном одре (в 1921 г.) он просил свою сестру записывать, что он чувствует, о чем он думает, от чего страдает, умирая. Он считал, что, может быть, такие предсмертные записи принесут какую-то пользу медицине. И вот этого человека, своими демократическими взглядами опередившего на десятилетия многих партийных товарищей, — Ленин считал кретином, «полуидиотом». Плеханов писал, что «Акимов никому не страшен, им не испугаешь даже воробья на огороде». А именно Акимовым то и дело пугал Ленин. В 1903 и 1904 г.г., как только где-либо в ком-либо замечался уклон от его — Ленина — мыслей, он немедленно в качестве позорной печати вытаскивал имя Акимова: «здесь пахнет Акимовым», это «акимовщина», «дух Акимова», «ты победил, тов. Акимов», тут «реванш Акимова», «союз с Акимовым», «уступка Акимову», «ликование Акимова» и т. д. в том же духе. Подобными фразами изобилует «Шаг вперед — два шага назад» и их еще в большем количестве я наслушался от Ленина во время наших прогулок. Акимова я тогда совсем не знал, никогда не видел, но

ленинское насмешливое запугивание и клеймение именем Акимова — мне совсем не нравилось. Я хотел слышать аргументы по существу вопроса. Должен сознаться, что в конце концов, незаметно для себя, я стал к этому привыкать. О чем это говорит? Ленин умел гипнотизировать свое окружение, бросая в него разные словечки; он бил ими словно обухом по голове своих товарищей, чтобы заставить их шарахаться в сторону от той или иной мысли. Вместо долгих объяснений — одно только словечко должно было вызывать, как в экспериментах проф. Павлова, «условные рефлексы». В 1903 г. и половине 1904 г. таким словечком была «Акимовщина», в следующие годы появились другие: «ликвидатор», «отзовист», «махист», «социал-патриот» и т. д. Спастись от гипноза штампованных словечек можно было лишь далеко уходя от Ленина, порывая с ним связь. В январе — мае 1904 г. у меня об этом еще не могло быть и речи.

От анализа «дрянца», спутника, компрометирующего меньшевиков, Ленин скоро перешел к критике их самих и здесь мне пришлось быть наблюдателем невероятно крутого поворота всей позиции Ленина. Пятого и девятого января он говорил мне, что между большинством и меньшинством нет серьезных принципиальных разногласий. Теперь такого рода разногласия стали сыпаться как из рога изобилия. В каждую новую прогулку число их прибавлялось.

Параграф 1 устава партии, — говорил Ленин, — в моей формулировке представляет осадное положение против вторжения в партию оппортунистических элементов. В формулировке Мартова — это открытые двери для заполнения партии именно такими элементами. Меньшинство, зараженное духом анархического буржуазного индивидуализма, не признает ни авторитета партийного съезда, ни партийную дисциплину. Оно фактически отрицает централизм, видя в нем, подобно Аксельроду, «организационную утопию теократического

характера». Вместо того, чтобы строить партию сверху, оно, следуя за Акимовым, хочет строить ее снизу. Меньшинство высмеивает значение твердого устава партии, формально и строго определяющего ее организацию. Оно хочет, чтобы партия была в расплывчатом состоянии.

Как и в критике «дрянца» не нужно перечислять всякие другие обвинения меньшинства Лениным, они напечатаны в его книге; гораздо важнее указать на изменения психологического состояния Ленина по мере того, как он всё более и более отыскивал действительные и мнимые политические грехи меньшевиков. От презрительно насмешливого тона, с которым он приступил к анализу «дрянца», Ленин скачками перешел к едкой злобе, а потом к тому, что я называю *ражем*. Мне особенно запомнился один день, когда одолеваемый этим ражем Ленин поразил меня своим видом. То было, кажется, после 10 марта (Ленин сделал тогда не очень яркий публичный доклад о годовщине Парижской Коммуны). Можно было подумать, что Ленин пьян, чего не было и не могло быть в действительности. Я не видел никогда, чтобы он пил более одной кружки пива. Он был возбужденный, красный, словно налитый кровью. Никогда еще он не говорил о мартовцах, новоискровцах, словом, меньшевиках с таким ожесточением и ругательствами. Никогда еще его обвинения меньшевиков не шли так далеко. В течение 7 или 8 дней, что я его не видел, отношение Ленина к меньшевикам провратилось в жгучую безграничную дикую ненависть.

— Есть, — сказал он мне, — детская игра — кубики. На каждой стороне их представлена часть какой-нибудь вещи — дома, дерева, моста, цветка, человека. В несобранном виде эти картинки ничего не дают, только бессмысленный хаос. Когда же, выбирая соответствующие сторонки кубиков, всячески повертываете их, прикладываете одну к другой — получается осмысленная картинка, рисунок. Совершенно такой же результат по-

лучается при разборе «кубиков» меньшинства. С первого взгляда в заявлениях, словах, действиях меньшинства, одна только непродуманность, глупая кружковая болтовня, вспышки личной обиды, раздутое самолюбие. Однако, если у вас есть терпение достаточно долго повозиться с кубиками меньшинства, находя на стороне одного кубика продолжение изображения на другом, в результате обнаружится политическая картинка, смысл которой не возбуждает никаких сомнений. Эта картинка неопровержимо свидетельствует, что меньшинство есть оппортунистическое, ревизионистское крыло партии. Рано или поздно, а вернее всего скоро, *оно должно уйти от ортодоксального марксизма*. Этим крылом командует зараженный буржуазным духом и ненавидящий пролетарскую дисциплину интеллигент. Аксельрод прав, говоря, что в нашем движении есть чуждый пролетариату буржуазный элемент. Только с больной головы он валит на здоровую. Антимарксизм не в большинстве партии, а в другом ее течении — в меньшинстве. За несколько месяцев открытого существования этого течения — оно сказало столько, что даже без большой прозорливости можно понять, что, став на этот путь, меньшинство через несколько лет заткнет за пояс всех Акимовых, Фольмаров и даже Мильеранов. Сейчас сторонники меньшинства бунтуют против «самодержца» Ленина. Всмотритесь хорошенько в их кубики, прислушайтесь хорошо к их ариям и вы легко поймете, что у них бунт против ортодоксального марксизма. Пока бунт на коленях, — подождите — они встанут на ноги и, начав с организационного оппортунизма, кончат полной ревизией теории и программы партии.

Обычно во время речей Ленина я предпочитал только слушать, «учиться», но на сей раз не выдержал.

— Помилуйте, Владимир Ильич, неужели можно серьезно утверждать, что Плеханов, Аксельрод, Мартов уходят от марксизма? Ведь это недоказуемо. Вспомните,

что, недели три тому назад, вы говорили мне о Плеханове — лучшем теоретике марксизма на ваш взгляд, в наше время!

Ответ Ленина на мое восклицание — засел в памяти. Он находится в тесной связи с взглядом Ленина на ортодоксальный марксизм и ревизионизм, который он изложил, когда я пришел к нему после ошарашившей меня встречи с Плехановым (об этом позднее).

— Оставьте в покое Плеханова, к нему это не относится, и не заслоняйте вопрос частностями. Ставьте общий вопрос, отдайте себе ясный отчет — что значит быть вообще настоящим марксистом. Быть марксистом не значит выучить наизусть формулы марксизма. Выучить их может и попугай. Марксизм без соответствующих ему дел — нуль. Это только слова, слова и слова. А чтобы были дела, действия, нужна соответствующая психология. У меньшинства слова внешне марксистские, а психология хлюпких интеллигентов, индивидуалистов, восстающих против пролетарской дисциплины, против отчетливых организационных форм, против твердого устава, против централизма, против всего, в чем они могут увидеть обуздание их психики. У них психология не социалистов, а буржуазных демократов. Когда на съезде Посадовский указал, что демократические принципы совсем не являются абсолютной ценностью и должны быть подчинены «выгодам нашей партии», а Плеханов, поддерживая Посадовского, заявил, что в случае надобности можно лишить буржуазию избирательных прав, разогнать не отвечающий интересам пролетариата парламент, — друзья меньшинства впали в настоящую истерику. Гольдблат из Бунда, Егоров из «Южного Рабочего» стали бешено шикать на Плеханова. Знаете ли вы Попова из «Южного Рабочего? Это то же политическое тесто, что Егоров из «Южного Рабочего», а ведь меньшинство на съезде настойчиво хотело провести Попова как своего человека в Центральный Комитет. Жаль,

что прения на съезде по вопросу, поднятому Посадовским и Плехановым, были прекращены. Не будь этого, непременно бы обнаружилось, что среди меньшинства Егоровых не мало. Ведь обнаружилось же через месяц после съезда, на заседаниях Революционной Лиги, что Мартов тоже разделяет негодование Гольдблата и Егорова, тоже признает абсолютную ценность буржуазных демократических принципов. Буржуазная мягкотелость меньшинства, полное несоответствие его психологии той, которой требует революционный марксизм, — лучше всего определяется их криками по адресу «заговорщичества», «бланкизма», «якобинизма». Чем меня хочет опозорить Троцкий? Тем, что называет *якобинцем-Робеспьером*. Чем нас пугает Аксельрод? Тем, что наше движение может попасть под влияние *«якобинского клуба»*. Что о якобинцах на собрании меньшевиков недавно говорил Мартов? Что *между социал-демократизмом* и *якобинством* не может быть ничего общего. Я уже не говорю о Засулич и Потресове, их взгляды на якобинизм давно знаю. Они смотрят на якобинизм глазами либералов. Бегство от якобинизма общё всем Акимовым, жоресистам, жирондистам, оппортунистам, ревизионистам в современной социал демократии. Только у одних оно выпирает наружу, у других — замаскировано.

— Мне кажется, — заметил я, — нужно все-таки установить что понимать под якобинством.

— Не давайте себе этот труд! Лишне. Это давным давно, с конца 18 столетия, уже установлено самой историей. Что такое якобинизм, всем революционным социал-демократам давно известно. Возьмите историю французской революции, увидите, что такое якобинизм. Это борьба за цель, не боящаяся никаких решительных плебейских мер, борьба не в белых перчатках, борьба без нежностей, не боящаяся прибегать к гильотине. Те, кто как Бернштейн и Ко, считают демократические принципы абсолютной ценностью, — якобинцами, разумеется,

быть не могут. *Отрицание якобинских мер борьбы* самым прямым логическим путем *приводит к отрицанию диктатуры пролетариата,* т. е. того насилия, которое необходимо, обязательно, без которого нельзя обойтись, чтобы сломать, уничтожить врагов пролетариата и обеспечить победу социалистической революции. Без якобинской чистки нельзя произвести хорошую буржуазную революцию, а тем более социалистическую. Она требует диктатуры, а диктатура пролетариата у лиц, ее осуществляющих, требует присутствия психологии якобинства. Тут всё связано. Без якобинского насилия диктатура пролетариата — выхолощенное от всякого содержания слово. Когда нынешние жирондисты из меньшинства, с глубокомыслием Акимова, бросают свои словечки против якобинства, они фактически тихой сапой подкапываются под идею диктатуры пролетариата, т. е. под самый основной пункт ортодоксального революционного марксизма. Скажите это нашим мартовцам, они расплачутся от горькой обиды: как вы, мол, смеете это говорить, всем известно, что мы великие революционеры, самые ортодоксальные марксисты! И найдутся наивные люди, которые этому плачу поверят, и, подобно вам, Самсонов, скажут — невозможно доказать, что у вождей из меньшинства есть поползновение уйти от марксизма. Однако, это весьма и весьма доказуемо.

Во время следующей прогулки вся речь Ленина буквально без остановок вертелась около заявлений, что «настоящий революционный социал-демократ должен быть якобинцем». Все полчаса или 35 минут прогулки были нескончаемым повторением этой мысли. Раньше я от него ее не слышал. Можно было думать, что мысль эта была у него где-то спрятана и вылетела, или вдруг появилась и оседлала его.

— Они (меньшинство) обвиняют нас в якобинстве, бланкизме и прочих страшных вещах. Идиоты, жирон-

дисты, они не могут даже понять, что таким обвинением делают нам комплименты.

От ража у Ленина краснели скулы, глаза превращались в острые точки. Говоря, он вдруг останавливался, запускал большие пальцы за борт жилетки, прихлопывая ногой, смотрел на меня, но вместе с тем куда-то поверх меня, сквозь меня, в сущности, говорил сам с собою, сам себе ставил вопросы и со злостью на них отвечал:

— Какое различие между старой и новой «Искрой»? А вот какое. В старой «Искре» было два якобинца — Плеханов и я. Был еще Мартов, но только на «припряжку». Старая «Искра» по духу, по всему направлению была якобинской, а новая «Искра» сознательно в поте лица своего вытравляет, изгоняет у себя всякие следы якобинства. Мартов из «припряжки» убежал, он нашел теперь свою настоящую полочку — вместе с Аксельродом, Засулич и Старовером воюет с якобинством. Бедный Плеханов. В этой жирондистской компании он в качестве военнопленного. Поздравляю, тов. Плеханов, поздравляю, в незавидное положение вы попали! А вы-то прекрасно знаете, что отношение именно к якобинству разделяет мировое социалистическое движение на два лагеря — революционный и реформистский[25]. Революционный социал-демократ должен быть и не может не быть якобинцем. Вы спрашивали меня, что понимать под якобинством. Современное якобинство, во-первых, требует признания необходимости диктатуры пролетариата, без этого нельзя утвердить его победу. Якобинство, во-вторых, в интересах образования этой диктатуры, требует централизованного строения партии. Отрицание этой истины ведет к организационному оппортунизму, а последний постепенно и неуклонно ведет

---

[25] В дальнейшем развитии это означало — *тоталитарный коммунизм и демократический социализм.*

к отрицанию диктатуры пролетариата, на чем и сходятся все противники ортодоксального марксизма. Якобинство, в-третьих, в интересах борьбы требует в партии настоящей, крепкой дисциплины. Крики меньшинства против «слепого подчинения», «казарменной дисциплины» — изобличают у их авторов любовь к анархической фразе, интеллигентской расхлябанности, взгляд на себя как на «избранную душу — стоящую вне и выше законов партии, выработанных партийным съездом. Выньте дисциплину, опрокиньте централизм — на что тогда будет опираться диктатура? Диктатура, централизм, жесткая и крепкая дисциплина — всё это логично связано, одно дополняет другое. А всё вместе это и есть *якобинизм,* против которого теперь с благословения Аксельрода, пошли войною и Мартов и Акимов, и все прочие жирондисты. Революционный социал-демократ — нужно это раз навсегда усвоить — должен быть и не может не быть якобинцем[26].

---

[26] Ленинское определение якобинизма ничем не отличается от существовавшего в партии «русских якобинцев бланкистов», с которой в 1891 г. в Самаре молодого Ленина знакомила Ясенева. Зайчневский проповедывал, что нужно «в подходящий момент захватить власть, посадить всюду своих комиссаров, издать ряд декретов, которые бы в корне изменили существующий порядок», а чтобы «суметь захватить власть, мы должны иметь строго централизованную организацию». Это всё мысли «Молодой России». Ясенева рассказывала, что Зайчневский — вместе с тем требовал «беспрекословного» исполнения партийных постановлений и предписаний. Он пресекал даже «отдаленные намеки» уклониться от этих предписаний, «моментально призывал к порядку своей любимой поговоркой: «иди кума в воду и не булькай». Пролетарская дисциплина в понимании Ленина тоже не мирилась с попыткой «булькать». Было бы неестественно, чтобы при обдумывании «Шага вперед — два шага назад», когда у Ленина выплыло якобинство — он не вспомнил разговоров с Ясеневой. И он их вспомнил. Письмо к Ясеневой тому доказательство. Взгляды Ткачева несущественно отличались от Зайчневского и его партии «якобинцев-бланкистов», у него те же идеи захвата власти, диктатуры, «организации иерархии, дисциплины, подчи-

Через два дня я снова встретился на прогулке с Лениным. Он попрежнему находился в состоянии полного ража[27]. Почти не обращая на меня внимание, как бы продолжая разговор с самим собой, он всё время на разные лады повторял: «нужно aussprechen was ist, настало время aussprechen was ist».

— Диагноз партийной болезни теперь твердо установлен. В партии находятся не просто путанники, истерики и болтуны, а определенно — правое, ревизионистское крыло, под флагом борьбы с «бонапартизмом», сознательно разлагающее, парализующее всю партийную работу. Центр этой отравы — редакция новой «Искры», состоящая из людей, отвергнутых съездом и взбунтовавшихся против решений съезда. Так продолжаться не может. Довольно размагниченности. Нужно aussprechen was ist — нужно прямо, ясно, решительно сказать: с этими господами мы в одной партии находиться больше не можем. Нам они не товарищи, а враги. Нужно немедленно, иначе мы режем себя, создать наш орган печати. Нужно из комитетов большинства вышибать всех представителей меньшинства, а где это невозможно, образовывать на местах пареллельные комитеты только из наших людей. Нужно возможно скорее из представителей большинства созвать съезд, который, объявляя об образовании партии непреклонного революционного марксизма, — порвет всякую связь с меньшинством, открыто заявит об окончательно происшедшем расколе.

Сколь ни подготовлялся я предыдущими речами

ненности». Становится понятным, что (об этом в одной из следующих глав) Ленин считал «неправильным отношение Плеханова к Ткачеву». Он был, — сказал он мне, — в свое время большим революционером, *настоящим якобинцем*.

[27] Я говорю раж, но должен заметить, что эта характеристика состояния свойственного Ленину принадлежит не мне. Заимствую ее у Крупской, из одного ее письма из Сибири к родным Ленина.

Ленина к мысли о глубокой пропасти, отделяющей большинство от меньшинства, требование полного и оформленного раскола партии — меня привело в ужас. Нельзя идти так далеко! Партия не должна идти на такой шаг. При всей моей тогдашней малой симпатии к меньшевикам я полагал, что нужно все же пытаться с ними примириться и одновременно ставить в ультимативной форме вопрос о возвращении Ленина в редакцию «Искры». Ленин мне на это ответил:

— Если большинство сейчас, т. е. после моей книги, где я всё изложу, не пойдет на раскол, будет продолжать жить в гниющей партии, а еще хуже будет заниматься примиренческими речами, значит, оно готово, чтобы ему мартовцы плевали в рожу. Если большинство не объявит о своем решении полностью и окончательно отделиться от меньшинства, значит оно — безнадежно и состоит не из революционеров, а высохших, анемичных, старых дев. Что же касается «Искры» — я никогда больше в нее не войду. «Искра» стала загаженным ночным горшком и пусть другие возлагают его на себя как лавровый венок.

После этого — я дня через два снова виделся с Лениным. Он был попрежнему в раже и повторял, что в своей книге полностью развернет все аргументы за неминуемый раскол. При одном из этих свиданий я передал Ленину некий документ на самом деле «исторический», о котором было бы непростительно ничего не сказать.

Распря между большевиками и меньшевиками была так остра, что в подавляющем большинстве случаев личные отношения между ними переставали существовать. В частности, я ни с одним меньшевиком, кроме А. С. Мартынова (Пикера), того самого, который вместе с Акимовым, в глазах Ленина — представлял тип «кретина», не встречался. Мартынов стоял тогда на крайнем правом флаге меньшевизма и был ярым против-

ником организационных схем Ленина. «Вы строите, — сказал он ему, — не социал-демократическую партию, а что-то весьма похожее на организацию македонских четников», на что Ленин ему ответил: «вы ровно ничего ни в чем не понимаете и разговаривать с вами мне не о чем». Если прибавить к этому, что Мартынов на съезде критиковал аграрную программу отрезков Ленина, его теорию, что рабочее движение стихийно стремится к трэд-юнионизму и социалистическое сознание привносится в пролетариат «извне», — то уже этого одного для Ленина было достаточно, чтобы считать Мартынова «кретином» и делать из его имени имя нарицательное.

Не знаю, не помню, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, знаю только, что к моей жене и ко мне он очень привязался и частенько к нам заходил. В молодости в качестве народовольца, он попал на многие годы в ссылку в самое отдаленное место севера Сибири и можно было часами слушать его рассказы о сибирских лесах, реках, весне, зиме, морозе, бурях, северном сиянии, животных, птицах, рыбах. Рассказчик он был замечательный. Никто не мог бы предположить в этом толстом, неэстетического вида сюсюкающем человеке, страдавшем тяжкой формой экземы на руках и голове (что многих от него отталкивало) огромный дар поэтического повествования. Если бы, вместо писания на политические темы, Мартынов написал книгу о своих сибирских впечатлениях, наблюдениях над природой, я уверен, это было бы яркое, оригинальное произведение. О фракционных разногласиях, чтобы не ссориться, — мы твердо решили с ним не говорить, а когда темы для разговора исчерпывались, Мартынов поучал нас старым французским революционным песенкам и мы распевали: «Peuple en avant c'est dans la barricade que l'avenir cache la liberté».

Один раз Мартынов всё-таки нарушил договор. Он прибежал к нам, совершенно не владея собой. Он дер-

жал документ, называвшийся: «Заявление представителей Уфимского, Уральского и Пермского комитетов партии».

— Читайте, читайте, — кричал Мартынов, протягивая мне бумагу. — Это так бомба! Это в своем роде исторический документ. Непостижимо, как в голову тех, кто называет себя социал-демократами и марксистами могли придти такие мысли. Эти типы считают, что пролетарское движение во всем мире должно возглавляться *диктаторами*. Иначе оно не может победить. Вы слышите — диктаторами. Диктатура пролетариата у них превращается в *диктатуру диктатора*. Они считают, что важнейшей организационной задачей пролетарских партий выращивать, как в инкубаторе, диктаторов и будущих вождей социальной революции. Вот что наделал ваш Ленин! Это дело его рук! Вот как в голове идиотов отразилась его пропаганда властной, антидемократической, ультрацентрализованной, увенчанной «кулаком», партийной организации.

Я стал читать. Сомнения не было — документ составлен ярыми сторонниками Ленина. Они защищали в нем его организационную доктрину и возмущались, что он ушел из редакции «Искры». «Как мог он решиться выпустить из рук редакцию органа, вверенного ему и Плеханову партией». Сомнения не было и в другом: Уральцы, (как их для краткости называли), исходя из идеи властной организации, действительно приходили к тому, что мы теперь бы назвали — *«фабрикацией диктатора»*. Властная организация, по их мнению, как дом крышей, должна увенчаться диктатором.

«Надо сказать, — писали они, — не только о России, но и о всемирном пролетариате, что ему необходимо подготовлять и подготовляться к получению сильной, властной организации. Без сильной, властной, централизованной организации он не сможет управлять, не сможет использовать власть, которая, уже не долго ждать

этого, попадет в его распоряжение. Подготовка пролетариата к диктатуре — такая важная организационная задача, что ей должны быть подчинены все прочие. Подготовка состоит, между прочим, в создании настроения в пользу сильной, властной пролетарской организации, выяснения всего значения ее. Можно возразить, что *диктаторы* являлись и являются сами собою. Но так не всегда было и не *стихийно*, не *оппортунистически должно это быть в пролетарской партии*. Здесь должны сочетаться высшая степень сознательности с *беспрекословным повиновением;* одно должно вызывать другое (сознание необходимости есть свобода воли). Можно высказать опасение, что властная центральная организация будет подавлять личную инициативу, превращать членов партии в пешек. Но это совершенно напрасное опасение. Это такое же опасение, как и то, что самостоятельный крестьянин полуфеодального времени потеряет самостоятельность и цельность, становясь пролетарием».

Безграмотное заявление уральцев, напечатанное потом в неполном виде в «Искре», — наделало в партийной среде Женевы много шума. Некоторые большевики им были очень смущены. Например, Красиков говорил, что нужно проверить, не есть ли это фальшивка, пущенная в обращение, чтобы скомпрометировать Ленина и показать, какие «болваны» за ним идут. Меньшевики, конечно, подвергли уральский документ ожесточенной критике, в частности, Плеханов писал о «нелепой идее дважды нелепой диктатуры трижды нелепых уфимских и прочих представителей». Через 48 лет после появления заявления уральских представителей приходится признать, что оно действительно исторический документ. Идея, так называемой, «диктатуры пролетариата», дорогая Плеханову, осуществляется именно в форме указанной «трижды нелепыми уфимскими и прочими представителями». Кто может теперь отрицать, что мы живем в эпоху, когда взращивание с помощью комму-

нистической партии диктаторов превратилось в разветвленную политическую индустрию и те, кто называет себя наследниками Ленина, ввозят в разные страны диктаторов в сталинских фургонах или приготовляют кандидатов в диктаторы из местного сырья. Далеко не лишено исторической пикантности, что заявление уральских представителей написано, по словам Б. И. Николаевского, Трилиссером, будущим членом коллегии ГПУ, и организатором Иностранного Отдела сего кровавого учреждения[28].

На меня «бомба» уфимских, уральских и пермских комитетов не произвела тогда столь потрясающего впечатления как на Мартынова[29], а всё-таки *очень смутила*. Чем конкретно может быть «диктатура пролетариата» в этом я, как и многие другие, без всякой критики принимавшие это требование программы партии, — плохо разбирался. Всё это было совершенно непродуманно и туманно. Диктатура пролетариата представлялась мне скорее всего в виде энергичного напора, безличной акции масс, совсем не требующей особой, возвышающей над всеми, власти личности, какого-то пригибающего всех к земле Бонапарта. Чтобы в партии был «Наполеон» — такого абсурда мысль не допускала. Против этого бурно восставало чувство самого элементарного демократизма. Я очень хорошо помню, что немедленно после прочтения резолюции уральских комитетчиков две мысли меня охватили. Первая — узнать скорее, что о ней скажет Ленин. И вторая, впервые меня укусившая: нет ли во властной, централизованной организации, проповедуемой Лениным, некоторых опасных сторон, тех, что меньшинство называет «бонапартизмом»? С Лениным я увиделся в тот же день. Резолюцию уральцев он дважды прочитал очень внимательно.

---

[28] См. примечание Б. И. Николаевского к моей статье «Уральские провидцы» в «Народной Правде», 1950 г., № 7-8.

[29] Непонятно — как в 1922 г. он мог сделаться коммунистом.

— Откуда вы ее взяли?

— Мне дал ее Мартынов.

— А что он сказал по этому поводу? — Я рассказал.

— Мартынов, — заметил Ленин, — кудахчет как глупая курица, ничего другого от него ждать нельзя. Резолюция несомненно чрезвычайно глупа, но впадать от нее в истерику нечего, пишутся вещи и более глупые.

Больше ничего Ленин к этому не добавил. Разговор на эту тему он просто оборвал. Что он тогда думал — об этом можно гадать, но следует напомнить, что через 15 лет, став у власти, — он поучал: «Волю класса иногда осуществляет диктатор, который один более сделает и часто более необходим... Советский демократизм единоналичию и диктатуре нисколько не противоречит. Необходимо единоличие, признание диктаторских полномочий одного лица с точки зрения советской идеи».

После указанной встречи и еще одной, во время которой Ленин с тем же ожесточением говорил о необходимости раскола партии, я, по ряду чисто личных причин, не видел его в течение более недели. Снова увидев его, я ахнул. Он был неузнаваем. Постепенное нервное изнашивание его организма, очевидно происходившее в течение многих недель, — теперь было явно. У него был вид тяжко больного человека. Лицо его стало желтое, с каким-то бурым оттенком. Взгляд тяжелый, мертвый, веки набухли, как то бывает при долгой бессоннице, на всей фигуре отпечаток крайней усталости. «Вы больны»? — спросил я. Ленин дернул плечом и ничего не ответил. Обычно во время наших прогулок от моста через озеро до одного дома на route de Lausanne, от которого мы повертывали назад, Ленин шагал быстро, энергично. «Мне нужно размяться от долгого сидения», — говорил он. Теперь он шел медленно, вяло, еле передвигая ноги. Он ничего не говорил. Нарушая это довольно тягостное молчание, я спросил — как идет его работа, подвигается ли она к концу?

— Ни одну вещь я не писал в таком состоянии. Меня тошнит от того, что я пишу и выправляю. Мне приходится насиловать себя.

Слова показались загадочными. В чем он насилует себя? Желая навести его на ответ, я осторожно спросил: вы, действительно, решили идти на раскол? На это, после всего, что я слышал от него во время предыдущих встреч, я получил столь неожиданный ответ, что он вверг меня в изумление. Смотря на меня с каким-то раздражением, Ленин сказал:

— Об этом не может быть и речи! Неужели вы думаете, что я стану вот на этот мост и буду кричать: да здравствует раскол! Политический деятель, подготовляющий большую кампанию, должен помнить пословицу: не зная броду, не суйся в воду. Затевая войну, нужно тщательно обдумать всю диспозицию, подсчитать силы у себя и у противника. Нужно принять меры, чтобы не зашли в ваш тыл и не обошли с бока. Нужно уметь нейтрализовать враждебные вам или непонимающие вас силы. Меньше всего нужно задевать Плеханова, это большая сила, в нем следует видеть человека, случайно плененного меньшевизмом. Аксельрода за все его выверты и статьи следовало бы крыть матерными словами, но, считаясь с тем, что это чучело пользуется еще авторитетом в партии, приходится сдерживать себя. Если раскол сейчас невозможен, приходится сожительствовать с меньшинством.

В том, что я только написал несомненно чего-то не хватает. На страницах моих воспоминаний уже приходилось подчеркивать, что по ряду причин, а не только потому, что изменила память — я не всегда могу указать достаточно ясно аргументы, которыми Ленин мотивировал некоторые свои мысли, хотя они представляли очень большой интерес. Так было с его речью, предшествующей заявлению, что он убежден дожить до социалистической революции. То же самое и в данном

случае. Из того, что сказал Ленин, точно помню отдельные выражения вроде: «об этом не может быть и речи», «с моста не буду кричать», «не зная броду, не суйся в воду», «не задевать Плеханова», и т. д., но остается неясным — почему вместо требования раскола Ленин вдруг заговорил о сожительстве с меньшинством и какие соображения он привел и привел ли в защиту такого решения. Мне кажется, он чувствовал, что его угрозы полным расколом пугали многих большевиков и вызывали у них сопротивление. Ведь не один я их слышал. Они долетали до комитетов России, до ушей большевиков членов Центрального комитета, а в нем замечались тенденции примириться с меньшевиками. Известно, что член Центрального комитета — большевик Носков-Глебов всё время стремился удержать Ленина от агрессивных выступлений, обуздать его «свободу языка», в итоге чего Ленин порвал с ним всякие личные отношения. Против раскольнических речей Ленина был и другой виднейший член большевистской партии — Г. М. Кржижановский. Из опубликованных после смерти Ленина писем мы знаем, что Ленину пришлось убеждать Кржижановского, что он «не стремится к расколу».

«Не верь вздорным басням о нашем стремлении к расколу, запасись некоторым терпением и ты увидишь скоро, что наша кампания прекрасная и что мы победим силою убеждения».

Хочу к этому еще добавить, что слышанное мною заявление Ленина, что «не может быть и речи о расколе» не сопровождалось долгим объяснением, так как пошел дождь (смутно помню, кажется, даже снег!) и я расстался с Лениным, поспешившим возвратиться к себе. Потом, в течение многих недель, я видел Ленина только два раза: в кафе, где у него произошел описанный мною спор с Ольминским и затем, когда он помогал мне тащить к Петрову повозку с багажом. Ни в том, ни в дру-

гом случае Ленин о своей книге и партийных разногласиях не говорил и не желал, чтобы с ним о том говорили.

Каковы бы ни были причины и мотивы, но налицо был поворот Ленина, можно сказать, на 180°: в процессе писания книги, подходя к ее концу, он свое требование порвать всякую партийную связь с меньшевиками смял заявлением, что об этом не может быть и речи. Такое решение далось ему несомненно очень тяжело. Недаром он исхудал, осунулся, пожелтел. Он должен был смирить бушевавший в нем раж, обуздать себя, перекроить текст книги, переделать в ней ряд страниц. Поэтому — «писать ему было тошно», и он «насиловал себя». Несомненно, по той же причине он сказал Лепешинскому, что «кажется не допишет своей книги, бросит всё и уедет в горы».

Когда книга Ленина вышла из печати, мне немедленно бросились в глаза изменения, внесенные во все его формулы и критику. Книга полна злых ругательных выпадов против меньшевиков, всё же они сущие пустяки в сравнении с теми, что я слышал от него. Желая дать презрительную характеристику позиции меньшевиков, Ленин назвал свою книгу — «Шаг вперед — два шага назад». Он не заметил, что это название весьма иронически характеризует и его собственную позицию. Вся его книга, действительно, качается: на одной странице он делает широчайший шаг к расколу, а через несколько страниц — отступает от этой мысли, пятится назад. В этой книге два Ленина. Один, говоривший мне что если большевики не пойдут на раскол партии, их нужно будет считать анемичными, старыми девами и другой, — сухо замечающий, что о расколе не следует говорить. Неоднократно он бросает заявление, что меньшинство есть вредное, правое, оппортунистическое крыло партии, состоящее из наименее устойчивых, невыдержанных элементов, и что «разделение партии на Гору и Жиронду появилось не в одной русской партии и не завтра исчез-

нет». Однако, сколь жестоко должен был насиловать себя Ленин, чтобы после этого, неожиданно для читателя, вставить такую фразу: «ничего страшного и ничего критического в этом факте нет». «Раньше мы расходились из-за крупных вопросов, которые могли иногда даже оправдывать и раскол, теперь мы сошлись уже на всем крупном и важном, теперь нас разделяют лишь оттенки, из-за которых можно и должно спорить, но *нелепо* и *ребячески было бы расходиться»*. Поистине: шаг вперед — два шага назад!

Несколько раз, считая это очень важным, Ленин в своей книге подходит к вопросу об отношении к *«якобинству»*. «Реальным основанием» страха пред заговорщичеством, бланкизмом, якобинством, — настаивает он, — является «жирондистская робость буржуазного интеллигента», вздыхающего об абсолютной ценности демократических принципов и на этом основании отвергающего диктатуру пролетариата». Он прямо намекает, что таким жирондистом является Аксельрод, но то, что по этому поводу он пишет, просто бледно в сравнении с прославлением якобинства, которое я от него слышал. Он выбросил из своей книги доказательства, что психология всех меньшевиков, а не одного Аксельрода, не принимая якобинство, должна с «акимовским глубокомыслием» склонять их к непризнанию диктатуры пролетариата. Об «Искре» и ее редакторах — Ленин пишет с зубовным скрежетом. Как только он покинул редакцию, «Искра», по его убеждению, превратилась в новую «Искру» в «загаженный ночной горшок».

«В новой «Искре» мы видим реванш Акимова и восторги Мартыновых. Новая «Искра» еще уверяет нас в своих симпатиях к централизму, на деле же Аксельрод и Мартов повернули в организационных вопросах к Акимову. Старая «Искра» учила истинам революционной борьбы. Новая «Искра» учит уступчивости и уживчивости. Старая «Искра» была органом воинствующей ор-

тодоксии. Новая «Искра» нам преподносит отрыжку оппортунизма. Старая «Искра» неуклонно шла к своей цели и слово не расходилось у нее с делом. В новой «Искре» внутренняя фальшь ее позиции наизбежно порождает политическое лицемерие».

Десятки других обвинений сыплет он по адресу новой «Искры» и восклицает: «Какой позор! Как они осрамили нашу старую «Искру»! После этого ждешь неминуемого заключения: меньшинство нам не товарищи, а заклятые враги, всякая партийная связь с ними должна порваться. Такого заключения нет. Вместо этого, перефразируя Мартова, он — Ленин «претендует на честь» дать пример того, как «не образовывая новой партии» — можно «чисто идейной пропагандой добиться внутри партии торжества своих принципов». Верил ли в это Ленин или только насиловал себя допущением, что после всего того, что с такой ненавистью он сказал о меньшевиках, всё же есть еще шансы сожительствовать с ними в одной партии? При полном отсутствии у него уступчивости и уживчивости разрыв был неизбежен. И через три месяца после выхода своей книги, получив за нее на страницах «Искры» серию оглушительных пощечин, — решив, что больше не пойдет ни на какие пробы самообуздания и самоограничения, Ленин бросился организовывать по «своему образу и подобию» большевистскую партию, а в ней именно «*якобинство*», в отличие от меньшевиков, и было одним из главнейших аттрибутов. Это обстоятельство, конечно, привлекло на его сторону всех бывших «якобинцев-бланкистов» из группы Зайчневского. Что встретило желание Ленина как-нибудь нейтрализовать Плеханова — буду говорить дальше, а пока расскажу о гневе на меня Крупской. Это ведь находится в тесной связи с моими прогулками с Лениным во время подготовки «Шаг вперед — два шага назад».

Вначале нашего знакомства и, вероятно, до конца февраля Крупская относилась ко мне весьма благожела-

тельно. Она охотно говорила со мною о Петербурге, Уфе, о жизни Ленина и ее ссылке в Сибири, в Лондоне и так как он меня интересовал не только как политик, организатор партии, а как человек, не отказывалась отвечать на вопросы, которые в связи с этим я ей ставил. Правда, она иногда делала это с осторожностью, но тогда ее осторожность была очень далека от той, которая сквозит в ее книге воспоминаний о Ленине. Я спросил однажды Крупскую — есть ли у Владимира Ильича терпение, терпеливость?

— Как понимать терпение? — ответила она. — Если под ним понимать упорство, настойчивость, усидчивость, то, кто же не знает, что эти свойства у Ильича в таком количестве, как ни у кого. Нужно было, например, видеть с каким упорством сидел Ильич за разными словарями, синтаксисами и грамматиками, желая поскорее изучить иностранные языки. Если же под нетерпеливостью понимать стремление к возможно скорейшему исполнению желания, конечно, у Ильича есть и это. Когда мы отсылаем в Россию в какой-нибудь комитет или к какому-нибудь товарищу письмо с просьбой ответить на интересующий нас вопрос, Ильич не терпит замедления и, не получая скорого ответа, делается нервен, адски ругает русскую неаккуратность и неповоротливость. Ильич — волевая натура. К нему с аршином мещанского терпения подходить нельзя. Овладевшее им желание он немедленно осуществляет. В Сибири, если на него нападало желание идти на охоту, он шел охотиться, не считаясь ни с погодой, ни с тем, что другие указывали на невозможность охоты в такую погоду. В начале 1900 г. срок нашей ссылки кончался, мы могли легально и спокойно выехать из Сибири. Но последние недели Ильич так рвался выехать из Сибири, что не хотел дожидаться даже нескольких дней, что оставались до окончания срока. Тут уж пришлось убеждать его не быть столь нетерпеливым.

Разговор с Крупской происходил на rue de Foyer — в кухне-приемной. Ленин, сойдя к нам из верних комнат, спросил о чем идет беседа. Крупская, явно смущенная, передала свои слова в весьма туманной и смягченной форме. Даже и в таком виде ее рассказ Ленину видимо не понравился. «*Это всё лишнее*», — сухо заметил он, давая Крупской понять, что нечего выносить наружу то, что происходило и происходит в его «уголке». Я мог заметить, что после этого случая она на мои расспросы о Ленине стала отвечать очень скупыми, почти ничего неговорящими фразами. Если исключить разговор о Ленине, беседы с Крупской на другие темы не представляли для меня интереса. Я ее уважал, но в интеллектуальном отношении видел в ней очень обыденного человека. В ней не было ничего яркого, индивидуального. Таких революционерок, наверное, было сотни и среди них она принадлежала — я сказал бы — к категории неженственных женщин. По какому-то поводу я рассказал ей, что люблю духи и что в Киеве рабочие кружка[30], который я посещал в качестве пропагандиста, зная мою слабость, подарили мне флакон духов. Крупская расхохоталась. Презент духов социал-демократу-пропагандисту она сочла не только глупостью, а каким-то нарушением партийных правил. Сама она, в том можно быть уверенным, никогда на себя капельки духов не пролила.

Лепешинский уверял, что лет пять до этого, в ссылке в Сибири, Крупская была очень красива. Как-то не верилось, а если бы это и было так, минусом ее была ее вульгарность. Ленин был моментами крайне груб, невежлив, в лексиконе его было не мало самых базарных выражений. У Крупской их, конечно, не было, тем не менее, она была вульгарна, тогда как к Ленину этот эпитет, по моему мнению, всё-таки не подходит. Своего мужа Крупская называла, как и другие, «Ильичом» —

---

[30] В него входил будущая знаменитость Вилонов.

это резало мне ухо. Крупская обычно выражалась уверенно и авторитетно, но в этом не было ничего своего. Всё от альфы до омеги заимствовано у Ленина. На языке всех нас было тогда более чем достаточно разных прописных революционных истин и quasi истин. У Крупской их был излишек. В России прописные истины провозглашаясь громко, свидетельствовали о смелости говорящего, за них людям могла грозить тюрьма. В Женеве подобные истины теряли свой волнующий, опасный характер, делались потертой, ходовой монетой. «Искра» в Женеве совсем не воспринималась так, как «Искра» в России. Я это почувствовал скоро после моего приезда, привыкнув к тому, что, не прячась ни от кого, могу свободно читать всякие революционные издания. Поэтому, когда Крупская с каким-то особым нажимом и учительским тоном провозглашала истины, вроде «русский рабочий живет плохо», «наш крестьянин бесправен», «самодержавие — враг народа» — я каждый раз от этого съеживался.

Немедленно должен сказать, что этого Крупская никак не могла заметить, как не могла заметить, что мне с нею скучно. Крайне ценя «доступ» к Ленину и зная, что жены имеют или могут иметь влияние на их мужей, я тщательно избегал всего, что могло бы раздражить Крупскую, ее обидеть и на этой почве вызвать изменение отношения ко мне Ленина. На недостаток внешней почтительности и внимательности с моей стороны Крупская не могла пожаловаться. Моя «неискренность» может вызвать порицание — пишу что было. И вот, несмотря на отсутствие каких-либо видимых причин, — я заметил, что благожелательное отношение ко мне Крупской падает и переходит во враждебность. Это развивалось постепенно. Началось с перемены тона при разговоре со мною. Исчезли шутки, встречи стали холоднее, ответы на вопросы лаконичнее. Следующим этапом было уже избегание меня. Открыв дверь, Крупская,

еле отвечая на мое приветствие, быстро уходила наверх, не вступая со мною в разговор. Если представлялся случай, пускала по моему адресу какую-нибудь шпильку. Не помню хорошо, когда это было, кажется, в середине марта, — я, как всегда, пришел к четырем часам к Ленину. Крупская, увидев меня, не отворяя полностью дверь, а держа ее полуоткрытой, заявила, что Владимира Ильича нет дома и что вообще «нужно перестать ему мешать, так как всем известно, что он обременен очень важной работой». Так как накануне, прощаясь со мною, Ленин сказал «до завтра» — для меня было очевидно, что Крупская лжет и ее заявление — демонстрация.

— Позвольте спросить, то, что вы говорите, исходит от вас или вы передаете желание Владимира Ильича?

Крупская не успела ни ответить, ни захлопнуть дверь, как раз в этот момент в кухню-приемную вошел Ленин и быстро подошел к входной двери. Бросив вопрошающий взгляд на Крупскую, потом на меня, он спросил: «В чем дело? Что случилось?». Я ответил, что «ничего не случилось», только Надежда Константиновна сказала, что «вас нет дома и вообще я не должен Вам мешать». У Ленина лицо мгновенно стало каменным, скулы покраснели. Не глядя на Крупскую, он сказал:

— Чтобы это впредь не повторялось, я на входной двери для тех, кого я приглашаю, буду вывешивать особые знаки, они будут знать, что я дома.

Взяв пальто и шляпу, Ленин вышел вместе со мною из дома. Ни в эту прогулку, ни при одной из следующих встреч, он *никогда* ни малейшим словечком не обмолвился о происшедшем, но с того дня я не только чувствовал, а ясно видел, что Крупская меня уже абсолютно не переносит. Считаясь с этим, я почти перестал приходить на rue du Foyer, постаравшись наладить встречи с Лениным в другой обстановке. Чем же объяснить гнев на меня Крупской, как будто без причины нахлынувшую на нее ненависть? С некоей философской «резиньяцией»,

как любил говорить Герцен, я из происшедшего сначала вывел заключение, что во мне есть какие-то черты характера, которые вне моей воли и сознания, делают меня в глазах иных людей противным. От того в панику я не впал, а с той же резиньяцией решил: чорт с ними с этими людьми, всем не угодишь и угождать я и не собираюсь! Ленин меня очень интересует, а Крупская ни в малейшей степени. Что она обо мне думает — мне безразлично, лишь бы, а этого нет, ее гнев не отразился на отношениях ко мне Ленина. Немного позднее я нашел гораздо более сложные причины гнева и раздражения Крупской. Я постараюсь сейчас их изложить.

Когда Ленин писал какую-нибудь простую статью, а таких, при том очень скверно, безвкусно и бесстильно написанных, у него множество, он делал это очень быстро во всякой обстановке. Для этого нужна была только бумага, чернила и перо. Когда речь заходила о более сложной вещи, в которой нужно было связать и тщательно продумать основные мысли, найти им подходящую литературную форму, он обычно долго ходил по комнате и про себя конструировал фразы, выражающие его главные мысли. После многих повторений *шопотом* таких мыслей, установив их внешнее выражение, он принимался писать. Но при некоторых работах одного шопота Ленину было недостаточно. Ему нужно было кому-то *не шопотом*, а *уже громко* разъяснить, сказать, что он пишет, какие мысли защищает. В процессе говорения и «громкоговорения», прислушиваясь к нему, Ленину, видимо, удавалось лучше уточнить им защищаемые мысли и лучше подыскать для них слова, формы, выражения. Об этой стороне творчества Ленина никто никогда не писал. Мне это стало известно из разговоров с Крупской. И так как в 1904 г. я был начинающим журналистом и искал указаний как нужно делать это дело, чтобы оно было хорошо, я с большим интересом слушал, что о приемах Ленина мне поведала Крупская.

— Главная часть творчества Ильича, — сказала она, — происходила на моих глазах. В Сибири, прежде, чем писать брошюру «Задачи руских социал-демократов», он всю ее мне рассказал. За некоторые для него интересные главы «Развитие капитализма» он не брался, пока не изложит мне их основные мысли. Содержание «Что делать» Ильич устанавливал про себя *шопотком*, всё время прохаживаясь по комнате. А после этой предварительной работы, уже с целью лучшей отделки мыслей, он их громко выговаривал. Прежде чем писать, Ильич все главы книжки «Что делать» одна за другой мне «проговорил». Он любил это делать во время прогулок в Мюнхене, а чтобы никто ему не мешал, мы выходили за город. Тем же приемом, т. е. сначала подготовкой шопотком, а потом говорением, составлены и другие работы, например, «Гонители земства и Аннибалы либерализма».

Раз это так, то в феврале-апреле 1904 г. во время составления Лениным «Шаг вперед — два шага назад», — роль слушателя, коему требовалось «проговорить» ведущуюся работу, естественно и неоспоримо, выпала на ту же Крупскую. Она могла претендовать на такое неделимое ни с кем право, тем более для нее дорогое, что боготворила Ленина. И вдруг обнаружилось, что осуществлению полноты этого права ей мешают, отнимают от него какую-то частицу. Кто же мешает? Смешно сказать, выходило, что в умалении ее священного права, о том не ведая и ни в какой степени того не желая, виновным оказался пишущий эти строки. В чем же была моя вина? В том, что я часто виделся с Лениным в феврале-апреле. Обычно около 4 часов (без пяти минут! Ленин был крайне пунктуален!) он выходил гулять, а я приходил из дома, шел ему навстречу и мы в течение полчаса и больше, ходили по quai du Montblanc то в направлении к мосту, то в обратном направлении — по route de Lousanne. Нельзя сказать, «мы гово-

рили». Говорил один Ленин. Я только слушал, изредка ставя вопросы. Почему в момент подготовки «Шаг вперед — два шага назад» — слушателем оказался я? Совершенно случайно и уже, конечно, не потому что он считался с моим мнением и моими возможными возражениями. С чужими взглядами он вообще почти не считался. Не он меня выбрал для роли «слушателя», а я сам к нему «навязался». Проблема партии, ее структура, функционирование, ее управление, ее персонал, качество и недостатки этого персонала, в то время представляли для меня особый интерес. Я хотел возвратиться в Россию в качестве «профессионального революционера», овладевшего всем знанием партийного строительства. Это знание, по моему тогдашнему убеждению, мог получить только от Ленина, ни от кого больше. По этой причине при встречах с ним я был максимально-внимательным слушателем его организационной доктрины. Думаю, видя это, он охотно шел на «допуск» меня как компаньона его прогулок, во время которых он, говоря, продумывал свою книгу. Стеснять его я никак не мог.

Я сказал, что для прогулок с Лениным я выходил ему навстречу. В начале было иначе, я заходил к нему на дом и уже оттуда мы шли гулять. Но после того, как Крупская хотела захлопнуть пред моим носом дверь, от захода на rue du Foyer я отказался. Без всякой ссылки на этот инцидент, выдумывая нелепое объяснение (столь нелепое, что я его не передаю) я сказал Ленину, что впредь буду поджидать его на углу quai du Montblanc и маленькой улички, название ее сейчас вспомнить не могу. Она была недалеко от дома Ленина. «Вам ведь всё равно, — сказал я ему, — в какую сторону идти. В таком случае идите к этой улице. Я буду там вас поджидать». Надуманная искусственность моих мотивов не заходить к нему на дом была слишком очевидна, Ленин не мог ее не заметить. Однако, он пропустил мимо ушей, а лишь заметил: «Мне действи-

тельно всё равно в какую сторону идти, поджидайте меня, где вам удобно».

Ленин был бурный, страстный и пристрастный человек. Его разговоры, речи во время прогулок о Бунде, Акимове, Аксельроде, Мартове, борьбе на съезде, где, по его признанию, он *«бешено хлопал дверями»,* — были злой, ругательской, не стесняющейся в выражениях полемикой. Он буквально исходил желчью, говоря о меньшевиках. Моментами он останавливался посредине тротуара и, запустив пальцы под отворот жилетки (даже когда был в пальто), то откидываясь назад, то подскакивая вперед, громил своих врагов, не обращая никакого внимания, что на его жестикуляцию с некоторым удивлением смотрят прохожие. С подобным проявлением страсти ведущееся «говорение» и не один день, а в течение многих дней, несомненно должно было изнашивать, его утомлять, отымать у него часть запаса энергии, а она после приступа ража была у него в отливе, подсекалась колебанием и сомнениями. Обращаю на это внимание по следующим соображениям. Насколько я знаю, Ленин с самого утра принимался за писание и писал до завтрака (по-русски до обеда). После него он снова садился писать до 4 часов, когда выходил гулять. Однако, на прогулках, хотя он выходил для отдыха, работа над книгой (переход от «шопота» к «говорению»), в сущности, продолжалась, трата умственной энергии не прекращалась. Возвратясь домой, он иногда до позднего часа продолжал писать. Вероятно, при таком расписании дня, у Ленина на разговоры с Крупской, на объяснение, «говорение» ей того, что пишет, оставалось меньше времени, *чем она того хотела.* Она могла чувствовать, что при составлении «Шаг вперед — два шага назад» не занимает того положения, которое привыкла иметь во время прежних работ Ленина. Уходы «Ильича» на прогулку, главное траты, пусть даже частицы его энергии на «по-

учение» какого-то Самсонова, она должна была считать ненужными, вредными для дела, утомляющими Ильича и, вместе с тем, в какой-то степени ущемляющими ее право быть единственным и «первым слушателем». Возможно, что я ошибаюсь, но так я объясняю появление у Крупской недовольства мною, постепенно нараставшее против меня раздражение и переход его уже в несдерживаемый гнев. Крайне любопытно, что до яростной стычки со мною, происшедшей в июне, по поводу философских вопросов, Ленин, в течение почти трех месяцев не обращал внимания на гнев Крупской. В одной из следующих глав я приведу неоспоримое свидетельство, что еще в начале июня, он продолжал ко мне «благоволить».

Не могу окончить эту главу воспоминаний, не дав дополнительных, более подробных сведений, о двух особых психологических состояниях Ленина, столь бросившихся мне в глаза во время прогулок с ним, когда он писал «Шаги». Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения и следующее за ним состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. Всё, что позднее, после смерти Ленина удалось узнать и собрать о нем, с полной неоспоримостью показывает, что именно эти перемежающиеся состояния были характерными чертами его психологической структуры.

В «нормальном» состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Он не курил, не выносил алкоголя, заботился о своем здоровьи, для этого ежедневно занимался гимнастикой. Он — воплощение порядка и аккуратности. Каждое утро, пред тем как начать читать газеты, писать, работать, Ленин, с тряпкой в руках, наводил порядок на своем письменном столе, среди своих книг. Плохо держащуюся пуговицу

пиджака или брюк укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Пятно на костюме старался вывести немедленно бензином. Свой велосипед держал в такой чистоте, словно это был хирургический инструмент. В этом «нормальном» состоянии, Ленин представляется наблюдателю трезвейшим, уравновешенным, «благонравным» без каких-либо страстей человеком, которому претит беспорядочная жизнь, особенно жизнь богемы. В такие моменты ему нравится покойная жизнь, напоминающая Симбирск. «Я уже привык, — писал он родным в 1913 г., — к обиходу краковской жизни, узкой, тихой, сонной. Как ни глух здешний город, а я всё же больше доволен здесь, чем в Париже».

Это равновесие, это «нормальное» состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. Он всегда уходил из него, бросаясь в целиком его захватывающие «увлечения». Они окрашены совершенно особым аффектом. В них всегда элемент неистовства, потери меры, азарта. Крупская крайне метко назвала их ражем (как она говорила «ражью»). В течение его ссылки в Сибири можно хорошо проследить чередование разных видов ленинского ража. Купив в Минусинске коньки, он и утром, и вечером, бегает на реку кататься, «поражает» (слова Крупской) жителей села Шушенского «разными гигантскими шагами и испанскими прыжками». Он любил с нами состязаться, — пишет Лепешинский — «Кто со мною вперегонки?». И впереди всех несется Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, лишь бы победить во чтобы то ни стало и каким угодно напряжением сил. Другой раж — охотничий. Ленин обзавелся ружьем, собакой и до изнеможения рыщет по лесам, полям, оврагам, отыскивая дичь. Он отдавался охоте, говорит тот же Лепешинский, с таким «пылом страсти», что в поисках дичи был способен пробегать в день «по кочкам и болотам сорок верст». Шахматы, — третий раж. Он мог сидеть за шахматами

с утра до поздней ночи и игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне... Крупская слышала, как во сне он вскрикивал: если он конем пойдет сюда, я отвечу турой. Можно указать и четвертый раж.

«Ильич, — писала родным Крупская, — заявил, что не любит и не умеет собирать грибы, а теперь его из леса не вытащишь, приходит в настоящую грибную ражь». Эта «ражь» неоднократно на него находила. Летом 1916 г. Ленин и Крупская из дома отдыха Чудивизе (недалеко от Цюриха) спешили по горным тропинкам на поезд. Накрапывал дождик, скоро превратившийся в ливень. В лесу Ленин увидел белые грибы, немедленно впал в азарт и, несмотря на ливень, бросился их собирать. «Мы вымокли до костей, опоздали, конечно, на поезд», всё-таки грибной раж свой Ленин удовлетворил вполне: бросил собирать грибы только тогда, когда наполнил ими целый мешок.

Подобного рода раж, но еще с большим неистовством, он вносил и в свою общественную, революционную и интеллектуальную деятельность. В 1916 г. он писал Инессе Арманд:

«Вот она судьба моя! Одна боевая кампания за другой. И это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, я всё же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками».

Боевая кампания! Лучше и не скажешь. Боевая кампания против народников, кампания за организацию партии, установление в ней централизма, железной дисциплины, кампания за бойкот Государственной Думы, за вооруженное восстание, кампания против «ликвидаторов»-меньшевиков, кампания за идеологическое истребление всех, неразделяющих воззрения диалектического материализма, кампания за поражение России в войну 1914-17 г.г., кампания за свержение Временного правительства, за захват власти, чтобы «или погибнуть, или на всех парах устремиться вперед». Жизнь Ленина, дей-

ствительно, прошла в виде кампаний, войны, для которой мобилизовались все его интеллектуальные и физические силы.

Что происходило с Лениным во всех этих «кампаниях», могу ясно себе представить по его состоянию во время работы над «Шагом вперед». Чтобы осуществить свою мысль, свое желание, намеченную им цель очередной кампании, заставить членов его партии безоговорочно ей подчиниться, Ленин, как заведенный мотор, развивал невероятную энергию. Он делал это с непоколебимой верою, что только он имеет право на «дирижерскую палочку». В своих атаках, Ленин сам в том признавался, он делался «бешеным». Охватившая его в данный момент мысль, идея, властно, остро заполняла весь его мозг, делала его одержимым. Остальные секторы психической жизни, другие интересы и желания — в это время как бы свертывались и исчезали. В полосу одержимости перед глазами Ленина — только одна идея, ничего иного, одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь и в нее он ожесточенно, исступленно, колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях — врагом мог быть вождь народников — Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ — Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Р. Авенариус. Он бешено их всех ненавидит, хочет им «дать в морду», налепить «бубновый туз», оскорбить, затоптать, оплевать. С таким ражем он сделал и октябрьскую революцию, а чтобы склонить к захвату власти колеблющуюся партию, не стеснялся называть ее руководящие верхи трусами, изменниками и идиотами.

Грандиозные затраты энергии, требуемые каждой затеваемой Лениным кампанией, вызывая самопогоняние и беспощадное погоняние, подхлестывание других, его изнуряли, опустошали. За известным пределом исступ-

ленного напряжения — его волевой мотор отказывался работать. Топлива в организме для него уже не хватало. После взлета или целого ряда взлетов ража — начиналось падение энергии, наступала психическая реакция, атония, упадок сил, сбивающая с ног усталость. Ленин переставал есть и спать. Мучили головные боли. Лицо делалось буро-желтым, даже чернело, маленькие острые монгольские глаза потухали. Я видел его в таком состоянии. Он был неузнаваем. Спасаясь от тяжкой депрессии, Ленин убегал отдыхать в какое-нибудь тихое безлюдное место, чтобы выбросить из мозга, хотя бы на время, вошедшую в него как заноза мысль; ни о чем не думать, главное, — никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Так, после окончания «Шага вперед», — Ленин с Крупской на несколько недель ушли бродить в горы. «Мы выбирали, — вспоминала Крупская, самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей». С подобным же состоянием Ленина мы знакомимся в июне 1907 г. Раж, с которым Ленин поносил либералов, ка-дэ, призывал к вооруженному восстанию, боролся с меньшевиками столь истощил его силы, что после лондонского съезда партии он возвратился в Куоккала, в Финляндию, полутрупом, Крупская немедленно увезла его подальше от людей, в глубь Финляндии, в тишайшее местечко Стирсудден на дачу Книповича. Он точно потерял способность ходить, всякое желание говорить, почти весь день проводил с закрытыми глазами. Он всё время засыпал. Доберется до леса, «сядет под ель и через минуту уже спит». Дети с соседней дачи называли его «дрыхалкой». Крайне характерно то, что, начав оживать, Ленин писал матери из Стирсуддена:

«Здесь отдых чудесный... безлюдие, безделие. Безлюдие и безделие для меня лучше всего».

Это Ленин без боевых доспехов. В состоянии — полной потери сил — он был и в Париже в 1909 г.

после очередной партийной склоки и изнурительной кампании против Богданова, эмпириокритиков, «отзовистов», «впередовцев» и т. д. Он убежал в деревушку Bonbon в департаменте Сэн и Марн, никого не желая видеть, слышать и только после трех недель «жизни на травке» превозмог охватившую его депрессию. Опустошенным возвратился он и с циммервальдовской конференции в 1915 г., где неистово сражался за превращение империалистической войны в войну гражданскую. Он искал отдыха в укромном местечке Соренберг, недалеко от Берна, у подножья горы Ротхорн. По приезде забирается на гору и здесь «вдруг ложится на землю», вернее, точно подкошенный, падает «очень неудобно чуть не на снег, засыпает и спит как убитый». Крупская, уже достаточно привыкшая к чередованию у Ленина высочайших взлетов и тяжкого духовного и физического изнеможения, меланхолично писала: «Циммервальдовская конференция видно здорово ему нервы потрепала, отняла порядочно сил».

В июле 1921 г. Ленин писал Горькому: «Я устал так, что уже *ничегошеньки* не могу». Стоило бы показать — как с октября 1917 г. то взлетал, то исчезал Ленинский «раж», чтобы, в конце концов, превратить этого бурного человека в паралитика, потерявшего способность речи, с омертвелой рукой и ногой. Но это уже далеко выходит из рамок моих записок.

Таков был Ленин. Состояние его психики никак не может быть «графически» представлено более или менее плавной линией. Линия, перпендикулярно вздымающаяся вверх, линия, перпендикулярно свергающаяся до самого крайнего предела вниз — вот его психический график. Думается, что люди с таким устройством, с такими прыжками мозговой системы, — должны, как Ленин, умирать от кровоизлияния в мозг...

СЕМЕН ПЕТРОВИЧ И ПРОФЕСССОР С. Н. БУЛГАКОВ

Я уже исписал немалое количество страниц. Нужно теперь подвигаться к моменту разрыва с Лениным, рассказать как его «благоволение» исчезло в течение нескольких часов и я сразу превратился в врага, «филистимлянина», с которым он не желал «сидеть за одним столом». Ближайшим внешним поводом к тому послужило отнюдь не какое-либо политическое или партийного характера разногласие, а резкое столкновение в области философии, точнее сказать, гносеологии. Через пять лет подобное же столкновение произошло у Ленина с А. Богдановым, автором философии, в отличие от эмпирио-критицизма им названной «Эмпириомонизмом». В этом случае в «филистимлянина» превратился уже не какой-то прапорщик революции, вроде меня, а важнейший большевистский генерал, за которым в 1904 г. сугубо ухаживал Ленин. Я не хотел бы ограничиться сухим протокольным изложением моего столкновения с Лениным. У этой маленькой истории есть «предистория», далеко не лишенная, мне кажется, интереса. А для рассказа об этой «предистории» нужно возвратиться всё в тот же Киев и выдвинуть две яркие фигуры — весьма известного писателя и профессора, бывшего марксиста, ставшего священником — С. Н. Булгакова и никому неведомого сектанта столяра Семена Петровича. Косвенно они оба оказались вплетенными в ход различных испытанных мною перепитий, финалом которых было свирепое заклеймение меня Лениным. Рассказ о Семене Петровиче и

С. Н. Булгакове я считаю необходимым предисловием к последующим главам.

В начале девятисотых годов в Киевской губернии и во всем югозападном крае было много сектантов. О некоторых из них говорили, что они признают только Божью власть, симпатизируют социалистическим теориям, хотят жить братствами. В 1901 г. с одним из таких сектантов — столяром Семеном Петровичем, познакомился мой друг Виктор. Между ними установились настолько доверчивые отношения, что Виктор заказал ему буфет с секретными отделениями для хранения нелегальной литературы. Сделанные секретные отделения были так объемисты, что в них помещались потом целые пачки «Искры», номера «Зари», всякие женевские издания и так ловко замаскированы, что несмотря на полицейские обыски, которым часто подвергалось жилище Виктора, а потом наша общая квартира, буфет ни разу не выдал своих секретов. За его фабрикацию Семен Петрович взял какую-то ничтожную плату, еле покрывавшую издержки производства. Вместо вознаграждения он попросил Виктора приходить поучать «уму разуму» кружок сектантов, в который входил Семен Петрович.

«Собираемся частенько целой кампанией. Хотим жизнь человеческую понять и рассудить, а без посторонней помощи нам это сделать не легко. Вы — студенты, люди образованные, мы люд серый, сырой, малограмотный. Приходите к нам. Наверное поможете» — говорил он.

Виктор с большой охотой согласился и при первом же посещении увидел, что «кампания» столяра глубочайшим образом отличается от существовавших тогда подпольных рабочих кружков. Это была не молодежь, а люди на 15-20 лет старше Виктора и меня. В церковь они не ходили, ее порядки сурово критиковали, превосходно знали Библию, Евангелие и были очень религиозны. Ругательных слов, столь в ходу в рабочей среде, от

них нельзя было услышать, водку не пили, табак не курили и во всем их облике, особенно Семена Петровича, было что-то чинное.

Оказалось и другое: Семен Петрович совсем не был «сер, сыр и малограмотен». Обычно, когда пропагандист приходил в рабочий кружок, он стремился возможно скорее убедить своих слушателей в том, что нужно «долой самодержавие». В этом кружке в подобной пропаганде не было никакой надобности. Семен Петрович и его товарищи знали, что царское правительство состоит из «злых, несправедливых людей» и должно быть «удалено» от управления страною. Подготовив слушателей к идее устранения самодержавия, пропагандист переходил к доказательствам, что при политической свободе рабочий класс сможет двинуться к лучшей жизни, а эту лучшую жизнь ему обеспечит социализм, т. е., говорили мы, превращение в общее достояние «всех средств и орудий производства». В кружке Семена Петровича не было надобности доказывать и этот центральный пункт социалистической пропаганды. Общее владение фабриками, железными дорогами, землями, лесами, организацию на них «братского, артельного труда», кружок принимал как нечто ясное, бесспорное, доказуемое толкованием таких-то и таких-то мест Евангелия. Словом, Семен Петрович и его товарищи принимали основные социальные и политические пункты революционной программы, давая всему какое-то особое, совсем «немарксистское» обоснование. Вместо вопросов, в обсуждении которых были сильны социал-демократические пропагандисты, сектанты нагромождали другие, никакой уже партийной программой непредвиденные. Например:

Что такое совесть? Чем она отличается от других чувств? Какова связь между телом и душою? Почему человек, а не какое-либо существо стал править на земле? Нет ли за миром видимым другого мира, который мы познать не может? Нет ли в происходящем сокро-

венного смысла, который нужно понять, чтобы жизнь не была бессмысленной? Что в Библии правда, а что сказка? Что хотел показать и чему научить Иоанн Богослов в Апокалипсисе? Какие препятствия для установления «братской» жизни, осуществления заповедей «не убий» и «люби ближнего как самого себя»?

Эти и многие подобные вопросы совершенно выбивали Виктора из седла. Он приходил из кружка взъерошенным, усталым и его левый глаз начинал косить более обыкновенного. Я говорил ему, что от сектантской благодати он становится похожим на Катюшу Маслову в «Воскресеньи» Л. Толстого.

— Закосишь на оба глаза, — отвечал Виктор, — если тебя начнут бомбардировать и философией, и богословием, и психологией.

Свои вопросы сектанты, конечно, не облекали в ясную форму. Язык их, как и все их суждения, был достаточно коряв и смутен. Содержание многих вопросов было мнимым, но и по поводу этого нужно было дать объяснение, а таковое далеко не всегда было легко или, вернее, всегда трудно. Некоторые же вопросы были действительно философскими и, не вызывая большого разочарования в пропагандисте как «учителе», от них нельзя было отпихнуться какой-нибудь фразой и, меньше всего, хлесткой фразой. К каждому посещению кружка Виктору нужно было основательно готовиться, рыться в биологии, философии, психологии, богословии, истории культуры. От этого очень страдала его работа в Политехникуме — зачеты, чертежи, проекты, словом подготовка к диплому инженера. По этой причине и потому, что Семен Петрович развивал «немарксистские» взгляды, побороть которые Виктор не смог, он призвал меня в кружок сначала для подмоги, а потом я его там полностью заместил. Почему я взялся за это дело?

Сектантское движение, в котором было много интересных людей, стало привлекать к себе внимание партии.

В 1903 г. на съезде партии была даже вынесена резолюция, рекомендующая усилить пропаганду среди сектантов. Но лично у меня были особые мотивы начать посещать «кампанию» Семена Петровича. Года четыре до этого я начал усиленно заниматься философией. Усердие в этом направлении сильно подхлестнуло знакомство, встречи, а потом горячие споры с С. Н. Булгаковым — бывшим в это время профессором политической экономии в Политехническом Институте. С 1901 г. он поспешно и очень далеко уходил от разделявшегося им в 90-х годах марксистского мировоззрения. На его лекциях и в экономическом семинарии, участником которого был и я, постоянно проводилась мысль, что человек, желающий стать личностью, полноценным «интеллигентом», должен иметь широкое, цельное, философски обоснованное мировоззрение. Только оно может растолковать смысл жизни человека, указать ему место в социальном движении, обеспечить крепким моральным кодексом, опертым на высшие духовные ценности. Марксизм, настаивал Булгаков, ни цельным, ни здоровым мировоззрением считаться ни в коем случае не может. Он не может связно представить даже экономическую сферу явлений. Например, очень важные процессы, происходящие в сельском хозяйстве, никак не укладываются в его формулы. Кроме того, у каждого мыслящего человека есть глубочайшая потребность духа отдать себе отчет о смысле и целях бытия. Человек интересуется не только «как» и «что» происходит в мире, но «почему» и «зачем». Для атеистического марксизма эта проблема не существует. Ответ на нее может дать вера, религия, указывающая человеку, стоящие над ним высшие ценности. Вера, а не знание дает успокаивающую уверенность, что человечество идет не к худшему, а к лучшему, притом не только экономически, а морально лучшему.

«В рядах русских марксистов, — говорил мне Булгаков, — есть люди, которых, в некотором смысле, мож-

но назвать «святыми». Они идут в народ, жертвуют собою, погибают в тюрьме, на каторге в Сибири. «Святость» этих марксистов идет совсем не от марксизма, а вопреки ему. Марксизм по самой своей сущности импотентен внушать какие-либо нравственные идеи. Ему известны злоба, мстительность, гнев и чужда жалость, любовь, сострадание, горячая симпатия. Свой идеал — установление социалистического общества — он строит на развитии чувства зависти и ненависти, проповеди кровавого насилия, идеализации классового интереса рабочих, а как бы ни прикрашивали этот классовый интерес — он есть и может быть только эгоистическим».

Защищая марксизм от нападок Булгакова, я, тем не менее, разделял его взгляд, что философской, гносеологической, базы у марксизма совсем нет. Клочки неубедительных формул, проникнутых духом черствого рационализма и грубого материализма XVIII столетия, которыми в качестве философии марксизма поучал нас Плеханов — меня совершенно не удовлетворяли. Вышедшая, кажется, в начале девяностых годов книга Лесевича — «Что такое научная философия», с которой я познакомился в Петербурге, навела меня на учение цюрихского философа Р. Авенариуса и венского физика Э. Маха. Знакомство с их работами, позволяя отвернуться от Канта, неокантианства и имманентной философии, создало уверенность, что критический реализм, эмпириокритицизм, превосходно заменяя плехановский и тому подобный материализм, способен крепко «философски подковать» социологическую и экономическую систему марксизма. Уверенность подкреплялась и тем еще фактом, что как будто этим путем шли и другие марксисты (Богданов, Луначарский). Пользуясь эмпириокритицизмом я и «сражался» с С. Н. Булгаковым на его лекциях и в его семинарии. А дебаты в семинарии привлекали к себе такой интерес, что собрания, имевшие сначала 7-8 участников, были перенесены в большую

аудиторию Политехникума, и так как право входа в нее никто не проверял, в аудиторию в конце 1902 г. повалили студенты Университета, Духовной Академии, семинаристы, слушательницы зубоврачебной школы, ученики художественной школы и, в небольшом числе рабочие. В стране, лишенной свободы собраний и слова, такие сборища были полным выходом за всякие пределы дозволенного.

Вероятно потому, что на этих сборищах и в семинарии я был частым, многословным и очень крикливым оппонентом, Булгаков обратил на меня внимание как на человека, которого раньше других нужно освободить от вредных «чар» марксизма. Я виделся с Булгаковым очень часто. С его помощью и из его библиотеки я получал книги, он указывал появившиеся в иностранной печати интересные статьи, к тому же он очень заботился о моем заработке. Благодаря ему, я получил работу в «Киевской Газете» и превосходно оплачиваемый урок по математике в приехавшей из Сибири богатой купеческой семье. Пока не сложилась наша «коммуна» (Виктор, Леонид, моя жена) и я жил один, С. Н. Булгаков забирался иногда ко мне в крохотную студенческую комнату в башне дома на Мариинско-Благовещенской улице. Там долгими часами у нас велись то споры, то разговоры о социализме, метафизике, теории познания, идеализме, материализме, религии, нравственности, Марксе, Канте, Ренане, Соловьеве и т. д. Спор подчас превращался в лекцию, которую, никак не подчеркивая своего профессорского сана, мне читал С. Н. Булгаков. Я сохранил об этих часах очаровательное воспоминание.

Встретиться с ним пришлось лишь через 18 лет в Москве; покинув Киев Булгаков стал профессором московского университета. От Булгакова я узнал, что после одного моего ареста его вызывали в Киевское охранное отделение и потребовали указать, о чем я ораторствовал, при его, как профессора, попустительстве, на собраниях

в большой аудитории Политехнического Института. «Я дал, — со смехом рассказывал Сергей Николаевич, — такой ответ, что у жандармского офицера голова закружилась. Целью собраний, пояснил я, было поднять научный и интеллектуальный уровень студентов. Вы спрашиваете, о чем говорилось? Среди разбираемых вопросов не было таких, которые я бы хотел и считал нужным скрыть от вас. Поощряемые и направляемые мною Вольский и другие студенты говорили о «вещи в себе» Канта, его «Критике Практического разума», триаде в диалектике Гегеля, отношении физического и психического по Фейербаху, имманентной философии Шуппе и Ремке, историческом детерминизме, теории предельной полезности Менгера и Бем-Баверка, теории ренты Рикардо, об Адаме Смите, физиократах и т. д..

«Жандармский офицер, подавленный набором этой неведомой ему премудрости, захлопав глазами, спросил: «Только об этом говорилось»? — и получив от Булгакова: «Только об этом», —поспешил его отпустить, даже не составив протокола»!

В Москве я встречался с Булгаковым в библиотеке Университета. Очень интересуясь византологией в связи с вопросом о духовных истоках русской культуры, я брал отуда на дом много книг. Однажды С. Н. Булгаков, говоря со мной, бросил взгляд на взятые мною книги. Помню, среди них были творения отцов церкви Афанасия и Григория Богослова, книга Лебедева об истории вселенских соборов и — позабыл автора — произведение какого-то немца о первых монастырях в Египте.

— Значит, воскликнул Булгаков, протягивая мне руку, *вы наш!* Я таки думал, что вы уйдете от марксизма.

Пришлось разуверить Булгакова:

— Да, Сергей Николаевич, от ортодоксального марксизма я на самом деле ушел, но совсем не в ту сторону, в какую вы желали бы.

А куда в это время шел сам Булгаков? По его собственному выражению — «с левитской кровью до 6-го колена», с душою «рвавшейся к алтарю», он, отряхнув прах свой от веры «в безличного идола прогресса», примкнул к вере своих предков — вере в личного Бога. В июне 1917 г. в разгар революции он принял сан православного священника. Он был человеком исключительной последовательности и искренности. В 1923 г. советская власть этого бывшего марксиста, рукоположенного во священники, выслала заграницу. При жизни Ленина практиковалась еще высылка нежелательных интеллигентов, а не простое их уничтожение, как в царстве Сталина.

В течение многих лет Булгаков был священником в Париже. Но попав тоже в Париж, я об этом не знал, а когда узнал — видеть и говорить с Булгаковым было уже поздно, невозможно: рак горла и операция отняли у него речь. Впрочем, для меня, может быть, и лучше, что я его не видел. Если судить по некоторым страницам «Автобиографических заметок», вышедших после его смерти, встреча с ним могла бы быть очень тяжелой, а без нее у меня осталось чудесное воспоминание о С. Н. Булгакове, забиравшемся в мою студенческую келью, никогда не снимавшего пальто, говорившего — «я к вам мимоходом на минутку» и остававшегося и час, и другой. Не могу не отметить, что в 1939 г. в парижских «Современных Записках» в книге XVIII, появилась статья Булгакова «Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова» и тут же рядом с нею статья Е. Юрьевского «О тенденциях общественного развития в новейшее время». Уверен, что Сергей Николаевич не знал, что Е. Юрьевский — тот самый студент, которого в 1902 и 1903 г.г. он страстно убеждал уйти от «деспотии марксизма». Но мятущаяся душа того, кто стал «отцом Сергием» сама не ушла от деспотии и на другом берегу. В его «Автобиографических заметках» на стр.

53-56 мы читаем: «Я должен исповедовать, что для меня на путях моего священства, при всем моем личном почитании и любви к тем епископам, с которыми я имел дело, *церковная «деспотия»* была наиболее тяжелым крестом. За четверть века своего священства я никогда не имел своего собственного храма, а всегда или «сослужил» архиереям или настоятелям. О своем церковном устроении в храме я никогда не знал церковной заботы со стороны епископов. Церковноисторически я одинок и ежусь от *церковного холода*».

Как бы то ни казалось странным, вопросы, составлявшие предмет моих бесед и споров с Булгаковым, не уходили далеко, а некоторые прямо совпадали с теми, что Виктор обсуждал в кружке Семена Петровича. Поэтому, когда он предложил его заместить, я охотно согласился. То обстоятельство, что вместо трех кружков в моем ведении будет четыре, т. е. так много, как ни у кого, даже приятно щекотало мое революционное самолюбие. Посещение подпольных кружков, речи на сходках, пропаганда среди студентов Политехникума, вечные споры с социалистами-революционерами, «хождение во все классы общества» — меня интересовали несравнимо больше, чем высшая математика, механика, проекты. Я гораздо меньше, чем Виктор, смущался, что это весьма вредно отражается на работах в Политехническом Институте. Был еще особый дополнительный мотив, чтобы посещать кружок Семена Петровича: нужно же в нем признаться! В. Вакар в брошюре, изданной Испартом (не знаю точно ее названия, имею из нее лишь присланные из России ко мне относящиеся страницы) писал, что среди пропагандистов Комитета «тов. Вольский выделялся образованностью, начитанностью, особенно в вопросах философии и обладал даром слова». Вот этой самой *«начитанностью»* я тогда и гордился, как индейский петух, своим хвостом. Мне казалось, что я очень «наторел» в возне с философскими вопросами, причем

считал своей «специальностью» борьбу со всякой религиозной метафизикой, материалистической и идеалистической. Ни одной уступки метафизической скверне и сверхопытным соблазнам: постройка мировоззрения без всяких «интроекций», только, как того требовали Авенариус и Мах, на данных reinen Erfahrung! «Виктор, думал я, не мог похвалиться победами в кружке сектантов потому, что не умел взяться за дело, у него силенок и философского багажа («начитанности») не хватило. Я ему покажу, как нужно бороться с сектантской казуистикой. Споры с сектантами не чета спорам с Булгаковым, а я ему ни на вершок не уступил».

Вот с каким самомнением и гордыми мыслями о легкой победе над сектантской метафизикой я стал посещать кружок Семена Петровича. Что же случилось? В кружке этом я бывал много раз вплоть до моего третьего и последнего ареста в 1903 г. Смог ли я похвастаться, что добился большего, чем Виктор? Честно и откровенно скажу: нет! Все диспуты и разговоры сконцентрировались, в конце концов, около двух-трех важнейших вопросов и сбить с основной позиции, которую в отношении их занимал Семен Петрович, а за ним, как главарем, почти всегда тянулись остальные члены кружка, мне не удалось. В чем же заключалась эта «основная» позиция, какие взгляды противопоставлял нам с Виктором Семен Петрович и в них оказался неразубежденным? Устраняя детали и в конденсированной форме представляя суть споров — прибегну к некоей параллели.

В 1943 г. внук Герцена — E. Monod-Herzen — сын дочери Герцена и давно умершего французского историка Gabriel Monod, презентовал мне сделанный им перевод на французский язык работы большого индусского ученого, биолога, физиолога Jagudis Chander Bose, вышедшей на английском языке под названием «Plant Autographs and their revelations». Я был очень благодарен Monod-Herzen за подарок этой книги. Без этого, веро-

ятно, я бы никогда на нее не набрел, так как давным давно перестал заниматься философией и следить за философскими новинками. Chander Bose не философ-метафизик. Он экспериментирует в лаборатории, он производит опыты, прибегая к разным аппаратам измерения и разным графикам. Его заключения таковы:

«В течение моих работ по общей физике и физиологии, я восторженно видел исчезновение границ, отделяющих мир жизни от неживой материи. Закон реакции распространяется на металлы, растения, животные. Металлы тоже реагируют на воздействие среды, испытывают усталость, могут быть убиты ядами. Между миром неорганической материи и миром животных простирается обширная, молчаливая область жизни растений. Мне удалось немое растение сделать красноречивым хроникером его внутренней жизни, заставляя писать собственную историю. Полученные от самого растения графики, показывают, что нет ни одной жизненной реакции, даже у животного высшего типа, которое бы не проявлялось у растения».

Можно проследить, говорит Bose, идущую от металлов и минералов чрез растения к животному и человеку, восходящую и усложняющуюся линию жизни. Здесь встречаются и перекрещиваются физика, физиология, психология. Барьеры рушатся, растение и животное лишь два аспекта многообразного единства в едином океане существования. «Сущее, — говорит индусская Веда, — едино, хотя мудрецы дают частям его разные названия». «Однако, это еще не рассеивает тайну конечной природы вещей: она делается лишь еще более глубокой. Представляется чудом, что человек, ограниченный со всех сторон несовершенством чувств, способен на корабле его мысли, смело исследовать моря не помеченные ни на одной карте». Кто знает, может быть Bose прав, полагая, что Индия с ее тысячелетним развитием особого строя мысли, скажет в будущем «новое слово» в

научной трактовке идеи единства всех сторон и явлений природы.

Книга Bose открыла дверь в шкаф моей памяти. Всё припомнилось — точно это было вчера. Перепрыгивая чрез 50 лет прошедшей жизни, я перенесся в Киев, в кружок сектантов, собиравшийся в районе Печерска у Семена Петровича на неприглядной уличке, носившей название «Собачья Тропа». Если бы Семен Петрович был жив, ему было бы более 90 лет, и смог познакомиться с книгой Bose, он ухватился бы за нее обеими руками, никогда с ней не расставался. Он не сводил бы глаз с график и описаний Bose, показывающих реакцию растений на проходящие облака, сон и пробуждение мимозы, смерть растений от холода и жары, их болезнь от ранения, явления аналогичного пульсирования у животных и растений, действие наркотиков, хлороформа, эфира, яда на больные и здоровые растения, регулярный плач в час дня мангового дерева, полную аналогию реакции рыбы и растения на действие морфия, стрихнина, яда кобры, явление усталости металлов, действия яда на медь, олово, платину и т. д. Семен Петрович после книги Bose еще с большей уверенностью стал бы повторять то, что он всё время твердил:

— Я же вам говорю, что во всем душа есть, всюду жизнь, всюду сердце бьется. Душа есть у человека, лошади, собаки, птицы, рыбы, дерева, цветочка, самой последней травки. Может быть душа есть и у камушка, только язык ее для нас уже совсем темен.

За это пантеистическое представление о мире, пансихическую космологию, Семен Петрович страстно держался. Излагаясь какими-то торжественными, библейскими словами, она производила на его компанию большое впечатление. Из какого материала и под каким влиянием он ее создал — точно определить трудно. Не знаю, что ему в этом отношении дали Библия и Евангелие, некоторые стороны которых он знал наизусть.

Кое что он заимствовал из сочинений Льва Толстого, но правоверным толстовцем его назвать нельзя. Он осуждал непризнание Толстым материальной стороны цивилизации. В дешевом популярном издании биографии замечательных людей (кажется, Павленкова) он познакомился с описанием жизни Декарта, Лейбница, Паскаля, Ж. Ж. Руссо, Дарвина и думаю, что отсюда с помощью разных упростительных заимствований и изменений, он и создал свою философию. Но допустив, что идея о мировой душе ему была навеяна тем, что он прочитал о «монадологии» у Лейбница (в разговоре он иногда на него указывал) нужно тут же прибавить, что «монада-монад» и все прочие вещи весьма абстрактные, тогда как «мировая душа» в представлении Семена Петровича нечто столь «конкретное», что ее, пожалуй, можно трогать пальцем и по методу Bose измерять разными аппаратами и представлять графиками.

Идея о мировой душе, как совокупности и связи всех существующих в мире душ, связывалась у Семена Петровича с другим кардинальным вопросом: зарождением, появлением, развитием в этой душе или этих душах — совести, называемой им голосом Бога. Я никогда не мог ясно ухватить, почему для утверждения феномена совести ему была нужна — столь страстно защищаемая им идея о мировой душе. Не ясен был и путь от нее к совести. Это было для меня темно, когда я слушал Семена Петровича (моментами его было трудно понять), и еще темнее теперь, так как из памяти выскочили сюда относящиеся рассуждения. Да, по правде сказать, я не очень то и вникал в эти рассуждения, отпихивая их как сектантскую разновидность общих метафизических воззрений. Мне совсем не был чужд, а, наоборот, крайне близок и понятен пантеистический восторг пред красотой природы, выход в этом чувстве из узкой скорлупки «я», слияние «я» с «не-я», с природой. Но это уже, как у Гюйо, — область поэзии, из которой совсем не следует

необходимость распространения на весь мир психических элементов, как это делали, например, Фехнер, Вунд, Паульсен. Мне представлялось это лишь рафинированной формой анимистических взглядов, цепким пережитком познания мира первобытным человеком. Я был убежден, что всё это ни научного, ни практического значения не имеет. В лучшем случае, в этом можно усмотреть потребность обнять, закрепить в мысли многообразие действительности одной монизирующей идеей. В спорах с Семеном Петровичем (и с С. Н. Булгаковым) я силился устранить самую идею о мировой душе, прибегая к книге Э. Тэйлора о первобытной культуре, к аргументам Авенариуса, Маха, Риля, Петцольта, Иодля, Эббингауза и других. Если оставить в стороне неясные стороны мысли Семена Петровича, то ее ход от «мировой души» может быть представлен следующим образом. По мере продвижения от «камушка» к человеку, душа осложняется разными проявлениями, ростом сознательности и ума. Присутствие ума, и здесь можно предположить у Семена Петровича заимствование у Толстого и Паскаля, не есть высшая духовная ценность, высшее благо.

— Ум и у растения есть. Не будь его — не поворачивалось бы оно к солнцу. Ум и у ястреба есть, у жабы, комара, змеи, крокодила. Настоящее достоинство человека не ум, а совесть. Совесть делает человека высшей тварью. Совестливый человек выше и лучше умного. Умный может быть и злым, и вредным. Ум без совести опасен. Ближние могут от него жестоко страдать. Ум гордец. Он говорит: я лучше и выше всех. Ум чуждается равенства и справедливости. А совесть их жаждет, к ним зовет. Совестливый человек влечется к добру, любви, святости. Он жалеет людей, им сочувствует, страдает вместе с ними. Он хочет быть всем братом, утешителем, добрым спутником. Совесть и есть Бог. Поклоняться Богу значит быть совестливым. Бог не

в кадильнице попа, не в иконах, не в церквах, а внутри человека. Умный человек может не иметь Бога, совестливый же его носит в себе. Развитие совести самая важная насущная для человека задача. Только укреплением повсюду совести и будет осуществлено настоящее равенство, всеобщее братство «Царство Божие на земле».

Мы с Виктором тогда считали себя «настоящими», «твердокаменными» марксистами. Умозрение Семена Петровича никак не могло нам нравиться. В крайнем случае на него можно было не обращать внимания, если бы за ним не следовали некоторые политические выводы. Так, соглашаясь с нами, что царское правительство состоит из «злых и бессовестных людей» — и должно быть удалено, Семен Петрович всегда ставил вопрос — *как* его удалить? Он допускал применение забастовок, отказ от уплаты налогов, бойкот, иногда даже сопротивление силою насилию, но вместе с тем явно страшился применения «большого насилия», большого пролития крови, распустившейся в крови ненависти, полного забвения справедливости. Снабжая их своими комментариями, он приводил цитаты из Евангелия, чтобы доказать, что *«большое насилие»* со всем, что с ним связано, может, как он постоянно говорил, *«ущемить совесть»*, совесть умрет, а тогда всё пропадет. Мы отвечали Семену Петровичу, что самодержавие еще не повалено, а он уже боится его повалить. Расходясь с психологией всего кружка сектантов, мы с Виктором не боялись насилия, мысленно шли на него с подъемом, считая неизбежной, всецело оправдываемой необходимостью. Ставка на насилие почиталась доказательством нашей воли бороться за идеал. Было еще и другое, очень серьезное, что нас противопоставляло Семену Петровичу. Для нас уничтожение царизма, а за ним установление в будущем, далекого, в то же время душевно нам чрезвычайно близкого, социалистического строя — было абсолютным

благом. Для Семена Петровича — это благо условное, обставленное многими «если», сомнениями, оговорками.

— Всё зависит от того, — говорил он, — насколько разовьется и укрепится в людях совесть. Царь и его министры могут быть уволены, на их место встанут люди новые, но если они будут «злыми», больших перемен ожидать нельзя. В меха новые будет влито вино старое. Останутся и несправедливость, и неравенство, и ненависть, и притеснения. Законы на бумаге могут быть хорошими, в действительности же в руках злых исполнителей они окажутся плохими. Так и социализм. Он будет Царством Божьим на земле только в том случае, если люди будут добрые и совестливые. А если они будут злые без совести — ничего хорошего не получится.

При всей симпатии и уважении к Семену Петровичу мы находили в его рассуждениях реакционный душок, склонность к толстовству и палили по всему этому из всех наших социалистических пушек. Мы доказывали, что из рук палача жертву вырывают не проповедью, а силою. Роса очи выест, пока будем ждать, чтобы все стали «совестливыми» в той степени, в какой этого хотел Семен Петрович. Общественное зло не уничтожается экзерсисами нравственного самоусовершенствования. Если люди «злые», полны пороков, смотрят друг на друга волками — причина в порочности основ общественно-экономической организации. «Не среда зависит от человека, а человек от среды». Только изменение среды, т. е. политических, социальных, экономических условий, создаст массовое появление тех «добрых» и «совестливых» людей, о которых мечтает Семен Петрович.

Для показа какую, благодарную почву для будущего расцвета людей дает строй, где уничтожена частная собственность, Виктор очень любил пользоваться картинами из книги Бебеля «Женщина и Социализм». Она вышла в 1875 г., была переведена чуть ли не на все языки, но не было перевода ее на русский язык и мы с Виктором мно-

го ночей сидели, извлекая из нее с помощью немецко-русского словаря наиболее прельщающие картины. Опираясь на авторитет Бебеля, — Виктор поучал сектантов, что раз частная собственность уничтожена, немедленно пропадает деление общества на классы, нет ни богатых, ни бедных, нет насилия государства, все свободны, равны, материально обеспечены. Социализация средств производства создает новые небеса и новую землю, она настолько изменяет человеческую натуру, что бедствия, зло и пороки прежней жизни будут казаться «мифом». Из Киевских пропагандистов того времени, кажется, лучше всех эту веру излагала Катя Рерих. Недаром же рабочий Иван о ней говорил: «Когда Катя рассказывает нам о социалистическом строе, глаза ее как звезды светятся и все о чем она говорит так прекрасно, что я чувствую себя в раю». Если бы Кате в то время предложить вопрос — будут ли в социалистическом обществе кошки есть мышей, а петухи драться, она наверное, ответила бы — нет!

Вера в рай социализма, а он всегда и прежде всего представлялся именно как социализация всех средств производства и уничтожение частной собственности, укреплялось у нас еще и верой, что рабочий класс — строитель будущего строя — обладает в отличие от других классов моральными качествами высочайшей ценности. Ему присуще чувство справедливости, самопожертвования для общего блага, отсутствие эгоизма и национализма, высокая степень солидарности со всеми угнетенными, глубокое уважение личности, жажда равенства, свободы, знания. Эти имманентные качества рабочего класса при строительстве социализма должны вспыхнуть и развиться с утроенной силой и потому опасения Семена Петровича, что в строе, уничтожившем частную собственность, может быть господство каких то «злых» и «бессовестных» людей — является недоверием к прогрессу, к миссии рабочего класса. Подбором раз-

личных фактов я доказывал, что уже тысячу пятьсот лет история свидетельствует о непрекращающемся в мире прогрессе и нет никаких данных не верить в его продолжение. Нужно только понять, что ведущая сила руководства прогрессом ныне выпадает из рук прежде господствующих классов и переходит к рабочему классу.

К великому сожалению, а к нему примешивалось разочарование и досада, мои картины и «философские» аргументы не находили у Семена Петровича отклика, на который я рассчитывал. Струны его души они не задевали. С. Н. Булгакову не удалось меня совлечь в его веру, а мне, как и Виктору, не удалось поколебать мировоззрение киевского сектанта, к удовольствию Булгакова, интересовавшегося нашими хождениями к сектантам и в неуспехе «материалистической» пропаганды видевшего радующий его факт. Часто, не находя возражений, Семен Петрович замолкал, мягко и вежливо давая понять, что от взглядов своих он всё-таки отказаться не может. В ответ на указание, что рабочий класс носитель высших моральных начал, Семен Петрович говорил, что он сам издавна рабочий и родители его были тоже рабочие и ему весьма приятно слушать то хорошее, что мы говорили о рабочем классе.

— За вашу веру в рабочих я и мои компаньоны, — говорил он, — конечно, должны вас благодарить. Только, позвольте заметить, очень вы снисходительны к нашему брату, вы ошибку делаете. Всё зависит от добротности человека, от его совести, а не от того, что он рабочий, т. е. работает молотком, кочегаром или как я — рубанком и пилой. Молотком он может работать, а совести у него может и не быть. Неправильно и даже вредно думать, что Божий дар принадлежит только рабочим. Если бы рабочие так возомнили о себе, сказали бы — мы лучше и выше всех, — у них развелась бы гордость непомерная, а она к доброму никогда не ведет.

Развивая свою мысль, Семен Петрович, обычно еди-

нодушно поддерживаемый своими компаньонами, приводил различные факты из жизни ему знакомых рабочих и все они, по его мнению, должны были свидетельствовать, что вопрос о морали отнюдь не связывается с принадлежностью к классу рабочих, что иной купец, дворянин, фабрикант, может носить в своей душе Бога, совести, больше, чем сотни рабочих. Я указывал Семену Петровичу, что его рассуждения не подымают рабочих, не дают им воодушевляющего стимула выпрямиться и выполнить благородную миссию, вручаемую им историей. «Пусть, говорил я, с рабочих много спрашивают, но пусть у них будет уверенность в себе, вера в то, что им и много дано». Как раз с этим и не соглашался Семен Петрович. «Если вы будете внушать рабочим, что им много дано, вы будете укреплять их гордость. Равенства при такой гордости вы не получите. Гордец никогда не хочет служить своим ближним, а всегда ими командовать, над ними возвышаться».

Словом, никакого согласия в этом вопросе у нас не было, да и методы подхода к нему были совершенно различны: морализирование сталкивалось с «политикой». Не было согласия и в других вопросах. Формулируя не темноватыми выражениями Семена Петровича, а ясным языком коренную суть нашего разномыслия, ее можно свести к совершенно различным ответам на следующие проблемы:

Обеспечен ли человечеству дальнейший безостановочный, хотя бы и постепенный прогресс?

Мы — Виктор и я — отвечали: безусловно! Семен Петрович с этим не соглашался: всё зависит от увеличения числа добрых и уменьшения числа злых людей.

Для осуществления действительного прогресса и построения социализма, что важнее, что стоит и должно стоять на первом месте?

Конечно, преобразование общественной среды — говорили мы. Создание нравственного, совестливого че-

ловека — возражал (вслед за очень многими) Семен Петрович.

Вот о каких вопросах без устали и с большой страстью мы спорили. А кто эти «мы»? Два студента механического факультета Политехнического Института, столяр Семен Петрович, повар из какого-то ресторана, маленький служащий казенного винного склада и два рабочих. Профессию, да и физический облик их забыл. Они совершенно исчезли из памяти, заслоненные большой фигурой Семена Петровича. Но не те ли вопросы волновали и профессора политической экономии С. Н. Булгакова, в будущем «отца Сергия»? Не он ли в статье в сборнике «Проблемы идеализма» (1902 г.), уходя от веры ««в безличного идола прогресса», писал, что «история есть живая риза абсолюта» и верою в добрые намерения Божества хотел опереть веру в прогресс? Теперь, почти полстолетия спустя, с очень смешанным чувством вижу, что наш корявый спор с Семеном Петровичем на Собачьей Тропе в Киеве приобрел *вещий* характер. Виктор и я, как все социалисты, абсолютно не допускали возможности, что в обстановке священного, на благо рассчитанного, акта уничтожения частной собственности, «социализации всех средств и орудий производства» может возникнуть господство «злых и бессовестных людей», превращающих теоретический рай в кошмарный ад. Эпигоны Ленина это зловеще доказали. Относительно этого сектант-столяр оказался правым, более дальновидным и более зрячим, чем мы. В этом вопросе ему нужно уступить, но в другом вопросе я остаюсь при старой студенческой вере: господство «злых и бессовестных людей», например, тех, что засели в Кремле, может быть свергнуто, уничтожено не проповедью, а только силою...

СТОЛКНОВЕНИЕ С ПЛЕХАНОВЫМ. ПЕРВАЯ СТЫЧКА С ЛЕНИНЫМ

Вскоре по приезде в Женеву я познакомился с В. Д. Бонч-Бруевичем. Сейчас он один из немногих старых большевиков, «не ликвидированных» Сталиным[31]. Он был тогда редактором «Рассвета» — ежемесячного журнала, выпускаемого по решению партийного съезда для пропаганды среди сектантов. Позднее Ленин и многие другие ставили на вид Бончу невыдержанное ведение журнала и в конце 1904 г. он перестал выходить. Лично мне казалось, что лучшего редактора для такого специального журнала не найти. Бонч превосходно знал все сектантские течения России. Подобно палеонтологу, рассматривающему остатки вымерших животных или ботанику, исследующему под микроскопом строение растений, Бонч как бы с лупой анализировал разные формы и содержания сектантской мысли, классифицировал их по отделам, подъотделам, ища за туманными схоластическими религиозными выражениями политический и социальный смысл. Весьма возможно, даже наверное, его экзерсисы мне покажутся сейчас грубыми. Тогда я этого

---

[31] После октябрьской революции до 1920 г. Бонч-Бруевич был управляющим делами Совета Народных Комиссаров. Попав за некоторые проступки в немилость Ленина — долгие годы был в тени. При Сталине его положение улучшается. Он делается директором Государственного Литературного музея, а с 1946 г. директором Музея истории религии при Академии Наук. С 1951 г. звезда его снова меркнет.

не чувствовал: его классификации сектантского движения для меня были новы. К тому же плотная, «хозяйственная» купеческая фигура бородатого Бонча, сильно отличавшаяся от обычного вида «марксистов», — мне была симпатична, как и его супруга В. М. Величкина, которой, с каким то подчеркнутым почтением, он говорил не «ты», а «вы». Кроме симпатии было и чувство благодарности: благодаря Бончу я, в течение некоторого времени, имел небольшую платную работу в экспедиции «Искры». Моим рассказом о киевском кружке сектантов и о Семене Петровиче Бонч живо заинтересовался.

— Батенька, да об этом непременно надо писать! Даю вам в «Рассвете» место на три большие статьи. В первой вводной обязательно дайте общий анализ сектантского движения во всем югозападном крае, а потом во второй и третьей покажите ложность и казуистику сектантских вопросов и разверните картину ваших споров с Семеном Петровичем.

— Кроме кружка Семена Петровича я других сектантов не знаю. Я не могу дать что-либо существенное о сектантском движении во всем крае.

— Я вам дам материал. Без вводной статьи нельзя обойтись.

Эта первая «вводная» статья, написанная в конце января появилась в мартовском номере «Рассвета» (за 1904 г.). Хотя у меня уже была, данная Лениным, партийная кличка «Самсонов», я подписал ее — «Н. Нилов», а Бонч сделал к ней следующее примечание:

«Тов. Н. Ниловым обещаны три статьи по вопросу о революционной работе среди сектантов. Эти письма нам особенно дороги как плод непосредственной работы нашего товарища среди сектантов».

Не так давно мне удалось отыскать «Рассвет» с моей статьей в парижской «Bibliothèque de la documenta-

tion internationale contemporaire», обладающей самым богатым в Европе отделом русской революционной литературы. От статьи и всей ее ортодоксии, как от невыносимо кислого яблока, буквально скулы свело. Она столь неряшливо и плохо написана, что могла бы сейчас быть помещенной в любом советском органе. Кончая ее, я указал, что сектанты копаются в таких вопросах, которые от пропагандиста, имеющего с ними дело, требуют известной философской подготовки и в следующих статьях я обрисую с какими специфическими вопросами пришлось встретиться в киевском кружке сектантов. В отличие от первой «вводной» статьи, написанной наспех без необходимого материала и знания, я много работал над двумя другими. Для них был живой материал, память сохраняла даже малейшие детали споров, что полгода пред этим пришлось вести с Семеном Петровичем и его товарищами. Статьи были написаны, но в печати не появились. Они оказались косвенными виновницами моего столкновения с Г. В. Плехановым, а в связи с этим столкновением большим и неприятным спором с Лениным, первой стычкой с ним, которой уже намечались причины моего будущего ухода от большевизма. Со статьями, принесенными Бончу в середине февраля, произошла следующая история. Прочитав их, Бонч поморщился.

— Во-первых, очень велики, а во-вторых, вы слишлом много в них напустили философии. Их придется послать на отзыв Плеханову.

Плеханов был официальным философом партии, высшим блюстителем ее ортодоксальной теоретической чистоты. По статуту партии «Рассвет» был подчинен центральному органу партии — «Искре», а она с ноября 1903 г., после ухода из редакции Ленина, стала «меньшевистской». Большевик Бонч опасался, что в случае присутствия в моих статьях каких-либо философских «ересей», — «Искра» придерется к ним, чтобы показать

какие плохие марксисты находятся среди идущих за Лениным лиц. Исходя из этих соображений, статьи «товарища Нилова» с некоторыми сведениями обо мне — Бонч-Бруевич и послал для «цензуры» Плеханову. Тот держал статьи долго, а потом (в начале марта) прислал Бончу следующую записку:

«Присланные вами статьи заслуживают внимания. Их автор видимо занимался философией. Пошлите этого человека ко мне. Пусть придет в такой-то день и час».

Выражение «пошлите этого человека ко мне» — сильно меня покоробило. Вместо ««человека» было бы приличнее поставить «товарища». Всё же было приятно, что Плеханов усмотрел в статьях следы изучения философии. Я действительно ею много занимался и не один год, и историю философских систем знал лучше чем, например, историю революционного движения. Визит к Плеханову, возможность с ним познакомиться, мне представлялись делом очень интересным. В глазах русских социал-демократов он считался одной из выдающихся голов Социалистического Интернационала. В то время у нас, точнее сказать, в некоторой части молодых социал-демократов, «акции», например, Гэда и Лафарга котировались очень невысоко. Мой коллега по Киевскому комитету партии Н. Ф. Пономарев даже находил, что пропагандистов масштаба Гэда и Лафарга можно найти в любом подпольном российском комитете, что может быть и не было так далеко от истины. Жореса мы знали очень поверхностно и так как он не был «ортодоксом» к нему не прислушивались. Фигура Вандервельда, начинавшего свою политическую карьеру, была неясна. Бернштейна — библейского змия, соблазнявшего революционных Адамов и Ев впасть в буржуазно-ревизионистское грехопадение, опасались. Кто же тогда оставался на самом верху? Только трое: Бебель, Каутский и Плеханов, при чем самым левым из них, о чем говорила его яростная критика Бернштейна, считался Плеханов. «Левизна»

сильно соблазняла, но сама личность Плеханова, носителя этой левизны, меня не притягивала. В неизмеримо большей степени меня интересовал Ленин. Происходило это от того, что, в отличие от предыдущего, старшего, «выпуска» социал-демократов — Ленина, Мартова, Старовера, Дана, — если называть только этих, входивших в марксизм при сильном влиянии на них Плеханова, для последующего выпуска он уже не всегда играл роль Иоанна Крестителя. Ввод в марксизм многих, в том числе и меня, происходил вне преобладающего влияния Плеханова. Я уже сказал, что с марксизмом в конце 1897 г. я стал знакомиться в Петербурге при посредстве М. И. Туган-Барановского и у меня никогда не было ни того поклонения пред Плехановым, ни той влюбленности в него, которые так характерны в девяностых годах для старшего выпуска социал-демократов.

Я не считал его своим учителем и по другой причине. Утолить жажду, иметь не «взгляды», а «цельное», отвечающее на все вопросы мировоззрение представлялось невозможным без помощи философии, а даже самое первичное знакомство с нею в виде «Критики чистого разума» Канта, «Истории материализма» Ланге, истории философии Льюиса, Вундта, логики Милля, вело к полной неудовлетворенности тем, что о философских проблемах писал Плеханов. Его книга на немецком языке о материализме (я получил ее от Туган-Барановского) с подавляющим влиянием на него мыслителей XVIII века — Гольбаха, Гельвеция, Ламеттри — отшатнула своей чурбанностью. Большие и тонкие проблемы философии исчезали из его горизонта. Нельзя было отделаться от недоумения: как может большой и остроумный писатель иметь такую малюсенькую философию? Я тогда же решил, что если бы не было другого выбора, а только: Плеханов или, как говорилось, «вульгарный Бюхнер», выбор пал бы на последнего. В его «Силе и материи» есть по крайней мере система, а не обрывки неясных,

несогласованных положений, с излишком высокомерия бросавшихся Плехановым. Отталкивание от его философии привело к тому, что его книга «К вопросу о монистическом взгляде на историю» (1895 г.), считавшаяся самым блестящим его произведением и увлекавшая других, не вызвала во мне никакого восхищения, оставила холодным. Когда я как-то сказал об этом Крупской, та от удивления рот раскрыла. Она увидела в этом мою неспособность понимать вещи высокой ценности. Она сказала об этом Ленину, у которого это вызвало такое же удивление.

Большое чувство неудовлетворенности оставлял у меня Плеханов и своим решением вопроса о роли личности в истории, а этот вопрос в то время особенно интересовал, я бы сказал — *даже мучил.* П. Б. Струве в период наибольшего приятия им марксизма, объявил, что на весах истории с точки зрения социологической, личность, в сущности, quantité nagligeable. Плеханов опровергал такой взгляд. Он доказывал, что значение личности и тех, кого он называл «начинателями» (среди них он мыслил, конечно, самого себя) весьма значительно, но только тогда, когда личность отдает себе отчет в продиктованном *необходимостью* ходе исторического процесса, становится «сознательным выразителем и орудием бессознательного процесса». «Свобода, восклицал Плеханов, вслед за Шеллингом, есть осознанная необходимость». Всё это было очень гладко написано, но в первые годы знакомства с марксизмом порождало у меня чувство какой-то тоски, тяжелой придавленности: воздуха нет, потолок давит, хочется отсюда выйти скорее. «Торжество социалистических идеалов, — пояснял Плеханов, — предполагает как свое необходимое условие независимый от воли социалистов ход экономического развития общества». Неужели всегда от их воли независимый и в какой степени независимый? Споры и разговоры о том приходилось вести и в Петербурге в

1898 г., и в Уфе в 1899 г. (с народником Ольшевским), и в Киеве. Если ход развития общества от социалистов не зависит, в таком случае — они пятая спица в колеснице? В молодые годы, когда брызжет энергия, роль пятой спицы особенно претит. По этой причине и была так симпатична книга Ленина «Что делать», проникнутая буйным волюнтаризмом, провозглашавшая: «дайте нам организацию и мы перевернем Россию».

Не могу не вспомнить жаркую полемику по поводу формул Плеханова весной 1902 г. в киевской тюрьме. Ее пришлось вести с социалистами-революционерами — соседями по камере. Они доказывали, что в мировоззрение марксизма, в том виде в каком его проповедует именно Плеханов, введен фаталистический элемент, принижающий роль личности, сковывающий ее волю. Пылкий социалист-революционер Н. И. Блинов, трагически погибший во время еврейского погрома в 1905 г., был всегда зачинщиком споров на эту тему. Поддерживая престиж Плеханова, я всегда возражал Блинову, главным образом из партийного упрямства. «Признаете ли вы, спрашивал Блинов, огромную роль во французской революции Робеспьера»? «Конечно, признаю». «Признаете ли вы, это уже совсем в другой области, роль таких гигантов как Леонардо-да-Винчи, Микель Анджело, Рафаэль»? Имена были слишком громки, чтобы и без большого знания о творчестве этих лиц и их роли в истории искусства, не сказать: «Конечно, признаю». «А если так, — торжествовал Блинов, — отрекайтесь скорее от идей Плеханова, своими ответами вы уже показали, что их не разделяете». В подтверждение он приводил следующие цитаты из статьи Плеханова «Роль личности в истории», под псевдонимом Кирсанова, напечатанной в 1899 г. в журнале «Научное Обозрение».

«Если бы случайный удар кирпичом убил Робеспьера, его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим и хотя бы этот другой был ниже его во всех

смыслах, события пошли бы в том самом направлении, в каком шли при Робеспьере», — писал Плеханов.

В таком случае, что такое Робеспьер? Пятая спица в колеснице. У колесницы ход «независимый» от всех Робеспьеров. А вот другая цитата.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его осталось бы то же».

В формулах Плеханова был какой-то экивок, что-то ложное, против чего прежде всего протестовал темперамент. Доводя аргументы Плеханова до нашего времени нужно сказать, что если какие-нибудь «механические и физиологические» причины убили бы Ленина в 1903 г., Сталина в 1916 г., Гитлера в 1918 г. дальнейший ход событий был бы и без них совершенно таким же, двигался бы в том же направлении, как и при этих личностях. Согласиться с таким взглядом *невозможно*.

Было кое-что и другое, что не притягивало к Плеханову. Он был талантливым человеком, но большой ум его был холодным, смотрящим на мир чрез черствые рационалистические схемы. Свойственного нам молодым социалистам энтузиазма, восторженности, преклонения пред идеей, образом, даже словом — социализм, Плеханов, в том можно быть уверенным, совсем не испытывал. Социализм был для нас чем-то очень хорошим, теплым, светлым, красивым и за эти качества желаемым. Социализм — освобождение, возрождение человечества под ласкающими лучами солнца гуманизма. Мы непрестанно ездили верхом на «экономическом факторе», но «экономика» была как бы некрасовской скатертью-самобранкой, ладьей, чудесно выносящей фрез капитализм, чрез мрачное море неравенства, бедствий, эксплуатации на лазурный берег будущего строя. Для нас социализм

выражался глаголами sollen, wünshen. Для Плеханова он был не столько «долженствованием», сколько «исторической необходимостью». «Последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала как на дело *исторической необходимости»*. *«Социалист служит одним из орудий этой необходимости»*. Что бы ни происходило в капиталистическом обществе, оно неизбежно, с железной необходимостью, будет замещено социалистическим строем. Это своего рода фаталистический механизм и мне казалось, что у Плеханова его было неизмеримо больше, чем у Маркса и на много больше, чем у Ф. Энгельса. По Плеханову, вне зависимости от того, что делает или не делает личность, социализм неотвратимый финал экономического развития современного общества. Присущие ему жестокие противоречия и классовая борьба неизбежно должны окончиться диктатурой пролетариата и социализацией средств и орудий производства. А дальше что? Это Плеханова не интересовало. «В социалистическом строе, — заявил он однажды Крупской (в 1901 г.), — будет смертельная скука: в нем не будет борьбы». Бедная Крупская от слов Плеханова чуть было не упала в обморок...

Таковы доводы, чувства, предубеждения издавна, с первых годов знакомства с марксизмом, не делавшие меня поклонником Плеханова. Однако, познакомиться с ним, повторяю, я очень хотел и в назначенный им день и час, точно, без минуты промедления, явился к нему. Меня ввели в большую темноватую комнату и попросили подождать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Было слышно где-то стукание посуды и передвигание стульев, а потом гробовая тишина. Проходит двадцать, двадцать пять минут. Я начал от нетерпения ёрзать на стуле. Чтобы напомнить о себе — кашляю и громко сморкаюсь. Тишина. Проходит тридцать минут и я решаю: буду медленно считать до 30, а после этого открою

дверь и уйду. Как раз в этот момент и появился Плеханов.

Я видел его впервые. Бросились в глаза густые, сросшиеся брови, имевшие, как у одного персонажа Мопассана «l'air d'une paire de moustaches placés là par erreur». Бросился в глаза особый, «натянутый» облик Плеханова. Он учился в военном училище, потом в юнкерском училище, и по словам Л. Г. Дейча, его старого товарища, стремился всегда сохранить военную выправку. Его не славянское, а скорее восточного типа лицо — грузина, осетина, узбека (в самой фамилии Пле-хан нечто татарское) ошеломило меня сходством с человеком, которого я хорошо знал. С кем? Георгий Валентинович Плеханов был удивительно похож на своего брата — Григория Валентиновича Плеханова — полицейского исправника. Вот судьба! Один брат — революционер и выдающийся член Социалистического Интернационала, другой — полицейский чин, обязанный охранять царское самодержавие от посягательств революции, руководимой его братом. Отец Плеханова, о чем я узнал позднее, был женат два раза, второй раз на Белинской, отдаленной родственнице знаменитого Виссариона Григорьевича Белинского. Георгий и Григорий Валентиновичи родились от второго брака. Кто из них был старше — не знаю. Сходство их внешнего облика, повторяю, было поразительным. Главное отличие, пожалуй, в том, что Григорий Валентинович был ростом выше и всегда носил пенснэ. Плеханова-исправника я знал очень хорошо. Свой пост он занимал в городе Моршанске, Тамбовской губернии, где жили мои родные, где я вырос и учился в реальном училище. В той же губернии, недалеко от города Липецка, в деревне Гудаловке, в помещичьей семье, родился 25 ноября 1851 г. и Георгий Валентинович Плеханов — «отец русского марксизма», с произведением которого в начале 1889 г., как он сам мне сказал, впервые познакомился 19-летний Ленин-Ульянов.

Исправника Плеханова ни в коем случае нельзя было занести в галлерею полицейских держиморд, описанных Щедриным. Правда, вид у него был важный и суровый, он горделиво носил военный мундир (и почему-то шпоры!), но по натуре своей был очень мягок, как говорится, не мог и мухи убить. Мой отец — в то время уездный предводитель дворянства, — всех и вся ругавший и презиравший, находил, что Плеханов относится к своим полицейским обязанностям с недопустимой халатностью. «Я даже допускаю, сказал он однажды, что сей вояка, бренчающий шпорами, находится в нежной переписке со своим братцем, который в Женеве крутит революцию». Так я узнал, что у нашего милейшего исправника есть опасный брат. И вот что в связи с этим я припоминаю. Это было в одно из воскресений весною, вероятно, в 1895 г. В такие дни вечером городской сад Моршанска с цветущей сиренью наполнялся обывателями, важно и солидно топтавшихся по главной аллее, длиною не больше трехсот метров. Из ресторана при саде оглушительно пахло жареными цыплятами и пирожками, а в павильоне военный духовой оркестр без устали трубил «Невозвратное время» и другие вальсы. Я сидел на скамейке против памятника основательницы города «матушки царицы Екатерины Великой». Плеханов, прогуливаясь, увидев на скамейке незанятое место, сел рядом со мною. Он приходил к нам довольно часто играть в винт с моим отцом и, конечно, знал меня. О чем он меня спрашивал, с чего начался разговор — совершенно не помню, только у меня «спонтанно» вырвалась такая фраза:

— Григорий Валентинович, а ведь если придет революция, памятник царицы наверное повалят. Во время французской революции выбросили вон даже гробы королей». — И чтобы «легализировать» мою фразу, я тут же прибавил:

— О таком безобразии нам на-днях подробно рассказывал В. Д. Дейнеко (учитель истории).

Плеханов покосился на меня с видом полного удивления.

— Что за охота пустяки говорить! Если придет революция? Да, она никогда не придет. В России не может быть революции. Она не Франция.

Плеханов говорил то самое, что вечно твердил мой отец, что в «Новом Времени», самом влиятельном органе 90-х годов весьма образно вещал его издатель — Суворин: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте Петербурга огнедыдащего вулкана, чем в возможность революции в России».

Если бы Суворин дожил до 1917 г., он смог бы увидеть ««вулкан» революции и Ленина, произносящего «огнедышащие» речи с балкона дворца балерины Кшесинской именно на Каменноостровском проспекте.

Не знаю, какой чорт меня толкал, но после реплики Плеханова, я спросил его:

— А ваш брат попрежнему живет в Женеве?

Не ожидал, что сей вопрос может произвести такой эффект. По лицу Плеханова пробежали смущение, даже страх. Думаю, что он никак не предполагал, что кто-нибудь знает (а если знаю я, то уже наверное знает мой отец и другие), что у него, исправника, такая политически его компрометирующая родня. Он поднялся со скамейки, выпрямился и совершенно так же, как во время публичных речей это делал Плеханов — женевский, деланно, неестественно, топнул ногой:

— У меня нет брата!

Быстро отошел от меня и больше разговоров со мною уже никогда не вел. Я ввожу в мои воспоминания эту историю с исправником Плехановым не потому, что одолеваем неудержимым желанием болтать, погружаясь в прошлое. Она мне понадобится в дальнейшем, когда буду говорить об одном письме Ленина в редакцию «Искры», о каррикатуре, нарисованной Лепешинским и

«скандальном» выступлении «Нилова», инспирированном Лениным.

И вот девять лет спустя после описанной сцены с Плехановым-Моршанским, я стоял пред его братом — Плехановым-Женевским. Потому ли, что он был болен, в скверном настроении, чем-нибудь раздражен или просто потерял желание говорить о философии и пропаганде среди сектантов с каким-то Ниловым, посланным большевиком Бончем, Плеханов принял меня более чем холодно. Он не извинился, что заставил так долго ждать его «выхода», а, подойдя ко мне, передал мою рукопись и сказал:

— Вы правильно анализируете схоластику сектантов и правильно отвечаете на их мнимофилософские и всякие другие вопросы. Тут, как и во всем другом, только материализм и марксова диалектика дают в руки действительное оружие.

«Аудиенция» на этом была окончена. Приглашения сесть и побеседовать я не получил. А так как мое самолюбие было задето и долгим ожиданием, и ледяным приемом, я почувствовал острое желание пред уходом сказать в отместку Плеханову что-нибудь неприятное, такое, что должно было ему казаться вызывающей дерзостью. Холодным тоном, выражая ему благодарность за признание «правильности» моего анализа, я сказал, что «почитаю своим долгом» заметить, что в этом анализе философский материализм никакой роли не играл. «От этого материализма я окончательно ушел уже несколько лет и теперь убежден, что для экономической доктрины Маркса и его социологии, так называемого, материалистического понимания истории, отнюдь не обязанного быть связанным с философским материализмом, гораздо лучшую гносеологическую основу дает эмпириокритическая философия Авенариуса и Маха». Как и нужно было ожидать, такой наглости Г. В. Плеханов

перенести не мог. Не он ли доказывал, что социология Маркса предполагает и органически связана с философским материализмом в его Плеханова понимании? Когда Плеханов услышал мое «наглое» отрицание этой истины, его брови, усы угрожающе поднялись чуть ли не до половины лба.

— Авенариус? Мах?

— Извлекая из подвалов буржуазной мысли этих птиц, вы хотите с помощью их «исправить» марксизм? — грозно спросил он.

— Почему же непременно из подвалов и почему буржуазных?

— Ну, знаете ли это легко понять даже при самом небольшом напряжении мысли. Видите ли, знающие люди считают, что на верху философской мысли стоят такие умы, как Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Фейербах, французские материалисты, среди них ваших птиц нет. Значит, раз они существуют, то, нужно полагать, обретаются в какой-то более низкой, вероятно, очень низкой атмосфере. Я и назвал ее подвальной. А что же касается их буржуазности, ничто не должно вам мешать догадаться, что я знаю всех философов по духу, по направлению мысли, связанных с революционным учением Маркса и Энгельса. Смею вас уверить, что среди них ваших птиц нет. Они существуют вне всякого касательства к марксизму. А вне — это значит в атмосфере буржуазной идеологии.

— Из ваших слов я могу заключить, что с философией ни Авенариуса, ни Маха вы не успели еще ознакомиться?

— Не успел и всё как будто говорит, что я не смогу вам обещать знакомства с вашими птицами. Я занят по горло партийной и литературной работой. Я не имею времени, ни права заниматься пустяками, брать-

ся за чтение того, что иным людям по молодости, по недостатку опыта и знаний может казаться каким-то новым откровением, а в действительности является перепевом хорошо мне знакомых заблуждений.

Тон Плеханова (я со стенографической точностью передаю его слова, в свое время они были мною записаны) становился всё более и более дерзким. В свою очередь раздражаясь, я пустил в него «пульку», которой уже пользовался в аналогичных спорах.

— Итак, вы не читали ни Авенариуса, ни Маха. Вы просто их не знаете. Вы сами это признаете, что не мешает вам их критиковать и налепливать на них этикетку: «буржуазные подвалы». По этому поводу мне вспоминаются слова Гейне: «Писателя Ауффенберга я не знаю, полагаю, что он вроде Арленкура, которого я тоже не знаю».

Плеханов очень внимательно посмотрел на меня, скрестил руки и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Отвечу вам кратко. Вашего Ауффенберга я потому испытываю весьма малое желание знать, что очень хорошо знаю его духовных предков, его мамашу, которая, сражаясь с материализмом, философски обслуживает классовые интересы буржуазии. Какие у этой ведьмы и ее потомков глаза — красные, желтые или белые, меня абсолютно не интересует. С меня достаточно знать, что это порода ведьм. На этом и окончим наш разговор. Жаль, что у меня не было времени более внимательно ознакомиться с вашей рукописью. Стоило бы проследить, не сказалось ли где-нибудь в ней буржуазное влияние вашего философа, как бишь его — Ауффенберга.

Мне оставалось раскланяться и выкатиться кубарем из квартиры Плеханова. Я отправился к Бонч-Бруевичу, который сердито накинулся на меня, когда я рассказал ему происшедшее.

— Чорт вас дергал за язык! К чему это было злить

Плеханова, подсовывая ему каких-то философов! Теперь, поверьте мне, он возьмет вас на мушку, он непременно найдет в ваших статьях какие-нибудь вредные ереси. Я уверен, что на этой почве у нас могут быть неприятности.

Причинять неприятности редакции «Рассвета», т. е. Бонч-Бруевичу, я менее чем кто-либо хотел. Сразу кончая с разговорами на эту тему, я взял мою рукопись и на глазах Бонча порвал ее на мелкие клочки. Рвал по-глупому, с остервенением, досадой, раздражением. Бонч меня еще раз ругнул, но, думаю, этим концом остался доволен.

На другой день, придя к Ленину я, разумеется, рассказал о моем визите к Плеханову. Плеханов ему импонировал как никто другой, больше чем Каутский, больше чем Бебель. Всё, что тот говорил, делал, писал — его крайне интересовало. Он превращался в одно внимание, когда речь заходила о Плеханове. «Это человек колоссального роста, перед ним приходится съеживаться», — сказал он Лепешинскому. Пришлось рассказать из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Я должен был эту историю представить с самого ее начала, т. е. с описания киевского кружка сектантов, роли в нем Семена Петровича, его идей. Помню, что Ленин, засунув большие пальцы за борта жилетки около подмышек, — стоял около меня (я сидел) и слушал с явным любопытством. По поводу веры Семена Петровича, его деления людей на «злых» и «совестливых», возможности построить социализм только руками «справедливых людей» — Ленин что-то говорил. Припомнить его слова было бы сейчас не плохо. Я их не помню и думаю, особенно при отвращении Ленина ко всему морализированию, что его замечания по этому вопросу ничего особо интересного не содержали. Будь иначе, я их бы, наверное, запомнил. Наоборот, память превосходно сохранила то, что затем говорил Ленин, ибо тут обнаружилось мое первое с ним

разномыслие, воспринятое мною с большой тревогой и неприятностью. Из него вытекало, что, несмотря на признание Ленина большим человеком, очень большую к нему симпатию, желание идти за ним и вместе с ним — есть весьма важные вопросы, отношение к которым Ленина меня отвращает. Я увидел, что как бы ни было в области партийной враждебно его отношение к Плеханову, Ленин незамедлительно, без колебаний, встал на его сторону в области философии, при том в форме, произведшей на меня тяжкое впечатление.

— Вы заявили Плеханову, что материализм нужно заменить какой-то разновидностью буржуазной философии. Но ведь это вздор, вреднейший вздор! Плеханов трижды прав, дав вам немедленно отпор. Не нужно смешивать Плеханова, заседающего в компании оппортунистов в редакции новой «Искры», с Плехановым после смерти Энгельса, лучшим знатоком и лучшим комментатором марксистской философии. Несколькими фразами он вас отхлестал и поделом! В этих вопросах у него нюх острейший. А я не знал — это для меня большая новость, — что и у вас склонность исправлять Маркса.

— Позвольте заметить, что Плеханов назвал теорию познания Авенариуса и Маха подвалом буржуазной мысли, даже не потрудившись с нею познакомиться, даже не прочитав ни одной их строки. Такое отношение к чужой и научной мысли меня возмущает. Это — Шемякин суд.

— Во-первых, не думаю, что Плеханов не знает ваших философов. За философией он следит. А если он вам сказал, что их не знает, вероятно, потому, чтобы подчеркнуть свое презрение к ним. Во-вторых, напрасно возмущаетесь. Мы теперь превосходно знаем, к чему ведут пробы соединения Маркса с чуждыми его духу теориями. Это наглядно показывает Бернштейн, а у нас

хотя бы Струве и Булгаков. Струве от поправляемого им марксизма быстро скатился к самому пошлому вонючему либерализму, а Булгаков катится еще в более мерзкую яму. Марксизм — монолитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжижали, опошляли разными вставочками и приставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: *«Сначала налепим на него бубновый туз, а потом разберемся»*. А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, *нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь*. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера. Когда на своей дороге встречаете зловонную кучу, вам не требуется копаться в ней руками, чтобы определить, что это за вещь. Вы носом сразу чувствуете, что это г—о и проходите мимо.

От слов Ленина у меня дыхание сперло.

— Из огня Плеханова я попадаю в ваше полымя, — сказал я. — Плеханов говорит, что философы Авенариус и Мах, хотя они ему неизвестны, — ведьмы и, какие у них глаза красные или желтые, его не интересует. А другой наш теоретик — Ленин рекомендует, не разбираясь в их теориях, клеймить этих людей бубновым тузом. Вы всё время повторяете: буржуазная философия, буржуазные философы. Теория Авенариуса и Маха не есть какая-то метафизическая концепция, это попытка создания научной теории познания, основанной только на опыте. Прежде чем лепить на нее бубновый туз — попробуйте ее узнать и в ней разобраться. Нет буржуазной или пролетарской астрономии, алгебры, физики или химии, нет и буржуазной теории познания. Речь может идти только о том — верна или неверна теория Авенариуса и Маха. Даже допустив, что в ней есть какие-то элементы, присущие буржуазному образу мысли, нельзя без предварительного доказательства клеймить ее авторов как преступников бубновым тузом. Вы упомянули Булгакова. Будучи студентом Политехникума, я был од-

ним из участников его экономического семинария. Он организовал его для студентов, желающих в области социальных наук знать больше того, что дает в течение часа лекция по политической экономии. В этом семинарии мы при полной свободе ставили и обсуждали разные вопросы. И почти каждое наше собрание Булгаков открывал торжественным напоминанием: «Истина добывается честным, свободным, лояльным сопоставлением идей». Откровенно говорю, — такой метод мне гораздо более по душе, чем ваш бубновый туз.

— Ах, вот как! Вы значит были в семинарии Булгакова. Еще одна новость! Не поздравляю, не поздравляю. Не под влиянием ли Булгакова у вас и появилась склонность к исправлению марксовой философии? Это скользкая дорожка. Социал-демократия не есть семинарий, где сопоставляются разные идеи. Это боевая классовая организация революционного пролетариата. У нее есть программа, мировоззрение, принадлежащий только ей строй идей. В ней на особую свободу критики и сопоставление идей — нечего рассчитывать. Кто вошел в партию, должен следовать за ее идеями, их разделять, а не колебать. Если они не нравятся — вот Бог, а вот порог, выход свободен. Мы хорошо теперь знаем, что скрывается за так называемой «свободой критики», которую требуют не пролетарские, а именно интеллигентские, зараженные буржуазными предрассудками, элементы социал-демократической партии. Повторяю: молодец Плеханов. Он сразу почувствовал, что вас следует ударить.

— Владимир Ильич, смею вас уверить, ни в какой мере я ревизионизму не сочувствую. Если у меня есть симпатия к философии Авенариуса и Маха, то только потому, что она самым революционным образом сокрушает всякую метафизику. Познакомьтесь с нею, вы это признаете. Отвергая ревизионизм, всё-таки не думаю, что марксизм есть нечто застывшее, раз навсегда дан-

ное, исключающее какие-либо изменения. Плеханов однажды писал, что марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отменит *никакой рок*. Как вы относитесь к этой формуле? Как совместить ее с диалектикой?

— Я полностью согласен с Плехановым. Маркс и Энгельс наметили и сказали всё, что нужно сказать. Если марксизм нуждается в развитии, — то только в направлении, указанном его основоположниками. Ничто в марксизме не подлежит ревизии. На ревизию один ответ: в морду! Ревизии не подлежат ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата, короче, ни один из основных пунктов марксизма!

Таково было мое первое разногласие с Лениным. Это было приблизительно в начале марта. Несмотря на мои вспышки во время беседы, Ленин всё-таки не придал им большого значения: я несколько раз ему сказал, что к ревизионизму ни в малейшей степени симпатии не чувствую. Благоволение ко мне Ленина еще не было нарушено. Лишь через три с половиной месяца, когда разногласие с ним приняло явную и острую форму, он вспомнит мартовский разговор и сделает из него дополнительный аргумент для занесения меня в стан «врагов». В день начавшего проявляться разномыслия с Лениным, я чувствовал себя совсем неуютно. Если бы у меня была смелость заглянуть поглубже в себя, посмотреть, что делается на моем «теоретическом чердаке», я не смог бы тогда сказать, что не имею ничего общего с ревизионизмом. Моя ревизия касалась не только философской, гносеологической, стороны марксизма. Я отвергал философию Плеханова, но не это было важнейшим. По сей день считаю: из того, что писали Маркс и Энгельс, можно выжать философию не плехановского вида, а приближающуюся к критическому реализму — к эмпириокрити-

цизму. Гораздо важнее была ревизия других пунктов. Например, вопреки Марксу, я не видел тождества законов аграрного и индустриального развития. При всех ее достоинствах книга Каутского «Аграрный вопрос» меня не убедила. Наоборот, в критике этой части Маркса влияние Булгакова, его книги «Капитализм и земледелие», было несомненным, хотя я ему противился. Столь же несомненным было в других областях влияние Туган-Барановского. Я начал сомневаться в истинности теории трудовой ценности: картина капиталистического развития в I томе «Капитала» может быть представлена и без теории трудовой ценности в марксовой трактовке. Прибавочный продукт, прибавочная ценность, — факт и объяснить его происхождение можно без прибегания к теории Маркса. Категорию ценности (оценку) Маркс ошибочно отожествлял с категорией трудовых затрат. В метеорите, упавшем с неба, может быть железо, это ценность, а по Марксу железо метеорита никакой ценности не имеет; ценностью, стоимостью, он считал лишь овеществленный в предмете труд. Неверно, что прибыль, прибавочную ценность, создает только «переменный капитал» — труд рабочего, прибыль создает весь вложенный в предприятие капитал. Маркс доказывал, что цены тяготеют, сводятся к трудовым затратам, а в III томе «Капитала» это решительно опровергает. Мысль Маркса всё время вращается «в кругу понятий, заключающих в себе внутреннее противоречие». Критика такого рода шла в меня от Туган-Барановского, от бесед с ним, особенно одной в Киеве, летом 1903 г.

Ревизия шла и вне влияния Тугана. У Маркса я крайне ценил картину круговорота всего общественного продукта, объяснение того процесса, что он называл «воспроизводством и обращением общественного капитала». Однако, знаменитая схема этого воспроизводства, над которыми мои товарищи и я до одурения корпели в 1902 г., стали мне казаться всё более и более подозри-

тельными. «Схема Маркса простого воспроизводства, — язвительно заметил мой товарищ по Политехническому Институту Рабинович, — столь проста, что может легко войти в число примеров элементарного учебника арифметики Малинина и Буренина». Он был прав. Однако, только через много и много лет, на основании уже советских цифр, страны, живущей, якобы, под знаком Маркса (бюджетных затрат, розничного оборота, амортизации и инвестиции капитала, оборотов кустарной кооперации, оборотов колхозных рынков и т. д.) удалось понять, что «Малинино-Буренинские» схемы во 2-ом томе «Капитала» — каррикатура на решение сложнейшей и важнейшей экономической проблемы. Сильнейшее сомнение в силе и правильности марксового анализа создало и поразившее меня, никогда и никем нецитируемое, место из III-го тома «Капитала», где Маркс неожиданно признается, что не может объяснить, каким образом доходы классов, составляющих страну, могут купить ее общую продукцию. «Это неразрешимая загадка, — заявил он, анализ вобще не в состоянии постигнуть простых элементов цены, а скорее должен довольствоваться вращением в заколдованном кругу и топтанием на одном месте»[32].

Попав в Женеву, несколько ознакомясь с положением швейцарских рабочих, я к прежним сомнениям прибавил еще новые: стал скептически относиться к тезису Маркса, что какова бы ни была заработная плата рабочих — их положение в капиталистическом обществе должно ухудшаться. Реферат в Женеве на эту тему Плеханова (критика Бернштейна и Струве), мне показался очень слабым, тезис Маркса неспасающим. Призна-

---

[32] По этому поводу у меня был большой разговор с Лениным, заявившим, что это место я абсолютно не понял: «неразрешимую загадку» Маркс, по его мнению, великолепно разрешил. Вряд ли будет уместным здесь излагать, как в защиту своего утверждения Ленин прибег к «малинино-буренинским» схемам.

юсь, что после реферата, взяв книгу Бернштейна, я — с некиим злорадным удовольствием (у меня ведь был зуб против Плеханова!) прочитал следующее примечание:

«У меня, конечно, не может быть охоты спорить с Плехановым, наука которого требует чтобы мы вплоть до великого переворота признавали положение рабочих безнадежным».

Без утайки показываю то, что происходило на моем теоретическом «чердаке». «Ревизия» марксизма несомненно гуляла в голове, а между тем я изо всех сил пыжился быть и считаться ортодоксальным марксистом, насильственно давя, иногда с помощью уловок, возникавшие сомнения. Мой cas de consience, это подавляемое сомнение в вере не в «конечную цель» (социализм), а во многие части его обосновывающего учения, не заслуживало бы внимания — будь оно лишь моим индивидуальным состоянием. В том то и дело, что в большей или меньшей степени его испытывали и многие другие лица. В этом состоянии было нечто общее с тем, что десятки лет позднее переживали коммунисты, отклонявшиеся, и в то же время смертельно боявшиеся отклониться, от «генеральной линии» партии. Оставшееся загадкой для всего мира непонятное поведение на Московских процессах 1936-38 г. г. таких фигур как Бухарин, Рыков, Пятаков, Каменев, Крестинский, Раковский и др. не может быть объяснено только тем, что их «физически» мучили. Вместе с этим было и другое, очень сложное, что заставляло «сознаваться», считать «преступным» их уклон от «генеральной линии».

Чем лично у меня объясняется подавление в 1902-1904 г.г. теоретических сомнений? Я опасался, что всякого рода колебания, порождая «гамлетизм», могут связывать, разлагать волю, отрицательно сказываться на хотении быть самым активным участником революции. Кроме того, несмотря на самомнение — будто очень много знаю, всё же была мысль, что многого еще не знаю,

что нужно еще и еще «учиться» и, следовательно, в критике марксизма быть осторожнее. Наконец, была огромная боязнь, что не будучи правоверным ортодоксом-марксистом я попадаю в ряды отщепенцев и, тем самым, из рядов революции выпадаю. Примирение, говоря словами Белинского, с «гнусной действительностью», со всеми ее социальными несправедливостями и оскорблением человеческого достоинства, — в моих глазах было моральным самоунижением, моральным падением, превращением в лишенного чувства общественности, эгоистического и ничтожного индивида. Гнусную действительность могла опрокинуть только революция и вне участия в ней я иначе не мог представить себе моей жизни. А быть в революции значило не «болтаться одиночкой», а находиться в коллективе, в партии, такой же партией я считал только социал-демократию. Но вся партия, за исключением одного Акимова, неуклонно придерживалась ортодоксального марксизма, в самой его воинствующей крайней форме, т. е. в духе Плеханова и Ленина. Отсюда ряд неумолимых силлогизмов, из коих, казалось, вырваться уже нельзя. Если я не хочу себя морально унижать — должен быть в рядах революции; если с революцией — значит в партии: если в партии — тогда нужно категорически отмежеваться от всякого ревизионизма, быть в полном согласии с «генеральной линией» марксизма и партии. Это обязывало, вслед за авторитетами партии, за теми же Плехановым и Лениным, считать марксизм абсолютной истиной, «неотменяемой никаким роком», в критике его видеть лишь гадкие подкопы, беспринципность, антипролетарскую ренегатскую психологию, уход в стан буржуазии. Борьба с этой враждебной критикой должна быть беспощадной, прибегать к решительным методам, возбуждаться примером самого Маркса, лупившего направо и налево и учившего искать в чужих взглядах отражение лишь темных мелкобуржуазных, буржуазных и феодальных интересов. Но

как быть, что делать, если клеймение Плехановым неизвестных ему философов — ведьмами с красными и желтыми глазами, если наклейка Лениным «бубнового туза» без «разбора» на всех инакомыслящих — вызывали у меня тошноту, отвращение, возмущение, бунт?

Как быть? — позвольте досказать. Ведь речь, повторяю, идет не обо мне одном. С явным противоречием — внешняя ортодоксия, внутренне всё растущая ревизия — я жил не только в Женеве, но и в 1905, 1906 г. г. отчасти 1907 г., когда пришло решение с этим противоречием покончить. Появилось оно в обстановке окончившейся революции (ее результаты я оценивал совсем не столь пессимистично как другие) и совпало с переходом (в конце 1907 г.) из нелегального положения, т. е. жизни с фальшивым паспортом, в положение легальное. Вслед за всякими брошюрами на политическую тему и об аграрном вопросе, я в это время написал «Философские Построения Марксизма», «Мах и Марксизм», о Спинозе и Авенариусе, «Мы еще придем» и т. д. За исключением первой книги — остальные вещи не видел уже десятки лет, что они собою представляют не имею представления, думаю — нечто весьма слабое. Что же касается «Философских построений Марксизма» (изложение эмпириокритицизма Авенариуса и Маха, критика философии Плеханова, Дицгена, А. Богданова), то, несмотря на то, что из 300 с лишним страниц этой книги, я бы теперь больше трети перечеркнул как негодные, у меня с этой работой, писавшейся при крайне неблагоприятных условиях, связывается большое и приятное воспоминание о моем освобождении. Я вынул занозу из мозга. Перестал носить не только фальшивый паспорт, но и маску ортодокса. Открыто начал быть «ревизионистом».

«Анализ новых фактов, более глубокое проникновение в связь и течение общественных явлений заставляет сторонников марксизма вносить в это течение це-

лый ряд существенных поправок. Ревизия, да будет позволено так выразиться, в полном ходу» (стр. 22 названной книги).

Я не был один. Из пишущей марксистской братии, жившей тогда в Москве — с разными вариациями — дорогой ревизии шли В. Г. Громан, З. С. Стенсель-Ленский, В. Мачинский, Т. Гейликман. Полностью отвергая философию Плеханова, вспоминая, что в Женеве я слышал от него и Ленина, я уже не стеснялся не келейно, а открыто, в печати заявлять, что нет ничего более отвратительного чем метод: «сначала бубнового туза налепим, а потом разберемся».

«Несмотря на почти единодушное признание Плеханова официальным философом партии, — писал я, — мы не имеем у него ни одной вещи, где бы в ясной, связной и обоснованной форме была бы изложена его философия, его теория познания. В разных статьях по разным вопросам приходится собирать отрывки, намеки его философских положений». Если собрать «эти частицы, эти мощи, на которые с благоговением смотрит партия, как на принадлежащие ей философские реликвии» — получится картина — пустоты, бесплодия, противоречий. «Но мы твердо решили собрать эти частицы, ценою хотя бы немедленного, насильственного удаления в 24 часа вон из лагеря организованного русского марксизма».

Партийная реплика последовала незамедлительно. В 1908 г. под редакцией А. Н. Потресова и П. П. Маслова начало выходить четырехтомное издание «Общественное движение в России в начале XX века». В числе редакторов издания сначала находился и Плеханов, ушедший из него из-за статьи Потресова, в которой, при всех уступках и поправках последнего, не усмотрел достаточно прославления его заслуг в деле формирования русской марксистской мысли. В четырехтомнике мне было поручено написать об аграрном движении в

1905-6 г.г. Узнав об этом, Плеханов потребовал изгнать меня из издания, заявив, что с критиками его философии (в его глазах сливавшейся с философией Маркса) в одном издании сотрудничать не желает. Что и было сделано в «24 часа».

С письменным протестом против такого решения выступил один только В. Г. Громан. Лично на меня «изгнание» никакого впечатления не произвело. Я уже был или вернее сказать становился свободным и для меня «генеральной линией» была та, которую я сам свободно выбирал, а не та, что мне навязывалась и под которую я должен был подползать.

Н. НИЛОВ В РУКАХ ЛЕНИНА

В половине мая книга Ленина «Шаг вперед — два шага назад» вышла из печати. Она вызвала буквально бурю возмущения среди меньшевиков Женевы. Незадолго до этого Плеханов, защищая Мартова от нападок большевиков, писал, что «тов. Мартов — непримиримый враг ревизионизма и ортодокс чистейшей воды». И вот теперь в книге Ленина можно было прочитать, что и Мартов, и Аксельрод, и прочие видные меньшевики тянутся к оппортунизму, жоресизму, ревизионизму, тем обнаруживая поползновение уйти от ортодоксального марксизма. Редакция «Искры» и меньшевики, считавшие себя самыми настоящими представителями «ортодоксии чистейшей воды», — не могли допустить подобного оскорбления. На атаку Ленина они ответили контратакой, печатая против него серию статей в каждом номере «Искры». Стрельбу открыл Плеханов. Еще до выхода книги Ленина он поместил в «Искре» статью о «Централизме и бонапартизме», где, высмеивая большевистских лягушек, желающих иметь царя, резко критиковал организационную схему и централизм Ленина. В номере «Искры», помеченном 15 мая, в статье «Теперь молчание невозможно», Плеханов, обращаясь к членам Центрального Комитета Партии, заграничным представителем которого был Ленин, требовал от них отмежеваться от политики Ленина.

«Деятельность ваших заграничных представителей пропитана духом той политики, которую я называю

политикой мертвой петли, туго затягиваемой на шее партии. Наиболее видным и последовательным носителем принципов этой политики являлся и является тов. Ленин. Зачем вы молчите теперь, когда вам следовало бы не только говорить, а прямо греметь, трубить во все трубы, кричать со всех крыш о вашем отношении к бонапартизму? Прервите же ваше молчание! Скажите нам прямо и решительно: как понимаете вы централизм, что вы думаете о бонапартизме или, короче, одобряете ли вы политику Ленина? Это тем более уместно, нужно, полезно сделать теперь, когда Ленин выпустил брошюру, которая в истории наших внутренних распрей будет играть роль масла, подлитого в огонь. Вы не отняли у Ленина его полномочий и он, пользуясь ими, продолжал делать всё от него зависящее для того, чтобы толкать партию прямо к расколу. У него был для этого свой и совершенно понятный расчет».

На Ленина, избегавшего задевать Плеханова, желавшего его «нейтрализовать», не особенно раздражать, статья Плеханова должна была произвести сильное впечатление. Плеханов явно никакой «нейтрализации» не поддавался. Наоборот, он нападал и весьма недвусмысленно требовал от Центрального Комитета лишить Ленина полномочий, которыми тот пользовался в качестве представителя этого Комитета заграницей. Ленин мыслил себя только на самом высшем посту командования партии. Если после ухода из редакци Центрального Органа его теперь хотят удалить из Центрального Комитета — каково будет его положение? Самое предположение, что он может лишен всякого касательства к «дирижерской палочке» — должно было казаться ему невероятным абсурдом. Нужно думать, по его указанию, Крупская обошла наиболее видных большевиков Женевы, указывая им, что большевистская колония не может оставить без ответа статью Плеханова, должна

вступиться за Ленина и письмами в редакцию «Искры» протестовать против обвинений Ильича. М. Лядов (Мандельштам) в своих воспоминаниях пишет:

«Сразу появилось несколько проектов открытых писем к Плеханову. Помню, мы собрались все у Ильича на квартире и прочитали ему эти проекты. Решили, что застрельщиком выступлю я с моим письмом как делегат второго съезда. Вслед за тем должно быть послано коллективное письмо, написанное, если не ошибаюсь, одним из братьев Вольских, жившим тогда под фамилией Валентинова, вскоре перешедшего к меньшевикам. Мое письмо удостоилось помещения в «Искре» и грубейшего ответа «тамбовского дворянина» Плеханова. Но коллективное письмо напечатано не было под предлогом, что редакция не знает, имеют ли право подписавшиеся называть себя членами партии».

Лядов кое-что путает. Я жил в Женеве не под фамилией Валентинова, а Самсонова. Псевдонимом Н. Валентинов стал подписывать свои статьи в московском журнале Кожевникова «Правда» лишь в следующем году, в 1905. Но важно не это, а другое, что ни Лядов, ни другие большевики Женевы не знали и не узнали, и о чем я дал Ленину обещание никогда никому не говорить.

На собрании у Ленина Лядов прочитал написанный им ответ Плеханову, а мне, действительно, было поручено составить письмо от имени группы женевских большевиков. Но когда после собрания мы расходились, Ленин шепнул мне: «выходите со всеми, потом возвращайтесь ко мне». Так я и сделал.

— Письмо Лядова, заявил мне Ленин, не плохо, а всё-таки слишком, слишком мягко. Мне было неудобно ему об этом сказать. Не могу же я заявить, что вы меня плохо защищаете. Плеханову нужно написать такое письмо, чтобы оно у него как кость в горле застряло. Давайте с вами такое письмо составим. Пойдет оно в

редакцию «Искры» не за подписью группы, а только за вашей. Если наша публика захочет вдогонку послать еще коллективный протест, делайте это, но сначала пошлем письмо, о котором говорю. Для него есть интересный матерьялец. Приходите ко мне завтра утром.

Мое раздражение против Плеханова, не по той причине, что руководила Лениным, совсем не остыло и я заявил, что готов послать Плеханову письмо во много раз более резкое, чем написанное Лядовым и проект такого «послания» приготовлю придя домой. С этим проектом я и пришел к Ленину на следующий день. Он бегло просмотрел его, отложил в сторону и сказал: прочитайте предварительно, что я вам сейчас покажу. То было письмо к нему Плеханова, написанное года полтора пред этим. Извлеченное из архива Ленина, оно в тридцатых годах напечатано в одном из томов третьего издания сочинений Ленина и я могу точно привести ту часть его, на которую Ленин меня заставил обратить особое внимание.

«Поверьте одному, писал ему Плеханов, я глубоко вас уважаю и думаю, что на *75%* мы с вами ближе друг к другу, чем ко всем другим членам коллегии («Искры»), на остальные 25% есть разница, но ведь *75%* втрое больше *25%*».

— Итак, говорил Ленин, еще совсем недавно Плеханов находил, что на 75% он ко мне ближе, чем к Аксельроду, Засулич, Мартову, Староверу. На партийном съезде он заявил, что Акимов и другие, подобно Наполеону, любившему разводить своих маршалов с их женами, стараются нас, т. е. Плеханова и меня, — во что бы то ни стало развести, но на развод он не пойдет. После съезда, когда мы с ним вдвоем редактировали «Искру» (с конца августа по ноябрь 1903 г.), Плеханов, напоминая о своем письме, говорил: четыре прежних редактора «Искры» своим поведением и речами

меня окончательно от них отшатнули. Я вижу, что нашу близость нужно измерять не 75%, а большим процентом. И Плеханов шутил: «Примерно 85%-90%». В это время он беспощадно критиковал Аксельрода, называя его «калечью», человеком, потерявшим всякую ценность для партии. Над Засулич издевался. Она-де выжила из ума, думает, что он — Плеханов — генерал Трепов, в которого она стреляла 26 лет назад. Старовера-Потресова называл переодетым в марксизм либералом. О Мартове говорил, что человек он способный, но истерик и Плеханов не удивился бы, если бы кто нибудь сказал ему, что Мартов прибегает к кокаину. Такова была характеристика Плехановым членов коллегии «Искры»[33]. Из них первых троих, он, как и я, считал на съезде не подлежащими избранию в редакцию. Что же произошло потом? Флюгер вертится и Плеханов призывает в редакцию людей, признаваемых им калечью и ненужными, а я сразу делаюсь вредным, опасным человеком, бонапартистом и меня следует удалить из Центрального Комитета. Зная теперь многое о поведении Плеханова, вы поймете какого рода письмо он заслуживает!

Вынув из кармана, Ленин прочитал составленное им послание к Плеханову. Мне трудно теперь передать его содержание, скажу только, что это была защита Ленина и яростное нападение на Плеханова. Оно было пропитано ядом и резкими выражениями. Как и письмо Лядова, оно состояло из вопросов и каждый из них должен был ставить Плеханова в неудобное положение, особенно, те, где он указывал на отношение последнего к своим коллегам по редакции. Письмо Ленина было во

---

[33] Троцкий сказал о Ленине, что у него, как у микроскопа, была способность всё увеличивать. «Микроскоп» вероятно «преувеличил» и характеристику Плехановым своих коллег. Во всяком случае, она была бесконечно далеко от действительной ценности критикуемых лиц.

много раз язвительнее моего проекта, тем более письма Лядова.

— Если этот проект, сказал Ленин, вы одобряете, тогда предлагаю вам его переписать и поставить подпись — Самсонов.

У меня, повторяю, был слишком большой зуб против Плеханова, письмо Ленина я немедленно одобрил, но подпись решил поставить не Самсонов, а Н. Нилов. Я хотел этим напомнить Плеханову, что я тот самый человек («пошлите этого человека ко мне»), которого он угостил возмутительной болтовней о буржуазных ведьмах с красными и желтыми глазами. Единственно, что меня несколько смущало — это слишком уже большое знание Плеханова и партийных дел, видное из этого письма: откуда-то может знать Самсонов — Нилов? — «Это совсем не важный вопрос — ответил Ленин. Сорока на хвосте вам эти сведения принесла. Важнее другое — как будет выворачиваться Плеханов, посмеет ли он сказать, что всё в письме неправда. Пусть попробует, тогда мы его прищемим еще сильнее». — «Ну, а если товарищи меня будут спрашивать — откуда я знаю о чем пишу в письме?» — «Вы и им ответьте: сорока на хвосте мне сведения принесла».

Большое, на 7 или 8 почтовых страницах, письмо Ленина, написанное очень мелким почерком я тут же переписал, отдав оригинал Ленину, который его порвал на мелкие клочки. В этом произведении «Н. Нилова», кроме двух или трех запятых и маленького стилистического исправления, ничего моего нет, но Ленин, прощаясь со мною, хитро улыбаясь, счел нужным подчеркнуть, что письмо написано «одним Ниловым, только Ниловым» и маленький секрет должен быть безусловно сохранен. В этом я «поклялся» Ленину. Не думаю, что нарушение через 48 лет моего обещания — может быть признано большим преступлением.

Вскоре после этого мне пришлось быть у Бонч-Бруевича. Он жил тогда на окраине Женевы, на даче, среди большого парка. Бонч мне объявил, что у него есть срочная работа, бросить ее он не может и он просит меня вместо него пойти к Ленину — передать ему пакет с полученными из России письмами. К Ленину на rue du Foyer после столкновения с Крупской я ходить избегал, всё же, чтобы не плодить сплетней, я Бончу об этом ничего не сказал. Я согласился выполнить просьбу Бонча и отправился к Ленину. Я нашел его в состоянии крайнего раздражения. «Почитайте, кинул он мне, что пишет тамбовский дворянин». — «Кто??» — «Плеханов». Это были гранки еще невышедшего № «Искры» помеченного 1-ым июня. Кто-то из большевиков их принес Ленину из типографии. Я стал читать. За набранным письмом Лядова следовал ответ ему Плеханова. Ответ архигрубый, причем мне сразу почуялось, что Плеханов бьет не столько по Лядову сколько по Нилову, т. е. по Ленину, ибо письмо Лядова не было таким уже непозволительным допросом с пристрастием, в котором его обвинял Плеханов.

«Ставлю вам на вид, что ваше письмо написано странным тоном допроса с пристрастием. Этот тон гораздо более приличествует какому-нибудь сутяге из персонажей Островского, чем социал-демократу. Я решительно не знаю, что дает вам право говорить со мною таким тоном. Вы, почтеннейший, обязаны вести себя прилично и помнить, что тон допроса с пристрастием непозволителен».

Переходя на презрительно-шутовский тон, Плеханов продолжал:

«Что же касается собственно ваших допросных пунктов, то я, неслужилый дворянин Тамбовской губернии Георгий Валентинов сын Плеханова, у исповеди и святого причастия давно уже не бывавший, не токмо

за страх, а за совесть отвечаю. Если я незаслуженно обидел Ленина, то готов, объясниться с ним, а не тратить время на объяснение с ходатаем. Ходатаев по делам Ленина не нужно, а потому с Лядовым в какие-либо разговоры о нем (Ленине) вступать не желаю, тем более, что мне неизвестно имеет ли оный ходатай доверенность, засвидетельствованную установленным в законе порядком».

За сим ответом следовал следующий постскриптум. Он-то и привел Ленина в бешенство. Он тыкал в него пальцем, говоря: «Вот что читайте, вот что!». Что же там было?

«Кроме товарища Лядова мне прислал письмо еще какой-то Нилов. Это лицо мне совершенно неизвестно, так что я не только не знаю, за кого и когда оно голосовало, но мне неизвестно даже, имело ли оно право голосовать за кого-нибудь из нас, т. е. принадлежит ли оно к нашей партии. Если Лядов допрашивает, то Нилов просто бранится. Наша редакция не сочла себя обязанной помещать на столбцах «Искры» эту брань, которая в виду указанного обстоятельства является как бы анонимной».

Ответ Плеханова — недурная иллюстрация приемов и лживых уловок, которые допускают в политической и партийной полемике даже большие и почтенные люди. Его ссылка, что ему неизвестно за кого голосовал Нилов (где, когда?) абсолютно никакого отношения к вопросу не имеет. Но если она бессмысленна, то указание, что Плеханову неизвестно — принадлежил ли Нилов к партии, уже сознательно лживо. Плеханов, чего я и опасался, по разным намекам слишком уже много знающего Нилова несомненно догадался, что за спиною последнего стоит Ленин. Печатать письмо Нилова, отвечать на его вопросы-«допросы», Плеханов никак не мог. Они ставили его в самое щекотливое положение. И он вывернул-

ся. Пользуясь Ниловым, Ленин «стрелял» по Плеханову, а Плеханов, обрушиваясь на Лядова, требуя вести себя «прилично» фактически отвечал Нилову, т. е. Ленину, рекомендуя последнему не прибегать к маске, к ходатаям.

Ленин был озлоблен, написанное им письмо не достигло цели.

— Плеханов вывернулся самым позорным образом. Жулик, настоящий жулик! Скажите, а кому вы адресовали письмо?

Я объяснил Ленину, что так как у него не было конверта, я уходя от него, купил конверт, сделал на нем надпись и, возвращаясь к себе домой на rue du Carouge, оставил письмо у консьержа дома, где жил Плеханов.

— Можно ли было делать такую оплошность! Вы поступили как младенец, не могли догадаться, что адресовать и направлять письмо следовало не Плеханову, а редакции «Искры»! Глубоко уверен, что ни одному из других редакторов Плеханов письма не показал. Весь заряд пропал даром. Оставить это дело без продолжения никак нельзя. Выйдет, что нам дали по роже и мы замолчали. Вместо письма в редакцию — напечатаем листовку. Вы мне как-то говорили, что у Плеханова есть как две капли воды на него похожий брат — полицейский. А ну-ка расскажите мне об этом поподробнее, этим братом нам нужно хлопнуть по Плеханову. На этот счет у меня есть маленький план.

Я рассказал всё, что знал о Плеханове-Моршанском, и Ленин, прищурив глаза, изложил свой план. «Хлопнуть» Плеханова меня подмывало, ленинский план я весьма охотно выполнил в виде, впрочем, несколько отличном от того, что он предлагал. Что я сделал будет видно из дальнейшего, но вспоминая сейчас через 48 лет, эту сцену из партийной склоки, испытываю самое пренеприятное чувство. «Суета сует — всё суета». Мне

неприятно о том думать, может быть, больше всего потому, что в памяти встает не тот Плеханов, из квартиры которого в Женеве я вылетел как ошпаренный, не тот Плеханов, который позднее через четыре года потребовал удаления меня из числа сотрудников сборников «Общественного движения в начале XX столетия», а другой Плеханов, — почти накануне смерти. В 1904 г. он был в апогее своей силы и славы, полубог на партийном горизонте — Громовержец-Олимпиец. «Это человек, пред которым приходится съеживаться», — говорил о нем Ленин. В 1917 г., когда после 38 лет жизни в эмиграции, Плеханов приехал в Петербург, его политическое положение и он сам — были уже другими. Он осунулся от болезни, сильно постарел, гордая осанка его исчезла. В Женеве он стоял наверху, к нему все прислушивались. В Петербурге Плеханов был в некотором роде забытый и забываемый Фирс из «Вишневого Сада» Чехова. Та самая Революция, к которой он призывал всю жизнь — катила чрез его голову. Она шла к Ленину, а не к нему. Он был «социал-патриот» и говорил, что с немцами нужно бороться. А революция кричала «долой войну» и желала брататься с немцами. В августе 1917 г. он приехал со своей женой на созванное правительством Керенского Государственное Совещание в Москве. Плеханов был приглашен на это Совещание, если хотите, в качестве одной из икон революции. На таком же основании были приглашены престарелый анархист Кропоткин и «бабушка революции» — социалистка-революционерка Брешко-Брешковская. Увы, на эти иконы уже не обращали большого внимания. Приехавшего Плеханова никто не встретил. Никто не позаботился найти для него пристанище, а это было нелегко в переполненной во время войны Москве. После объезда нескольких гостиниц, где всюду говорили «свободных комнат» нет, Плеханов, сдав вещи на хранение на вокзале, отправился на Совещание в Большой Театр. В ожидании его откры-

тия, сидел с Р. М. Плехановой в ложе — мрачный, усталый, в помятом в дороге костюме. Узнав от кого-то, что у Плеханова нет приюта, я подошел к министру внутренних дел в правительстве Керенского социал-демократу меньшевику А. М. Никитину.

— Послушайте, Алексей Максимович, ведь это сущее безобразие! Плеханову негде голову преклонить. Реквизируйте для него комнату в каком-нибудь отеле или отведите ему помещение хотя бы в Кремле. Вы же министр внутренних дел, неужели и на такое маленькое дело силенки у вас не хватит?

Никитин заорал на меня:

— Мне некогда заниматься квартирами! У меня дело поважнее — следить, чтобы большевики не бросили бомбу в Совещание.

Я выругался и решил, что предложу Плеханову поселиться в квартире, которую мы с женой занимали очень близко от Большого Театра. Это была довольно деликатная задача. Отношения с ним были крайне натянутые. Почти одновременно в 1908 г. против его философии выступили — я со своей книгой и Юшкевич. Отвечать на нашу критику он не желал, однако, она его до последней степени раздражала.

— Если кто подумает, — говорил Плеханов, — что мне нечего возразить, например, Юшкевичу или Валентинову, то с этим ничего не поделаешь, это старая песня: давно уже крыловская мышь думала, что сильнее кошки зверя нет. Но это мышиное заблуждение не сделало кошку сильнее, чем она есть на самом деле. Так и Юшкевич и Валентинов не сделаются сильнее оттого, что какой-нибудь молодой читатель вообразит, что нет на свете философских истин более глубоких нежели те, глашатаями которых они выступают. Оно, конечно, не мешало бы, пожалуй, вывести из заблуждений даже и

этого молодого человека, но у меня никогда не было охоты преподавать в приготовительном классе[34].

Плеханов неоднократно говорил, что считает меня не «товарищем», а «господином», т. е. человеком, стоящим вне марксизма, и не желает иметь со мной никаких отношений. Поэтому, не будет ли рискованным предлагать Плеханову свое гостеприимство? Не получу ли я оскорбительный отказ? Я всё-таки написал записку и направил ее в ложу, где сидел Плеханов: «Я узнал, что Вы еще не смогли найти свободной комнаты в гостиницах Москвы, может быть вы воспользуетесь предложением моей жены и моим поселиться у нас?». Я видел, что Плеханов долго вертел в руках записку, потом, переговорив с Р. М. Плехановой, — вышел в коридор меня отыскивать. Я пошел к нему навстречу. Пробежала минута, вероятно, нами обоими ощущаемой неловкости, затем ее внезапное исчезновение и Плеханов крепко пожал мне руку. Р. М. Плеханова, как человек ультрапрактичный, немедленно отправилась со мною смотреть, насколько наша квартира отвечает требованиям ее мужа и, найдя ее вполне подходящей, через два часа вместе с Плехановым перебралась к нам. Они прожили у нас около двух недель[35]. Из моей библиотеки я подарил ему Софокла в русском переводе, он не мог найти его в магазинах, а Плеханов мне презентовал три тома своей последней работы «История русской общественной мысли». На ней четким почерком было написано «Товарищу Вольскому от автора». Титулование меня не «господином», а «товарищем» — означало, что Плеханов уже не прежний Плеханов! После этой встречи я больше его не видел. Покинув Петербург, где бушевала октябрьская

---

[34] Слова Плеханова Дейчу, напечатаны в журнале «Пролетарская революция».

[35] О пребывании Плеханова у нас я писал в «Новом Журнале» в 1948 г. в статье — «Трагедия Г. В. Плеханова».

революция, он вскоре умер в Финляндии (в 1918 г.). Если у моей жены главной мыслью было сделать удобнее пребывание у нас Плеханова, как бы получше его накормить, что становилось тогда трудным делом, то меня не оставляла мысль ничем на напоминать ему о моей книге и всячески избегать — хотя несколько раз на то наталкивали разговоры, — всего, что могло бы напомнить, выполненное по плану и наущению Ленина, мое выступление против него в Женеве в июне 1904 г.

Вот что тогда произошло. Несколько дней спустя по выходе № «Искры» с письмом Лядова, ответом Плеханова на него и письмо Нилова, в большой зале Handwerk состоялось собрание, на котором присутствовали большевики и меньшевики и были прения о партийных делах. По какому поводу и кем оно было созвано — абсолютно не помню. На собрание пришел и Плеханов, как всегда важный, как всегда притягивавший к себе всеобщее, почтительное внимание. Увидев его, я решил, что наступил момент «хлопнуть». Я выбрал место в нескольких шагах от Плеханова и после нескольких сцепившихся друг с другом ораторов (от большевиков, насколько помнится говорил Гусев) попросил слова.

— Мы всё время слышим, — сказал я, — обращаясь к Плеханову, о партийном демократизме, который противопоставляется бонапартизму и ленинской политике, которая как вы пишете, петля на шее партии. Должен сказать, что мне неясно ваше отношение к этому вопросу. Возьмем такой пример. Я послал письмо в «Искру», подписав его Н. Нилов. Это письмо содержало вопросы, выяснить которые для партии было бы и интересно, и полезно. Возможно, что печатать его вам было неудобно и неприятно: из него видно, сколь непочтительно вы относились к вашим товарищам по редакции. Но отказ печатать его вы мотивируете не этим, а другим: вы-де не печатаете писем «каких-то» неизвестных Ниловых. В партии таких, неизвестных лично вам, Ниловых сотни,

если не тысячи. Живя четверть века заграницей, вы знаете их меньше, чем кто-либо... Я спрашиваю демократично ли именовать этих членов партии презрительно барским эпитетом «какие-то»? Ведь этот термин, перефразируя фразу в вашем ответе т. Лядову, приличествует гораздо более какому-нибудь реакционному тамбовскому дворянину, чем социал-демократу. Вы пишете, что я вам совершенно неизвестен, т. е. можно подумать, что вы никогда меня не видели. Окажите мне честь взгляните на меня — не вспомните ли вы, что три месяца назад я был у вас по вашему же приглашению, адресованному т. Бонч-Бруевичу. Кстати сказать, посылая вам мои статьи для журнала «Рассвет», он дал вам довольно подробные сведения о моем партийном стаже. Ваше заявление, что вы не знаете о моей принадлежности к партии, по меньшей мере странно. Вы написали, что не зная «какого-то» Нилова, не зная принадлежит ли он к партии, считаете мое письмо как бы анонимным и в качестве такого не подлежащим печатанию. Но здесь, по известным вам причинам полицейского порядка, — мы почти все анонимы, почти все живем под вымышленными кличками. Чтобы рассеять анонимность, не быть каким-то неизвестным субъектом, нужно, полагаю, представить вам что-то, в ваших глазах более солидное, чем свидетельство партийных товарищей. Что же вам нужно? Очевидно, вы требуете показать вам настоящий паспорт, установленный предержащими властями. Подобно всякому русскому подданному, был паспорт и у меня. Он был выдан мне полицией города Моршанска Тамбовской губернии, вам известной, так как, в ответе т. Лядову, вы считаете почему-то нужным сообщить, что состоите в дворянском сословии этой губернии. Выдачу мне законом утвержденного паспорта вы легко можете проверить. Для этого вам надлежит обратиться за справкой к вашему брату Григорию Валентиновичу Плеханову — полицейскому исправнику г. Моршанска.

Моя речь с самого ее начала, в виду ее заносчивого тона, сопровождалась мало для меня лестными репликами меньшевиков. Например, когда обращаясь к Плеханову, я сказал — окажите мне честь, взгляните на меня, кто-то из них, вызывая смех, крикнул: «Тов. Плеханов, не смотрите, это совсем не интересно». Реплики, прерывание меня, к концу моей речи усилились, а когда я упомянул об исправнике, раздались голоса: «Что за ерунду болтаете», «О каком исправнике говорите», я, смакуя ответ повторил, что у Г. В. Плеханова есть брат — полицейский исправник, что он меня хорошо знает, что я (это уже была выдумка!) был у него под надзором и потому редактору «Искры» он, в порядке родственной услуги, может сообщить все приметы моей личности, тем окончательно рассеивая вопрос об анонимности.

Речь моя была составлена по канве, указанной Лениным и, следовательно, «план» его я выполнил полностью. Скандал на собрании получился большой. Большевики хохотали, а меньшевики, бывшие в аудитории в подавляющем большинстве, не щадили пускаемых по моему адресу выражений — среди которых были: врун, скандалист! Плеханов, подперев рукою подбородок, смотрел в упор на меня, не произнося ни слова.

«Хлопок» по Плеханову этим не ограничился. Дня через два появилась каррикатура на Плеханова, нарисованная Лепешинским. Немного позднее вместе с другими его каррикатурами («как мыши — меньшевики — кота, т. е. Ленина — хоронили») она была литографирована. В большевистском стане она имела большой успех. Она изображает полицейский участок, где, окруженный своими помощниками — меньшевиками, заседает, в военной форме с большими эполетами, важный «исправник» Плеханов. Пред ним большевики, протягивая свои паспорта, как свидетельство об их неанонимности, ходатайствуют, чтобы им дали разрешение обращаться с письмами, объяснениями, статьями в редакцию

партийного органа, в «Искру». В своих воспоминаниях Лепешинский-Олин давал следующее детальное пояснение своей каррикатуры.

«В кресле сидит сам частный пристав — Плеханов. Его помощник Мартов по случаю претензии большевистской шпаны, (среди которой в свое время не трудно было узнать подающего заявление Лядова, далее Олина, Самсонова-Вольского, С. И. Гусева, В. Д. Бонч-Бруевича) спешит навести справку, кто, согласно параграфу I, может считаться членом организации. Секретарь (Блюменфельд) требует от посетителей предъявления «пачпортов», удостоверений, что они члены партии. Подпасок с великолепной шевелюрой (Троцкий) хватается за телефонную книжку, а еще один персонаж, «некто в штатском» (с лицом Дана) внимательно изучает на всякий случай физиономии просителей. Со стены смотрят портреты «священных особ» — Засулич и Аксельрод.

Некоторые сцены из партийной склоки в Женеве в 1904 г. — через двадцать лет, повидимому, стерлись, исчезли из памяти Лепешинского. Из его объяснений можно подумать, что нарисованная им каррикатура была навеяна отказом редакции «Искры» поместить в ноябре 1903 г. письмо Ленина «Почему я вышел из редакции», а позднее письмо Рядового (А. Богданова). Это, конечно, не так, каррикатура инспирирована скандалом в зале Handwerk и Лепешинский, вероятно, придал бы своей каррикатуре еще большую ценность и значение, если бы знал, что и письмо Нилова, и план «хлопнуть» по Плеханову принадлежали самому «Ильичу». На примере с Ниловым, и потому-то на нем следовало подробно остановиться, хорошо видно, какое огромное влияние имел Ленин на шедших за ним партийных людей, как он умел их подчинять себе, делать послушным орудием, превращать в своего рода пешки в ведущейся им на партийном и политическом поле шахматной игре. Не

поддаться Ленину было нельзя. Не подчиниться ему — можно лишь разрывая с ним.

Каррикатура Лепешинского, начиная с 1924 г., была воспроизведена в книге его воспоминаний «На повороте», в «Пролетарской революции», в «Ленин в зарисовках художников» и в других изданиях. В это время уже трудно было себе представить, что меньшевики когда-либо и как-либо могли «притеснять» большевиков. «Меньшевистский полицейский участок во главе с Плехановым» — был плодом фантазии, тогда как большевистский полицейский участок стал во времена Ленина подлинной действительностью, а во времена Сталина в виде МВД — главным учреждением, душой тоталитарного государства.

После скандала в зале Handwerk я впервые увидел Ленина в столовой Лепешинского на углу Carouge и набережной Арвы, куда он пришел в сопровождении Крупской. Я уже указал, что моя жена в этой столовой мыла посуду, получая за это в вознаграждение завтрак для себя и меня. Поедать этот завтрак я и приходил в столовую. Увидав меня, Ленин, подмигивая, сказал: «Превосходно, превосходно, тов. Нилов и иже с ним могут считать себя отомщенными!». Одобрительный смех вызвала у Ленина и показанная ему только что нарисованная каррикатура Лепешинского. Он долго ее рассматривал, потешаясь над тем, что о нарисованных им лицах говорил Лепешинский. Вдоволь насмеявшись, — Ленин, однако, счел необходимым обратиться ко всем нам с следующим назиданием:

— Плеханова, сделавшегося меньшевиком, мы должны травить на разные лады и высмеивать, не спуская ему ни одного удара. Однако, мы никогда не должны забывать, что, кроме Плеханова, попавшего, как кур во щи, в плен меньшевиков, есть еще другой Плеханов, теоретик и философ ортодоксального марксизма, автор «Монистического взгляда на историю», замеча-

тельных статей против Э. Бернштейна и т. д. Смешивать этих двух Плехановых никак не годится. Во всех наших выступлениях нам нужно постоянно подчеркивать, что в Плеханове — нашем учителе — мы ценим, а с чем сражаемся.

Крупская, начиная с половины мая, при всяком удобном случае, бросавшая в меня шпильки, сочла нужным подцепить меня и в этот день.

— Ильич очень хорошо напомнил, что в борьбе с Плехановым нельзя, по выражению немцев, вместе с водой из ванны выбрасывать и ребенка. Глупо забывать, что Плеханов-Бельтов автор «К вопросу о монистическом взгляде на историю», книги, нас воспитавшей. А ведь приходилось слышать: что такое книга Бельтова, ровно ничего, мы, мол, сами такую напишем! Не вы ли Самсонов, держали такую речь?

— Нет, Надежда Константиновна, я этого не говорил. Я сказал лишь, что когда впервые прочитал книгу Бельтова — она на меня не произвела такого впечатления как на других, оставила меня холодным. Особого преступления в том не вижу. Это не значит, что я не признаю авторитета Плеханова. Я подписываюсь под каждым словом в таких его произведениях как «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия».

— Ну, заметил Ленин, тут вы уже перегибаете палку. Я начал делаться марксистом после усвоения I тома «Капитала» и «Наших Разногласий» Плеханова, книги, имевшей на людей моего поколения огромное влияние. Но как бы ни было велико наше почтение к этой книге, не следует подписываться под каждым ее словом. Это уже чересчур! В ее введении есть кое-что, явно неправильное. Неправильно отношение Плеханова к Ткачеву. Он был в свое время большим революционером, *настоящим якобинцем,* оказавшим большое влияние на некоторую наиболее активную часть «Народной Воли», а к ней у Плеханова никогда не было достаточно

объективного отношения. Я из разговора с ним знаю, что у него были столкновения личного порядка с некоторыми народовольцами и это окрасило и его отношение ко всему народовольческому движению.

Из столовой Лепешинских мы целой гурьбой вышли провожать Ленина до дома. В пути я спросил его:

— Вы сказали, что начали делаться марксистом после прочтения «Капитала» и «Наших Разногласий». Когда это было?

— *Могу вам точно ответить: в начале 1889 г., в январе*[36].

Так как всё время речь шла о Плеханове, а я никак не мог забыть, отделаться, от его ведьм с красными, желтыми и белыми глазами, я подумал, что создалась очень благоприятная обстановка, чтобы в разговоре с Лениным возвратиться к вопросу о «ведьмах», попытаться убедить его, что Авенариус и Мах марксизм не колеблят и ни Плеханову, ни Ленину лепить на них бубновый туз не годится.

— Владимир Ильич, после выпуска вашей книги вы теперь свободны. Почему бы вам не ознакомиться с философией Авенариуса и Маха? Вы ее поносили со слов Плеханова, но вы только что сами сказали, что подписываться под каждым его словом не годится. Меня очень интересует, что вы скажете об этой философии с нею познакомившись. Позвольте мне вам принести некоторые произведения этих философов.

Ленин весьма прохладно отнесся к моей просьбе, говоря, что он очень устал и ничего до отъезда его на

---

[36] Официальная биография Ленина, изданная в 1944 г. Институтом Маркса-Энгельса-Ленина утверждает (см. стр. 5) что Ленин стал знакомиться с «Капиталом» Маркса в 1885 и 1886 г.г., т. е. в возрасте 15-16 лет. Из только что, совершенно точно приведенного ответа Ленина следует, что казенные биографы пишут сущую неправду.

отдых читать не хочет. Я всё-таки стал настаивать и, в конце концов, Ленин с неохотой на это согласился: «Приносите». В это время Крупская подошла к нам и я ее спросил:

— Я должен принести Владимиру Ильичу кое-какие книги. Имеете ли вы что нибудь против этого?

Крупская, поняв, что скрывается за моим обращением, холодно и коротко ответила:

— Теперь Ильич не занят.

БУРНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛЕНИНЫМ. Я ВЗБУНТОВАЛСЯ

Итак, Ленин согласился ознакомиться с произведениями философов эмпириокритической школы и наиболее важные из них я обязался ему принести. «Der Menschliche Welt «begrief» Авенариуса у меня был, Маха «Analyse der Empfindungen» быстро нашел у одного знакомого социалиста-революционера, с двух-томным сочинением Авенариуса «Kritik der reinen Erfahrung» — было хуже. Для чтения вне библиотеки оно не выдавалось, о покупке же его не могло быть и речи. От того же с.-р. я узнал, что это сочинение есть у В. М. Чернова — одного из лидеров этой партии и, вооружившись рекомендательным письмом, к нему отправился. Чернов принял меня очень любезно, однако, памятуя распространенную в русской среде (только ли русской?) привычку «зачитывать», не возвращать книги, видимо колебался дать Авенариуса; когда же я указал, что книгу прошу не для себя, а для Ленина и через неделю принесу обратно, у Чернова промелькнуло удивление и любопытство.

— Ленин хочет ознакомиться с Авенариусом? Чем объяснить такое чудо? До сих пор я думал, что его не должны интересовать вопросы философии. С работой Авенариуса в одну неделю ознакомиться нельзя. Дам вам ее на две недели с условием точно возвратить в указанный срок.

Он ушел искать книгу. Я не остался один. Откинув назад грузный корпус, расставив жирные ляжки, в кресле сидел человек в темном пальто, с неприятными цыганскими глазами, желтым круглым лицом, толстыми презрительно сложенными губами.

— Странно, — промолвил он, — щупая меня глазами с головы до ног, раньше молодые люди приезжали в Женеву знакомиться с революционными теориями. А теперь, вижу, они прыгают сюда, чтобы возиться с философскими бирюльками.

— Вы обращаетесь ко мне? — спросил я, хотя прекрасно видел, что сей человек, по какой-то непонятной причине, бросает вызов именно мне, не обращая внимания, что Авенариуса я просил для Ленина.

— Это мысли вслух, — ответил он, совсем уж нагло смотря на меня.

— В таком случае полагаю, что вы страдаете недержанием языка.

Желтомордый человек, хлопнув себя по ляжке, расхохотался:

— Ах, как вы удивительно остроумны! Откуда это?

Не знаю, чем окончился бы этот странный разговор, если бы не был прерван Черновым, вручившим мне Авенариуса. Тридцать четыре года спустя (в 1938 г.), встретясь с Черновым около Парижа, я напомнил о моем визите за книгой для Ленина. Он помнил это очень смутно, но как только я начал рассказывать о странном поведении желтомордого человека, Чернов воскликнул:

— Азеф!

— Да, то был знаменитый Азеф — великий провокатор и великий террорист, таинственный, двуликий Янус — важнейший агент царской охранки и организатор покушений на великих князей, царских министров и губернаторов. После разоблачений — в печати появи-

лись его портреты. Это был, несомненно, тот, кого я видел.

Собранные мною книги были отнесены Ленину, а три дня спустя в столовой Лепешинских — кто-то, насколько помню, жена Гусева, передала мне, что видела Ленина: «Он хочет, чтобы вы пришли к нему, собирается вам намылить голову». Намылить голову? Что такое я сделал, за что мне нужно «намылить голову»? Ленин встретил меня не по-обычному, а с бросившейся в глаза неприятной сухостью. И тут же передал принесенные ему книги.

— Возьмите, они мне больше не нужны.

— Неужели вы их прочитали? — воскликнул я.

В них было не менее 1.200 страниц. Это не роман, не легкое чтение, в два с половиной дня одолеть их невозможно. Вместо ответа, Ленин вынул из кармана несколько листков.

— Это вам от меня на память небольшой меморандум. Маленький щелчок по вашим горе-философам, с которыми вы, несомненно, хотите начать ревизию марксизма. Для меня теперь ясно, что пребывание в семинарии Булгакова и знакомство с ним для вас не прошло бесследно. Вы, вслед за ним, тянетесь противопоставить материализму негодную, путанную, идеалистическую теорию. Я вас предупреждаю, — из этого, кроме позора, ничего получиться не может.

Сознательно пропуская мимо ушей намеки на пленение меня Булгаковым, я сказал:

— В вашем меморандуме, придя домой, постараюсь основательно разобраться, пока позвольте бросить на него беглый взгляд.

В этом документе, in spe, в зародыше, заключены все главные положения написанной в 1908 г. книги Ленина «Материализм и Эмпириокритицизм». В «мемо-

рандуме» было одиннадцать небольших страниц на блокноте, с большими, особенно с 8-ой страницы, просветами между строками. На первой странице — в качестве заголовка дважды подчеркнутого, крупными буквами, стояло: «Idealistische Schrüllen», а затем следовало доказательство, что философия Маха — невежественная «галиматья», отрицающая существование объективного, независимого от нас материального мира. Пробежав бегло «меморандум», я немедленно убедился, что Ленин из принесенных ему книг перелистал лишь Маха и, абсолютно не поняв его взгляды, превратил их действительно в галиматью. До книг Авенариуса он, видимо, даже и не дотронулся. Что же касается философских, если можно так выразиться, взглядов самого Ленина, они были изложены в конце меморандума, от них разило примитивностью самого наивного обывательского материализма. В сочинениях Ленина до сих пор никогда не было намека на философские проблемы, поэтому, до его «меморандума» мне в голову не могло придти, что в этой области он так пуст и детски беспомощен. Можно было подумать, что он никогда не держал в руках ни одной истории философии, ни одной книги по психологии и психофизиологии. Всё-таки особого умаления Ленина я в том видеть не хотел, говорю — о *начале* моего спора с ним. По моему мнению, это лишь показывало, что быть энциклопедистом нельзя, что Ленин, занятый изучением политических и экономических вопросов, не имел времени заглянуть в другие области. Мало ли чего мы не знаем! Естествознание, техника, поважнее философии, а подавляющее большинство марксистов их не знает. Всё-таки из незнания не нужно делать добродетель и воображать, что можно мне или кому-нибудь другому «намылить голову» простыми окриками. Философские взгляды Плеханова я считал безобразными, но он всё-таки штудировал философию, тогда как у Ленина в меморандуме ни малейших следов какого-либо знания

этих вопросов. Проникаясь подобными рассуждениями, я очень спокойно заметил Ленину:

— Критика в вашем меморандуме Маха мне напомнила некоего Энгельмейера — переводчика «Научно-популярных очерков» Маха, вышедших в Москве года три назад. В своем предисловии он, как и вы, утверждает, что Мах, хотя он физик и естествоиспытатель, отрицает существование внешнего материального мира и доказывает, что ничего, кроме субъективных ощущений человека, не существует. Раз это так, восклицал Энгельмейер, тогда у меня нет ни родителей, ни положения в свете, ни собственности, ничего кроме ощущений. Энгельмейер смешивает ощущения с представлениями, мышлением, чувствами. Он явно не понимает, что данность, наличность ощущения говорит об обусловленности его чем-то извне. Если нет, например, источника тепла и света никакие фокусы, никакое напряжение воли, не может вызвать в человеке *ощущения* тепла и света. Но такое же непонимание двести лет пред этим испытывала и по сей день испытывает философия Беркли. Его также обвиняли в отрицании внешнего мира и критики, издеваясь над ним, предлагали ему пройтись над пропастью или удариться головой о столб. А между тем в странной, на первый взгляд непонятной, формуле Беркли — «esse est percipi» заложена не метафизика, а острый анализ и глубочайший реализм.

Ленин подскочил, услышав «esse est percipi». Эта формула ввергла его в какое-то злобное раздражение.

— Вы явно, — крикнул он, — не отдаете себе отчета, что значит esse est percipi! Вы, очевидно, абсолютно не знаете латинский язык, не понимаете, что восхваляя дурацкую формулу — вы тем самым защищаете чушь и галиматью. Если без вывертов и выкрутасов перевести с латинского языка на русский язык esse est percipi — это будет означать, что всё существующее есть лишь восприятие, т. е. лишь субъективное

ощущение. Человек, строющий на одном только ощущении свою философию, безнадежен. Его нужно отправить в сумасшедший дом. Мир внешний, мир материи существует вне нас, независимо ни от каких восприятий и ощущений. Если ваш Мах — не знает этой истины материализма, его нужно назвать круглым дураком. «Esse est percipi»! — нужно же подхватить такую дикую чушь и носиться с нею.

Конечно, это требовало ответа и, сдерживаясь от желания на ругательства Ленина ответить тем же, я снова спокойно сказал:

— Твердить на разные лады о существовании независимости от нас мира, доказывать то, что без всяких доказательств знает и чувствует всякий нормальный человек, уверяю вас, смешно. Сильнее того, что Авенариус и Мах говорят против гносеологического солипсизма, отрицания внешнего мира, поверьте, — вы не скажете. Судя по вашему меморандуму и тому, что сейчас говорите, вижу что вы, Владимир Ильич, не хотите вникнуть в то, о чем идет речь в философии, которую критикуете. Речь идет о теории познания, изучающей процесс познавания, анализирующей не содержание тех или иных наук, а происхождение, образование общего содержания знания. Это самопознание знания, это желание узнать, что и как тут происходит, с чего и с какой посылкой мы начинаем познавать. Подавляющее число философов утверждает, что непосредственная данность сознания есть та единственная достоверность, с которой начинается познание, все данные суть факты сознания. Это перелицовка cogito ergo Sum Декарта, превратившаяся в догму идеалистической гносеологии, которой противостоит материалистическая гносеология — берущая отправным пунктом уже не сознание, а материю. Совершенно иная позиция эмпириокритицизма. Авенариус указывает, что при анализе познания естественным отправным пунктом должно быть взято воззрение просто-

го человека, то, что свысока называют наивным реализмом. Какие бы теории не создавали Платоны, Декарты, Спинозы, Канты, — исходным пунктом всякого познания является следующее, простое, неопровергаемое положение: каждый индивид находит себя центральным членом координации, в которой противочленом является какая-нибудь часть среды или другой человек. Кого бы мы ни брали — детей или дикарей, простых обывателей или философов — все начинают познание с вышеуказанной посылки. Она продукт природы, — говорит Авенариус, — и сама природа заботится о ее сохранении. Непосредственно нам дана эта посылка, а не теория о непосредственной данности сознания. Вы не можете утверждать, что эмпириокритицизм, или как вы его называете в «меморандуме» махизм, — отрицает существование внешнего мира, тогда как он указывает, что в познании у каждого индивида в качестве противочлена всегда стоит среда, т. е. внешний мир. Взять при анализе общего познания отправной точкой зрения именно взгляд, воззрение простого человека, профана — диктует то обстоятельство, что познание научное развивается из обыденного, у них одни и те же функции, одни и те же формы. К тому, что есть, что существует, познающий субъект может подходить двояким образом. Он может от себя отвлечься, не принимать во внимание свою психофизиологическую структуру, свои нервно-мозговые состояния, а независимо от «я», рассматривать, описывать, исследовать всё, что находится «вне я», устанавливать там закономерность явлений, причинную связь всех элементов этого внешнего мира. Указывая на биологическое значение познания, жизненную необходимость приспособления мыслей к фактам, — эмпириокритицизм подчеркивает стремление мышления к экономии сил (отсюда к монизму) и рассматривает всю науку как экономически-упорядоченный коллективный опыт человечества. Тот метод познания, при котором познающий

субъект отвлекается от своего «я», не обращая внимания на комплексы элементов, составляющих наше тело — Мах называет физическим методом исследования. В отличие от него познание может сосредоточить свое внимание на особенностях, функциях, строении органов чувств познающего субъекта, переходя таким образом от «не-я», к «я». Это психологический метод исследования, — приводящий к ощущениям слуха, осязания, зрения, вкуса, обоняния. Это простейшие элементы нашего познания, нашего опыта и они уже не разлагаемы. Вы сказали, что «человек строющий свою философию только на ощущениях — безнадежен». Но с чем другим кроме ощущений мы можем познавать природу, ведь только с помощью того, что они нам дают — строим картину мира? Двойственность указанных методов исследования, однако, не должна заслонять тот факт, что в жизни, в опыте «я» и «не-я» — даются вместе, связно, координированно. В познании субъект не отрывается от объекта, он не может находиться в каком-то фантастическом непротяженном пространстве, где нет никакого «не-я», никакой среды, неуказываемой ни одним из его ощущений. В этом смысле нет субъекта без объекта. В вашем меморандуме вы замечаете, что материализм дает объективное знание независимого от человека материального мира. В каком смысле можно при познании говорить о независимом от нас внешнем мире, о мире «самом по себе», вещах в себе и по себе? Нет ли тут какой-то ложной установки, которая иных взрослых доводит до вопроса, которому место лишь в сказках для детей: как выглядят вещи когда нас нет? Да, очевидно так, когда приходя к ним, мы их видим, слышим и осязаем. Все вещи «сами по себе» при их познавании, встречи с нами, делаются вещами для нас, даже тогда, когда не видя их, мы только думаем о них, ибо думаем о них мы (субъект), а не кто-либо другой. В каких-бы направлениях не подвигался субъект — он никогда

не найдет и не может найти мира самого по себе, ибо против объекта в опыте всегда стоит субъект. Когда говорят об объективном знании независимого от нас мира — это еще не значит, что в таком познавании субъект отсутствует. Человек никогда не может выпрыгнуть из самого себя. Поэтому, если верно, что нет субъекта без объекта, то с точки гносеологии верно и другое — нет объекта без субъекта. Вот эта связь Беркли, мне думается, и пытается выразить формулой, которая Вас так возмутила: esse est percipi, быть — значит восприниматься. Бытие всех вещей, находящихся вне нас, характеризуется тем, что они воспринимаются, ощущаются. Если объект не попал в наше восприятие (восприятие человечества) мы ровно ничего о нем не знаем и не можем знать существует ли он. А когда говорим, что объект существует — значит он попал или попадал в сферу наших восприятий, в сферу наших ощущений, зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. То обстоятельство, что Беркли защищал свою формулу аргументами туманными, недостаточно стойкими и ясными — простительно: его «Трактат о началах человеческого знания» появился в 1709 г.

В течение нескольких лет, а в особенности в течение трех лет жизни в Киеве, всякие споры и разговоры на философские темы были mon dada. В Женеве повода для таких разговоров не было, но когда ленинский «меморандум» открыл мне для этого двери, меня возбудил, подхлеснул, сознаюсь: — я уселся на моего dada и поскакал... Мне кажется, что мой дада не был Россинантом, хотя временами и спотыкался.

Ленин слушал, еле сдерживаясь от желания закрыть мне рот и, наконец, потеряв терпение, резко прервал меня, не дав окончить фразы. Он был явно взбешен и смотрел на меня прищуренными, злющими глазами.

— Поздравляю, договорились до точки! Без субъекта нет объекта! Не употребляя самых резких выраже-

ний, хотя они здесь были бы очень уместны, скажу, что профессорский тон не может скрыть вашего обскурантизма. Ваш обскурантизм просто невероятен. Вот пример, до каких перлов можно договориться, бросаясь с завязанными глазами в объятия темной, путанной, реакционной теории. Esse est percipi, субъект неотрываем от объекта! Неужели вам неизвестно, что земля, природа, объект существовали раньше, чем появился субъект, человек? Неужели вы не знаете, что был период, когда земной шар находился в раскаленном состоянии, что эта раскаленная масса охлаждалась и на ней лишь постепенно начали создаваться условия для органической жизни. В раскаленной массе мог ли существовать человек и познавать окружающее, находясь с ним, по вашему выражению, в какой-то неразрывной координации? Ведь это чушь! Вся эта мнимая философия — набор бессмысленных слов. Так можно дойти и до веры, что пророк Иона жил во чреве кита. Признаете ли вы указания науки, что в течение сотен тысяч лет на нашей планете не было человека и потребовалось неисчислимое время, чтобы сложить человека из клеток органической материи? Если признаете, от ваших формул о неразрывной связи субъекта и объекта, нелепых словечек, что без субъекта нет объекта — ровно ничего не останется. Ну, а если не признаете, тогда вам нужно взяться за самые элементарные учебники, чтобы освободиться от своего дикого обскурантизма.

Крупская, присутствующая при нашем споре, язвительно вставила:

— Неужели такие теории вы проповедывали в кружках уфимских и киевских рабочих?

Я посмотрел на нее и ничего не ответил. А вот Ленину, всё еще продолжая стараться быть спокойным, указал, что о «земной и небесной тверди» раньше сотворения человека говорит уже Библия и эту истину теперь

знают даже в младшем классе приходского училища. Но в отличие от приходской школы, где преподают без ссылок на гносеологию мы, с вами, товарищ Ленин, говорим именно о последней, однако у вас к ней какое-то странное и непонятное мне отношение. Когда я говорю, что с точки зрения теоретико-познавательной нет объекта без субъекта — вы отвечаете, что в раскаленной массе земного шара не может сидеть субъект-человек и эту массу наблюдать. За такое воззрение, избегая назвать меня идиотом, вы называете меня только темным обскурантистом. А познаваемый объект всё-таки не отрываем от субъекта. В самом деле — откуда вы знаете, что наша планета была в раскаленном состоянии и на ней не было жизни и человека? Знание о том дано ли мистическим сообщением какого-то духа или есть результат исследующего, создающего гипотезы познающего субъекта? Вас интересует только то, что земной шар находился в раскаленном состоянии, а теорию познания интересует как, каким путем, получено такое знание, каким контактом субъекта с объектом оно достигнуто, сколько в нем достоверности, и что с гносеологической точки зрения, нужно и можно считать достоверностью. Ученые палеонтологи и геологи описывают, какую флору, фауну, какое расположение морей и океанов имел, допустим, в архейскую эпоху земной шар, когда человека еще не было. Они делают это на основании находимых остатков флоры и фауны, различных осадочных минеральных отложений. По остаткам морских организмов и отложений находимых там, где сейчас нет никакого моря, они «логично» заключают, что здесь когда-то было море, ибо эти организмы и осадочные отложения свойственны морским пространствам. Так, в древнее время, если не ошибаюсь, Геродот из присутствия морских раковин в долине Нила сделал вывод, что вся территория Египта была когда-то под морской водой. Космография, космогония, историческая геология, па-

леонтология — все они, опираясь на логику — т. е. «законы» познающего субъекта и при мысленном самоперенесении его во времена доисторические, в пространства и миры неведомые, создаются по аналогии с ныне существующими или, по сведениям прежних поколений, существовавшими объектами. Все они в своем отправном пункте базируются на фактах, данных опыта, т. е. на системе ощущений человека. — Так совершается контакт субъекта с объектом в виде хотя бы «раскаленной массы» земного шара. «Глаз» современного человека за ней действительно «наблюдает» и теория познания объясняет как это нужно понимать. Вы это называете чушью, но если нет координации субъекта и объекта, — нет связи между ними — тогда нужно допустить чудо: познание без того, кто познает. А чтобы выйти из этого абсурда — следует мистически допустить присутствие некоего духа, сообщающего человеку о том времени когда не было человека. Это не лучше, чем вера о бытии Ионы во чреве кита. Во всех познавательных мысленных операциях с самоперенесением туда, где еще не было человека — конечно, есть элемент предположения, догадки, гипотезы. Раскаленное состояние земного шара, о котором Вы говорите с такой уверенностью, есть тоже только догадка, конструкция ума. Ошибками неуверенностью проникнута вся история человеческого познания. Она история гипотез, объяснений, считавшихся в свое время истинами и смены этих рождающихся и умирающих истин, замещающихся новыми. Умирающие, негодные истины, однако не так просто исчезают из нашего сознания и бытия. Язык тащит старые слова, а старые слова часто выражают отжившие свой век понятия. Наука пользуется, например, термином кислород, хотя теперь известно, что вещества обязаны кислотным свойствам не кислороду, а водороду. Мы говорим — солнце всходит, а это ложное понятие, существовавшее до Коперника и Галилея, когда не знали, что земля вра-

щается около солнца. Мах и Авенариус указывают, что не только философия, психология, психофизиология, но и физика, химия, механика пользуются словами-понятиями с явными следами когда-то царившего анимистического и мифологического миропонимания. Эти ложные понятия мешают построению новых истин, позволяющих познающему субъекту наиболее гармонично, полно, широко охватить объект, приспособляя мысли к фактам. В глубоком и новом подходе к изучению процесса познавания, его способов и форм, в стремлении очистить познанное от негодных понятий, утвердить его, по терминологии Авенариуса, на базе чистого опыта — великая заслуга Маха и Авенариуса и напрасно в Вашем меморандуме Вы называете их сочинения невежественной болтовней. Наибольшее невежество, обскурантизм и чушь вы находите в гносеологическом указании — нет объекта без субъекта. Субъект, говорите вы, не мог присутствовать в те времена, когда шар земной был в раскаленном состоянии и человек тогда еще не появлялся. Смею вас уверить, что гносеологически он всё-таки тогда присутствовал.

Развернув «Der Menschliche Weltbegrief» я попросил Ленина вдуматься в следующие слова Авенариуса:

«Мы можем представить себе такую среду, в которой нет и никогда не было никакого индивида, но представляя или мысля эту среду, мы *никак не можем откинуть себя,* центрального члена, который представляет, который мыслит эту среду. Что мы можем сделать так это или игнорировать себя, или вообразить время, когда не было ни одного существа. Однако, как в том, так и другом случае, мы всё равно будем налицо, то как сознательно вопрошающие зрители, то как зрители, которые так увлеклись зрелищем, что забыли о себе».

— Что вы скажете по поводу этого? — спросил я Ленина.

— Скажу, что это чушь, гелертовские выверты, Schrüllen, не имеющие для науки никакой цены.

Было ясно, что мы говорим на разных языках. Наш спор затем длился более двух с половиной часов и стена между нами подымалась всё выше. Моментами это была настоящая буря; Ленина охватывало ничем несдерживаемое бешенство и по адресу Маха, целясь, конечно, в меня, он, не стесняясь, кидал град выражений вроде — дичь, идиотские выверты, темнота, дребедень, невежество, глупость, бессмыслица, идеалистическая чепуха, жалкая болтовня и т. д. Начав спор очень спокойно, я тоже стал раздражаться и чем дальше, тем всё более. Я стал говорить с Лениным тоном, лишенным почтительности, которую перед ним до этого проявлял я, как все большевики. На замечание Ленина, что разделяя взгляды Маха, непременно приду к ревизионизму и отрицанию марксизма, я ответил ему: «Пожалуйста, оставьте в покое ревизионизм. Спор идет не о нем, а о том, есть ли дважды два — четыре или как вы доказываете — пять. Приплетая сюда ревизионизм, вы из области, в которой очень слабы, хотите уйти и ловко повернуть в область, где вы очень сильны».

Еще более резко я ответил Ленину, когда после моей ссылки на некоторых философов (на Фейербаха и Петцольта) он саркастически заметил: «Не уподобляйтесь тургеневскому Ворошилову, не думайте пронять меня «образованностью». Философией меня не напугаете, я сам ею достаточно занимался в ссылке в Сибири».

— Вот что уже совсем не видно! — воскликнул я. — Значит, не в коня корм пошел. Не пробуйте ваш авторитет перенести в область философскую, на такой перенос я никак не могу согласиться.

Словом, я взбунтовался. Это лишь усиливало раздражение Ленина. Из всего, что он говорил было несомненно, что его благоволение ко мне испарилось,

исчезло без остатка в самый короткий срок в процессе спора. Несколько дней до этого он с доверием поручал «Н. Нилову» выполнение секретного плана, теперь на того же Нилова он смотрел уже, как на врага. Я не мог понять, что, в его глазах больше всего превращает меня в врага? То ли, что я взбунтовался, т. е. вышел из большевистского состояния признания и подчинения его авторитету, то ли, что, будучи «махистом», обнаруживаю «реакционный обскурантизм», несовместимый с философским материализмом, иначе говоря, совершаю преступление против марксизма, за которое, по его словам, человека нужно бить «по морде» и «лепить на нем бубновый туз». Раздражение Ленина дошло до того, что он стал с руганью прерывать меня на каждой фразе, на что, озлобясь, я крикнул ему: «Или вы перестанете прерывать меня окриками и ругательствами и будете культурно вести спор, или, если это для вас невозможно, — я уйду!

Ленин, словно кто-то его дернул, сразу переменил тон, иронически сказав: «Говорите, я постараюсь «культурно» слушать и вас не прерывать».

И действительно, после этого, но то было уже в конце нашего спора, он ни разу не прервал меня. Передать всё, о чем мы в течение более двух с половиной часов спорили, нет ни возможности, ни надобности. Остановлюсь лишь на том, что предшествовало концу спора. Я всё время пытался обратить внимание Ленина на разные ценные стороны эмпириокритицизма: на теорию познания, которую развивает Авенариус, рассматривая центральную нервную систему и ее колебания; на биологическую основу познания, на принцип экономики сил в мышлении, на требование так называемого «чистого опыта», на глубочайший реализм предпосылок Авенариуса и Маха. Ленин, не желая это слушать, всё отпихивал, говоря: «Перейдем теперь к главному», а главное — он видел в непримиримости материализма с «идеалисти-

ческой галиматьей Маха». Ссылаясь на Плеханова и Энгельса, он в следующем виде формулировал «великую истину материализма». Вне нас и совершенно независимо от нас существует мир материальных вещей; воздействуя на наши органы чувств они порождают в нас ощущения, благодаря чему мы узнаем свойства вещей. Эта «великая истина» есть, конечно, только маленькая обывательская философия. С нею можно прекрасно жить, она никому не мешает, но, что бывает почти со всеми обывательскими истинами, начинает немедленно тускнеть при малейшем анализе. Ленину был чужд этот анализ и в сознании полного обладания «великой истиной» — он с презрением отвергал «галиматью» Маха. Механически вырывая одну цитату из его книги, упорно игнорируя (видимо, не читая) сопутствующие ей объяснения, он, в своем «меморандуме» и непрестанно в течение спора, твердил: Мах пишет, что не тела, не материальные вещи, вызывают в нас ощущения, а наоборот ощущения образуют тела. — А ну-ка попробуйте доказать, что это не дичь, не идеалистическая болтовня?

— Хорошо, попробую это сделать. В комнате на столе было несколько яблок. Я взял одно и сказал: вот эту материальную вещь, это яблоко, можно взвесить, определить его объем, удельный вес, узнать сколько в нем сахара, какова его кислотность, можно найти элементы, образующие его запах и цвет. Ботаники определяют всякие другие его свойства, породы яблок, границы распространения культуры яблока и т. д. Изучая яблоко и другие материальные тела этим способом мы пользуемся методом, который Мах называет физическим. Мы рассматриваем эти тела как мир независимых от нас вещей. Наше присутствие не вызывает их существования, наше отсутствие не прекращает их существование. Но близоруко думать, что нас тут нет. Мы только отбросили, забыли нашу персону и не считаемся с тем, какую роль в исследовании этого яблока играют наши

органы чувств. А между тем достаточно перерезать, например, глазной нерв и сразу пропадает огромная часть нашего знания о яблоке. Оставляя физический метод познания, перейдем теперь к психологическому анализу, т. е. примем во внимание наше исследующее «я». Что представит собою яблоко, если восприятие его мы сведем к простейшим уже дальше неразложимым элементам? Яблоко желтокрасного цвета. Это — ощущение зрения. Оно имеет вес — ощущение осязания. Оно сладко — ощущение вкуса. Оно хорошо пахнет — ощущение обоняния. Падая со стола, оно стукнет — ощущение слуха. В целом, с точки зрения психологического анализа, что такое яблоко, что такое все остальные материальные вещи? Сложный комплекс ощущений и только из них мы составляем о них наши представления, наше знание. Если бы независимое от нас яблоко стало невидимым, неосязаемым, недоступным ни одному из наших ощущений, могли бы мы сказать, что оно существует? В чем же тут чушь, где тут галиматья?

— Чушь вы совсем не устранили, — с усмешкой ответил Ленин. — Можете целый день твердить о комплексе ощущений, а яблоко всё-таки не будет ощущением. Яблоко там (Ленин показал на стол), а ощущение здесь (и Ленин показал на голову). Ощущение есть только свойство наших органов чувств, след, которое оставляет яблоко, — причиняющее это ощущение. Ощущения дают нам знать об яблоке, но они не яблоко, оно вне их и ощущениями не покрываются. Если человек психически не болен, он никогда не будет смешивать в нем находящееся ощущение с причиной вне его находящейся и это ощущение вызывающее.

— Насколько понимаю, вы хотите сказать, что когда, производя психологический анализ, мы восприятие яблока разложим на последние элементы, на ощущения, всё-таки они, как ощущения всякой материальной вещи, не представляют предмета, а только свойства его, он

сам остается *«вне их»*, если употребить выражение Канта — «вещью в себе», «вещью самой по себе»?

— Да, я так думаю и Кантом меня не испугаете. Плеханов, а он философ не чета вашему Маху, неоднократно указывал, что мы материалисты признаем вещь в себе и считаем ее познаваемой, в этом пункте мы резко расходимся с идеалистами, которые считают вещь в себе непознаваемой. Извините меня, что оскорблю вашего учителя, но должен сказать, что нужно быть идиотом как этот Мах, чтобы не признавать вещей в себе и вместо них говорить о каких-то комплексах ощущений. Ведь совершенно ясно, что у Маха за непризнанием вещи в себе стоит отрицание независимого от нас материального мира. Вещи в себе, представляя материальный вне нас находящийся мир, действуют на наши органы чувств и вызывают ощущение. Только невежды могут не знать и не понимать этого неопровергаемого, основного положения материализма.

— Позвольте ответить. Указываемое вами основное положение материализма столь просто, что не слыхать о нем действительно могут только невежды, но слышать о нем не значит разделять его — слишком уже оно примитивно. Вы говорите, что ощущение находится в человеке, а причина ощущения вне его. Мне кажется, что природа ощущения вам неясна. Вы смешиваете его с мыслями и чувствами. Мы часто слышим, например, такие выражения: я чувствую холод и ощущаю неудовольствие. Чувства удовольствия, неудовольствия, печали, радости, боли, испуга — это действительно во мне, также как и мысли, но про ощущения тепла, холода, света, сладости, звука — нельзя сказать, что они во мне, вопрос много сложнее и теория познания — его и хочет выяснить. Вспомним с чего — по эмпириокритицизму, начинает познавать всякий нормальный человек. В своем опыте, этом непрекращающемся всю жизнь контакте субъекта и объекта, «я» и «не я», он находит, застает

себя как центрального члена координации, в которой противочленом среда или другой человек. Эта среда, или, как вы всё время говорите, независимый от нас материальный мир, состоит из элементов различного цвета, запаха, теплоты, звука, движения, давления, притяженности и т. д. Когда отвлекаясь от нас самих, изучаются эти элементы в их взаимозависимости, их связи, воздействии одних на другие, — мы находимся тогда в области физического исследования, но когда принимаем во внимание наше «я», наше тело, из области определяемой мы переходим в область определяющего, в область психологического анализа. Один и тот же объект в контакте с субъектом выступает то как элемент физический, то как элемент психологический — ощущение. Здесь нет различия содержания познаваемого, а различие в точке зрения, в подходе к тому, что в опыте дается в неразрывной связи — звук (например, дрожащая струна) и ощущение звука, свет (зажженная лампа) и ощущение света, холод (кусок льда) и ощущение холода. При таком понимании вещей можно ли говорить, что ощущения находятся в субъекте? Ваша философия утверждает, что вещи в себе, воздействуя на органы чувств, причиняют ощущения. Но когда мы находимся в области физического исследования, не принимая во внимание наших органов чувств, мы в этом поле никогда не встретим «вещей в себе», а только вещи и никогда не найдем ощущений, ибо изучаемый физиологический объект (человек) имеет мозг, в нем разные клетки, сосуды, серое вещество, но ни один микроскоп в нем не обнаружит ощущений, чувств, мыслей. Об ощущениях, повторяю, можно говорить лишь покидая точку зрения физического исследования и переходя к психологическому анализу, но и в этом случае нет места заявлению, что вещи в себе, действуя на наши органы чувств, причиняют ощущения. При психологическом анализе яблоко, о котором мы говорили, есть комплекс ощущений зрения,

вкуса, обоняния. За ними ничего уже больше не стоит. Эти элементы уже не разлагаемы, они являются конечными, простейшими элементами нашего опыта. Нельзя себе представить, и никто этого себе не представляет, на какие еще более простые элементы можно разложить ощущение обоняния, света или звука. Что происходит когда говорят, что вещи в себе как причина стоит за нашими ощущениями? Происходит совершенно ложная гносеологическая операция. Разложив «вещь в себе» (яблоко) на ощущения, мысленно эту вещь вновь собирают, соединяют, придают ей прежний вид и подставляют ее за ощущения как их причину. В задачу теории познания входит борьба с такого рода гносеологическими операциями, внушаемыми негодными понятиями, мешающими познанию, правильному приспособлению мыслей к фактам. Можно показать как исторически слагалось понятие о различии между вещью в себе, вещью по себе и вещью для познающего субъекта, но это понятие, которое, вслед за Кантом и Плехановым вы пользуетесь — негодно, порочно. Для разрушения его много сделали и Юм, и Берклей, и Гегель. Гегель называл вещь в себе caput mortuum абстракции, пустейшим продуктом мысли, в котором отвлеклись от всего, что делает эту вещь в себе доступной сознанию. Гегель смеялся над теми, кто думает, что это отвлечение от всяких чувственных элементов стоит позади явлений, — есть, как Вы говорите, материальная причина ощущений.

Вполне допускаю, что отвечая Ленину (передаю лишь частицу того, что говорил) я был слишком многословен. Знаю, что «многословие», от которого ныне освободился с уклоном в обратную сторону, было большим моим недостатком. Вполне допускаю и другое, что защищаемые мною взгляды можно было бы формулировать не только кратче, но много яснее, лучше. Но после заявления, что он будет «культурно» меня слушать, Ленин всё-таки меня не прерывал. Засунув пальцы

за борта жилетки, он ходил по комнате, моментами останавливался против меня, язвительно усмехался, пожимал плечами, иногда бросал подмигивающий взгляд Крупской, отвечавшей на это сочувственным пожиманием плеч, и снова продолжал ходить. Когда я остановился, он ответил мне речью не менее длинной, чем моя. Вот ее основные «фрагменты».

— Я вас «культурно» выслушал, а теперь «культурно» выслушайте меня. Вам непременно надо быть приват-доцентом по кафедре философии, теологии, в Германии. Это был бы логический, прямой, ход из семинара Булгакова. К тому же вы тут что-то уже упоминали о мистике, о божестве. У приват-доцентов немецких философских факультетов особые качества — они невероятно многословны и отличаются способностью превращать всё в сплошной туман, а стоит подуть на этот туман — за ним обнаруживается галиматья. Я не думаю, чтобы эти приват-доцентские качества украшали социал-демократа. Представьте себе, что какой-нибудь рабочий спросит вас: товарищ, объясни мне, пожалуйста, что это за штука «вещь в себе». Если вы ее объясните как только что сделали, т. е. с туманом и многословием, он почешет в затылке и подумает: ровно ничего не понял, знать эта штука не по моему пролетарскому уму. А почему он не поймет? Потому, что простые, непреложные, доступные каждому рабочему, каждому нормальному человеку, истины материализма вы отбросили и заменили их дребеденью. Мы, материалисты, можем объяснить «вещь в себе» и, вопреки Канту, ее познаваемость так, что эту, якобы, мудреную штуку поймет всякий рабочий. Я вам сейчас покажу как с этим вопросом справляется, например, материалист Лафарг. Занявшись Махом, вы его, конечно, не читали. Подождите минутку.

Ленин вышел из кухни-приемной и поднялся в верхние комнаты. Крупская, отвернувшись от меня, смотрела

в окно. Из всех углов комнаты, чудилось мне, смотрит и лезет на меня враждебность. Не нужно было, думал я, допускать града ругательств, сыпавшегося на меня. Как только Ленин вручил свой меморандум, стал говорить о позорном, якобы, влиянии на меня Булгакова, — мне следовало раскланяться и уйти. Позволять сажать на меня бубновый туз, слышать не возражения по существу, а окрики — не желаю. Если это приведет к разрыву всяких отношений с Лениным, — пусть будет так!

Ленин возвратился держа в руках журнал «Socialiste» со статьей Лафарга «Материализм Маркса и идеализм Канта». В назидание мне он прочитал из статьи ниже приводимое место, которое я привожу в его переводе (ужасном переводе). К моему ошеломлению, именно эту цитату он счел нужным в качестве чего-то глубокого и остроумного, привести четыре года спустя в своей книге «Материализм и Эмпириокритицизм».

— Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что колбаса приятна и питательна для тела. Ничего подобного, говорит буржуазный софист, всё равно зовут ли его Пирсоном, Юмом или Кантом. Мнение рабочего на этот счет есть его личное, т. е. *субъективное* мнение, он мог бы с таким же правом думать, что хозяин его благодетель и что колбаса состоит из рубленной кожи, ибо *он не может знать вещи в себе.*

У меня волосы стали дыбом от Лафарговской философии.

Теряя контроль над собой, я резко прервал Ленина и не стал слушать; на этот раз не он, а я пришел в бешенство.

— Так как эту рубленую кожу, — крикнул я, — вы считаете украшением материалистической философии — дальнейший спор с вами излишен и бесплоден.

Ленин сначала опешил, а потом ответил:

— Совершенно верно, разговор с вами не нужен и бесполезен.

Схватив книги, что приносил Ленину, я выбежал на улицу. Идя домой в самом собачьем настроении, я думал: кубарем выкатился от Плеханова, точно облитый кипятком выбежал от Ленина. Здесь дело не в одном только расхождении в области философии. Здесь причиной — невероятная нетерпимость наших вождей и больше всего дикая нетерпимость Ленина, не допускающего ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений. Могу ли я при этих условиях быть членом большевистской организации, во всем беспрекословно следующей за Лениным.

ДВЕ ВСТРЕЧИ. ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ С ЛЕНИНЫМ

В конце июня Ленин и Крупская уехали бродить по горам. Потом они поселились для отдыха недалеко от Женевы в пансионе около Lac de Bré, куда из Парижа приехал Богданов и его жена. Это был (lune du miel), медовый месяц в отношениях Ленина с Богдановым. В это время я почти перестал интересоваться Лениным. После конфликта с ним меня сверлила неприятная догадка, что централизм, это основное требование организационной схемы большевиков, может стать для партии действительно невыносимой «петлей на шее», если будет возглавляться человеком с слепой нетерпимостью Ленина. До сих пор я не придавал никакого значения тому, что писала «Искра» о Ленине и большинстве. Брошюры, например, Мартова, его статьи «Кружок или партия», как и другая литература меньшевиков, проходили мимо меня не оставляя следа, не подрывая веры, что прав Ленин, а не «ново-искровцы». Столкновение с Лениным, вызвав перелом в психике, толкнуло к более внимательному отношению к меньшевистской критике, особенно к тому, что с 1-го июня стало появляться в «Искре» о «Шаг вперед — два шага назад». В статьях «Вперед или назад», где Мартов, в частности, отмечает «злобу Ленина» и его «поразительную самовлюбленность» многое мне показалось правильным, только думалось — нужно говорить не о «самовлюбленности» Ленина, а о чем-то ином более сложном, хотя оно было столь же неприятным. Пришлось согласиться с Марто-

вым и в том, что Ленин «прямехонько ведет к раздроблению партии». Это вполне совпадало с тем, что собственными ушами во время прогулок я слышал от самого Ленина. Задумался я и над указаниями Мартова, что лишь при «извращении марксизма» нужно видеть в нем «современный якобинизм» и что Ленин является представителем консервативной тенденции в партии, «боящейся всякого критического отношения к наследству «Искры». А в этом наследстве, вследствие роли, которую в «Искре» играл Ленин с его «Что делать», — не всё было благополучно. В статьях Плеханова было, например, указано, что нужно считать большой ошибкой утверждение Ленина будто рабочий класс в ходе своего развития не вырабатывает элементы социалистического сознания, а они привносятся в него «извне» революционной интеллигенцией, этот же пункт я никогда не разделял в очаровавшей меня в 1902 г. книге Ленина. Большое впечатление начали на меня производить и указания меньшевиков, что «бесстыдное», по выражению Мартова, заявление «представителей Уфимского, Средне-Уральского и Пермского комитетов» о необходимости для социалистических партий организационно подготовлять диктаторов — не есть только глупость, безграмотность или ошибка, а какое-то течение мысли, согласующееся с самим духом организационной схемы Ленина. В марте мне не казался обоснованным ужас Мартынова по поводу заявления «уральских представителей». Следуя совету Ленина, я склонялся видеть в нем лишь неудачную литературу. В июле я уже иначе смотрел на этот вопрос. Словом, постепенно я стал уходить от «ленинизма», однако, не порвал еще с большевистской группой и попрежнему посещал столовую Лепешинских. Всё-таки подписать коллективное письмо в июле 37 большевиков в защиту Ленина я под разными предлогами уклонился, вызвав тем самым подозрительное отношение ко мне некоторых большевиков и, раньше других,

Лепешинского. Как раз в июле, когда собирались подписи под письмом 37, произошла моя встреча с Мартовым и о ней, в связи с последовавшим разрывом с Лениным, нужно обязательно рассказать.

Мартынов как-то спросил меня: куда уехал Ленин. Я ответил, что с Лениным поругался, где он теперь находится, не знаю и не интересуюсь. Так как Мартынов до сих пор знал меня как «твердокаменного» поклонника Ленина, мои слова вызвали в нем большое любопытство: из за чего я поругался? Я кратко ответил — из за философских вопросов и распространяться на эту тему не стал. Мартынов передал об этом Мартову, у того это тоже вызвало любопытство; что случилось, нельзя ли об этом узнать поподробнее? Ведь каждый из враждующих станов пользовался всяким случаем, проведать, что делается в недрах противника. С Мартовым я не был знаком, но он знал меня, потому что два раза я выступал против него на собраниях и, говоря правду, из поединка с таким полемистом как Мартов вышел в обоих случаях сильно помятым. Мартынов не сказал мне — о том я узнал много позднее, что устраивает встречу мою с Мартовым. Он назначил мне свидание в одном кафе на Plaine de Plainpalais и туда, как бы случайно, заглянул Мартов, с которым я остался один на один, так как Мартынов скоро ушел.

— Правда ли, как гласит молва, спросил Мартов, вы поссорились с Лениным из за того, что в некоторой части защищали нынешние взгляды Булгакова?

— Откуда идет эта поганая женевская сплетня?

— Это передавало лицо, беседовавшее с самим Лениным.

Зная принцип Ленина лепить «бубновый туз» на несогласных с ним, я мог свободно предположить, что, действительно, такой слух пустил он сам, но так как мне хотелось подчеркнуть пред Мартовым, что я не

превратился в меньшевика и, несмотря на стычку с Лениным, готов его защищать, я сказал:

— Не допускаю мысли, что это Владимир Ильич пустил такую сплетню. Из знакомства с ним в течение полгода я убедился, что сплетни он не любит. Спор с ним шел совсем не о взглядах Булгакова, а по поводу другой философии.

Конечно, я кривил душою, Мартов в течение нескольких лет тесной работы с Лениным наверняка знал лучше меня насколько «Ильич» любит всякие партийные сплетни. Однако, вероятно, учтя мою реплику, показывавшую, что он не должен ждать от меня критики Ленина, Мартов, оставляя вопрос о сплетнях, спросил:

— О какой же философии вы с Лениным дискуссировали, не о той ли, что проповедует Богданов[37]?

— Нет, речь шла о другой философской системе — об эмпириокритицизме Авенариуса и Маха. Богданов стоит гораздо ближе к Оствальду, чем к Авенариусу и Маху. Впрочем, лучше всего об этих вопросах не говорить, в три или пять минут их не изложишь.

— А над нами не каплет, — сказал Мартов, — я свободен, могу слушать, если это нужно, даже три часа.

Хотя несчастные пробы касаться в Женеве философских вопросов в разговоре сначала с Плехановым, а потом с Лениным, должны бы раз навсегда пресечь у меня охоту их продолжать, заявление Мартова снова распалило у меня желание сесть на моего dada. То было 48 лет назад; если о многом я теперь думаю эклезиастически: «суета сует — всё суета», то тогда был полон прозелитизмом. К философии, как необходимому талисману, укрепляющему «цельное мировоззрение», бы-

---

[37] Мартов, разумеется, знал, что в это время Ленин видел в лице Богданова главного союзника в борьбе с меньшевиками. Поэтому, его вопрос не лишен язвительности!

ло не безразличное и не теплое отношение, а пламенное, иногда до смешного пламенное. Внедрить эмпириокритицизм в марксизм представлялось задачей первостепенной важности. Эмпириокритицизм даст марксизму недостающую ему гносеологическую основу, позволит «элиминировать» (это словечко было постоянно у меня на языке!) его слабые стороны и еще более цементировать сильные. Мне казалось, что в марксизме нужно произвести очистку понятий, подобную той, что в физике и химии произвел Мах. Все основные понятия марксизма, каковы, например, «общественное бытие», «общественное сознание», «производительные силы», «производственные отношения», «класс», «идеология» и другие должны подвергнуться гносеологической критике, в итоге чего быть установленными твердо, с максимальной точностью и ясностью. Раз Мартов, один из лидеров меньшевизма, сидит предо мною и, в отличие от Плеханова и Ленина, готов слушать «хоть три часа», — как не воспользоваться такой исключительно благоприятной обстановкой, не рассеять могущие проникнуть в партию ложные суждения об эмпириокритицизме! Это тем более необходимо, что эмпириокритическая философия неизвестна партии и, не знакомясь с нею, ее уже начали смешивать с «эмпириомонизмом» Богданова (таково было название его книги, появившейся в 1904 г.). А взгляды его, по моему тогдашнему убеждению, были глубоко неверны: защищаемая им психоэнергетика, изобретая «душевную энергию», требует помещения психических явлений и явлений сознания в общий энергетический ряд, она говорит о прямом переходе процесса психического в непсихические процессы, — в ряд тепловой, световой, механической энергии, что противоречит закону сохранения энергии. И вот воспользовавшись желанием Мартова слушать — я начал, следуя за «Kritik der reinen Erfahrung», излагать биомеханику познания Авенариуса, потом взгляды Маха, отношение психиче-

ского к физическому, теорию интроекции в «Человеческом понятии о мире». и т. д.

Воспоминание об этой первой встрече с Мартовым, а не о тех позднейших, что я имел с ним в 1906 г., в 1913 г. и в 1917 — осталось невырываемым из моей памяти. Мартов сидел предо мною в какой-то, по своему обыкновению, изогнутой позе. Пенсне всё время спадало с его носа, он то и дело поправлял его и поверх стекол бросал на меня близорукий взор красивых и добрых глаз, столь непохожих на ленинские. Ленин не курил. Мартов не вынимал папиросу изо рта и слушал, смотря на кончик папиросы. Когда она подходила к концу, от нее он закуривал новую: за три часа, что мы были вместе, он выкурил, вероятно, не менее 35 штук. Чем внимательнее он слушал меня, тем более я входил во вкус изложения эмпириокритической теории, тем более росло восхищение Мартовым. Он был удивителен. Суть незнакомых ему вопросов, он схватывал с поразительной тонкостью и быстротой. Когда я запинался, затруднялся облечь мысль в ясное выражение, Мартов немедленно приходил на помощь и то, что я хотел бы сказать, — формулировал раньше меня. Смотря на кончик папиросы и размышляя, он находил вариации искомой формулировки и говорил: «вот так, мне кажется, будет лучше, вернее». Меня, уже несколько лет занимавшегося этими вопросами, быстрота с которой Мартов схватывал разные проблемы, так ошеломляли, что я несколько раз останавливался и спрашивал: но это вам уже известно? В том и дело, что *это* раньше ему не было известно. Он схватывал всё налету. Например, в отличие Ленина он понял, что хотел сказать Беркли своей формулой esse est percipi, но правильно заметил, что скорлупа этой формулы так жестока, что «может отбить охоту ее разгрызть и добраться до ядра ореха». Мельком в связи с этим я упомянул, что Ленин пришел в раздражение, услыхав от меня такие формулы, как «без

субъекта нет объекта, без объекта нет субъекта». Содержание, скрывающееся за этими, еще более трудно разгрызаемыми, формулами, Мартов тоже превосходно понял, всё-таки заметив, что на моем месте, в интересах защищаемой мною философии, он никогда бы не пользовался формулами, которые «эпатируют» настолько, что от них ««лошади способны шарахаться в сторону».

Мартов умер в 1923 г. в Берлине в эмиграции (третий раз!) на пятидесятом году. Заседания, собрания, прения, споры, волнения, нескончаемое словоговорение, бессонные ночи, невынимаемая изо рта папироса, эмигрантская тина — погубили этого талантливого человека. Даже удивительно, как при такой жизни его хилый организм дотянул до 50 лет. Как тургеневский Рудин, он мог бы сказать: «Природа мне многое дала, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих». Он написал множество газетных и журнальных статей, брошюр, неоконченную книгу воспоминаний, но то, что он дал лишь небольшая, невеская, частица того, что мог бы и должен бы дать. Если бы этот человек освободился от связывающего его мозг ортодоксального марксизма, способность быстро схватывать и понимать самые сложные проблемы сделала бы из него первоклассного теоретика, обеспечила бы ему проникновение в самую гущу социальных явлений.

Расставаясь со мною после длительной беседы, в течение которой, хочу сугубо подчеркнуть, ни разу не был поднят вопрос о партийных разногласиях и роли в них Ленина, Мартов в дружеской форме мне сказал:

— Должен вам сказать, вне того, что читал у Маркса, Энгельса, Плеханова, я мало занимался философией. Прочитал Канта, читал Гегеля, кое кого другого, осилил несколько историй философии, но такого багажа мало, чтобы как следует разобраться и судить об ошибках или действительной ценности той философии, о кото-

рой мы с вами говорили. Какой вывод у меня слагается из разговора с вами? У марксизма вы хотите вынуть всю его традиционную испытанную в боях философию и заменить другой. Вы думаете, что такая операция никак не отразится на основных частях революционного марксизма, а лишь укрепит их. Этот взгляд я совершенно не разделяю. Скажу вам откровенно — соединение марксизма с защищаемой вами философией мне представляется как один из видов ревизионизма. Трудно допустить, что этот ревизионизм не перекинется в область социологическую, экономическую, политическую. Пример Струве, начавшего с замены материализма философией Риля, — дает именно такую картину. Но эмпириокритицизм, как я мог заключить из нашего разговора, философия более серьезная, чем Риля и чем те, которыми пользуются Бернштейн и другие ревизионисты. Поэтому, с ним нужно бороться не наскоком, а серьезной критикой, основательным анализом.

Расставшись с Мартовым я думал: сильно же отличается он от Ленина! Это два разных психологических типа. С тем и другим пришлось обсуждать одни и те же вопросы, а какая разница в самом подходе к ним. Мартов прежде чем их откинуть — хочет понять. Ленин же (как и Плеханов) считает, что нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь; Мартов говорит — нужен не наскок, а серьезная критика, Ленин же, очертив вокруг себя круг, всё, что вне его топчет ногами, рубит топором. И опять, уже не первый раз, меня укусила мысль: большевик ли я, в какой степени я большевик? Если речь идет о волюнтаризме и проявлении воли, которое меня так прельстило в ленинском «Что делать» и чего я инстинктом чувствовал нет у Мартова и других меньшевиков (я никогда не забывал киевского Александра — Исува!), — тогда и *только по этому признаку* — я большевик. Но этого ведь еще недостаточно, чтобы я продолжал считать себя связанным принадлежностью

к большевистской группе. Связь с нею разбил сам Ленин и после свидания с Мартовым, произведшего на меня несомненное впечатление, эта связь стала еще слабее, превратилась в тонкую ниточку.

Симпатия к Мартову, появившаяся во время нашей встречи, наверное усилилась, если бы я знал следующий факт. В № 77 «Искры» (от 5 ноября 1904 г.) появилась статья Ортодокс (Л. И. Аксельрод) под заглавием «Новая разновидность ревизионизма». В это время всем уже стало известным, что большевики создают свою собственную партию, готовятся организовать свою газету и во главе этого политического предприятия стоит, кроме Ленина, Богданов. «Дуумвират» Ленина и Богданова подвергся обстрелу меньшевиков. Каким это образом Ленин — ультра-ортодокс, не выносящий за тысячи километров малейшего запаха ревизионизма, — оказался в политическом браке с «господином» Богдановым, явным ревизионистом, ибо он не признает философии ортодоксального марксизма? Куда делась принципиальная непримиримость, которой так щеголял Ленин, когда писал против оппортунистов и ревизионистов «Шаг вперед — два шага назад»? С явным намерением прищемить Ленина и столкнуть его с Богдановым, Л. Ортодокс и начала свою статью следующими словами:

«Приблизительно года полтора тому назад Ленин обратился ко мне с предложением выступить против новой «критики» марксовой теории, выразившейся в сочинениях г. Богданова. Ленин энергически настаивал на том, чтобы я немедленно занялся оценкой этого течения. Он говорил мне при этом, что он обращался с этим предложением к Плеханову, но что Плеханов, вполне разделяя необходимость такой работы, тем не менее отказался от нее, вследствие более насущных и неотлагательных партийных занятий».

За сим следовала критика «ревизионизма» Богданова и указание, что свои неверные взгляды он черпает

из философии Авенариуса и Маха, а эти люди якобы отрицают существование независимого от нас материального мира и во внешнем предмете усматривают лишь метафизическое предположение. Статья Ортодокса была до чрезвычайности слаба. Из нее проступало полное непонимание эмпириокритицизма, сущность которого она излагала несвязанными, аляповатыми, фразами. Ошибки Богданова, порожденные не эмпириокритицизмом, для человека знающего его произведения — заметить очень легко. Ортодокс прошла мимо них. Плеханов, в то время, нет сомнения, незнакомый с эмпириокритицизмом и смешавший его с философией Богданова, от вступления в печатный бой дипломатически уклонился, а толкнул свою ученицу Ортодокс и в этом первом выступлении ортодоксии против эмпириокритицизма — она сильно осрамилась. Хорошо помню, что на меня ее статья произвела тягостное впечатление. Она напомнила rue du Foyer, где Ленин пытался растерзать эмпириокритицизм с помощью ругательств. Она мне напомнила другое: три месяца пред этим Мартов мне говорил, что с эмпириокритицизмом нельзя бороться «наскоком», против него нужно направить только серьезную, основательную критику. Почему же Мартов, будучи одним из редакторов «Искры», печатает теперь «наскок» Ортодокса? Хорошие слова Мартова, решил я, разошлись с его делом. Я ошибся. Через двадцать лет — Мартова уже не было в живых — я узнал из журнала «Пролетарская Революция» (1924 г. № 1 стр. 200-202), что он был решительно против помещения в «Искре» статьи Ортодокс, на чем настаивал Плеханов и, в угоду ему, вероятно, Аксельрод и Засулич. Не ограничиваясь словесными возражениями, Мартов выразил свой протест даже в форме письменного заявления:

«Признавая статью тов. Ортодокс в научном отношении посредственной, а в литературном отношении неподходящей для политической газеты, я, сверх того ду-

маю, что такая статья *слабостью* своей критики и неубедительностью заключающихся в ней обвинений против нового рода ревизионизма может только способствовать популярности распространяющегося в рядах социал-демократии модного философского течения. Признавая серьезную идейную борьбу с новым видом ревизионизма, я, думаю, что эта борьба должна вестись не с помощью газетных статей, а в «Заре», где только и возможна тщательная и глубокая критика теоретических заблуждений Богданова и Ко.»[38].

Читая в 1924 г. это заявление, я думал: а всё-таки недаром я просидел с Ю. О. Мартовым три часа в кафе на Plaine de Plainpalais, излагая ему эмпириокритицизм. Если думу мою почтут проявлением самомнения — не буду возражать.

После встречи с Мартовым, а в этом простом факте Ленин, о чем ниже, усмотрит мое «двурушничество», не могу рассказать о другой встрече, на этот раз с Богдановым, а беседа с ним мне дала понять насколько с конца июня, сменив полосу «благоволения», — стало враждебно ко мне отношение Ленина.

Богданов, как и Ольминский, приехал в Женеву в феврале 1904 г. Я познакомился с ним у Ленина. В конце февраля или начале марта Ленин пригласил Богданова, его жену, Ольминского и меня сделать прогулку

---

[38] Статья Ортодокс вошла в ее книгу «Философские очерки», изданную в 1907 г. Первые годы советской власти Ортодокс (Л. А. Аксельрод), вместе с Дебориным, считалась охранителем чистоты марксистской материалистической философии. Пишущему эти строки пришлось с нею резко полемизировать в печати, что не помешало нам в 1922 и 1926 г.г. вести весьма мирные разговоры. На книжных полках ее комнаты, будучи у нее в 1926 г., я, увидев весь синклит Эмпириокритических философов, спросил: неужели вы продолжаете думать о них, как в 1904 г.? Л. И. Аксельрод очень честно призналась, что она во многом изменила свой взгляд на них. «Можно не соглашаться с ними, сказала она, но это серьезная философия».

в ближайшие к Женеве горы: во время ее много говорилось об «интенсификации» борьбы с меньшевиками. Потом я видел Богданова два раза по следующему поводу. Я рассчитывал, что Богданов, имевший в России обширные литературные связи, окажет протекцию для помещения в журнале «Обозрение» моей статьи об экономическом положении Донецкого бассейна, составленной, главным образом, по данным «Торгово-Промышленной газеты». Основную мысль газеты о низком уровне развития южно-русской угольной промышленности и металлургии Богданов признал совершенно правильной, но нашел, что статья в литературном отношении слаба, ее всю нужно переделать, перекроить, заново написать. Я показал ее Ленину. «Неправда, сказал он, статья не плохо написана. Она ясна и грамотна, большего не нужно. Беда ее в другом: основная мысль в ней — ни черта не стоит! Нельзя говорить о низком уровне индустрии юга. Она развивается темпом, превышающем американское развитие. Не принимать этого во внимание, преуменьшать быстрый ход капиталистического развития, а вместе с ним еще более быстрое развитие рабочего движения, при том в форме революционной, — значит повторять народнические ошибки и не видеть открывающихся перед нами больших перспектив».

После таких противоположных отзывов, не зная какому богу молиться, я статью уничтожил.

Из Женевы Богданов уехал в Париж и встретиться с ним пришлось лишь в начале августа. Он жил в это время, как уже упомянуто, в компании с Лениным, недалеко от Женевы и приехал в нее на несколько часов кажется для покупок книг. Я встретил его на rue Carouge, выйдя из столовой Лепешинских. «Мне с вами, сказал он, надо кое о чем переговорить, я иду на вокзал, проводите меня». В пути я услышал от него следующее. Ленин, беседуя с ним о составе женевской группы большевиков, ему поведал, что он неожиданно «нарвал-

ся» в моем лице на случай «совершенно дикого обскурантизма», прикрытого путанной философской фразеологией.

— Когда я узнал, что вы приносили ему Авенариуса и Маха и влиянием их философии он объясняет ваше затмение, пришлось с Лениным повоевать. Вас я не знаю, хорошо или худо вы защищали философию Маха, тоже не знаю, но всё-таки я не мог не указать Ленину, что согласие с взглядами эмпириокритицизма к обскурантизму не ведет, что я сам прошел через эту школу и разделяю ее критику философского материализма. Ленин стал возражать, ссылаться на Плеханова, спорить с излишним азартом и большой нервностью. Мы с ним продискуссировали целых два дня и чуть чуть не поссорились серьезно. Суждения Ленина о философии я слышал от него *впервые* и убедился, что об этих вопросах с ним лучше не говорить. Страсти спорить у него много, а знаний мало. Хотя он ссылался, например, на «вещь в себе» Канта, я вынес твердую уверенность — «Критику чистого разума» он не читал, в лучшем случае, в нее заглянул. Относительно кантовской «Критики Практического Разума» он прямо заявил, что счел ее столь пустой и никому не нужной, что дальше первых страниц не пошел. Поспорив два дня и видя, что спор ни к чему доброму не приведет, мы с Лениным решили, что ссорится из-за «вещи в себе» или чего-то вроде этого нам не годится и потому лучше впредь о философских вопросах не говорить. Я вам сообщаю всё это вот к чему. Несколько медвежье обращение Ленина с философскими доктринами ни на секунду не подрывает его авторитета — выдающегося организатора, экономиста, политика, самого большого человека в нашей партии. Для вас должно быть не секрет, что мы решили порвать партийную связь с меньшевиками, иметь собственную организацию, свой центральный комитет и комитеты на местах. Главным инициатором и руково-

дителем этого дела является, конечно, тов. Ленин, которого «Искра» объявила политически мертвым человеком. Борьба с меньшинством предстоит трудная, но мы победим, большинство партии пойдет за нами. В предстоящей борьбе мы все как один человек должны дружно сгрудиться около Ленина, всячески помогать ему, оказывать ему максимальную поддержку, хотя для некоторых из нас не все стороны его характера приемлемы. Рассматривая с этой точки то, что произошло между Лениным и вами и не входя ни в какие частности, тем более, что я их не знаю, должен сказать, что не могу одобрить вашего поведения. Я обратил внимание, что Ленин вас называл «заносчивым обскурантом», а Н. К. Крупская указала, что вы в споре с ним вели себя «вызывающе дерзко». Так нельзя, право нельзя! Особенно теперь, когда Ленин подвергается такому поношению со стороны «Искры» и меньшевиков. Среди большевиков должно быть больше почтения к Ленину, нам нужно его защищать, а не вести против него критику, да еще вдобавок дерзкую. Вам надо уладить это дело.

— Что же вы хотите от меня, — воскликнул я, — не намекаете ли вы, что я должен просить у Ленина извинение?

Я рассказал Богданову, по поводу чего шел спор с Лениным, какими ругательствами он меня осыпал, как сознательно старался «опозорить», объясняя расхождение с ним не только тем, что я попал под влияние Авенариуса и Маха, а, якобы, и под влияние Булгакова, по его изящному выражению, сидящего в вонючей яме.

— Считаете ли вы честным такой сорт полемики? Вполне соглашаясь с вами, что Ленин большой человек, я всё-таки никогда не соглашусь стоять перед ним на коленях. Партия не должна делиться на «заезжателей», которым всё позволено и «заезжаемых», которым

вменена обязанность молча подчиняться всему, что они слышат сверху.

— Это уже вы цитируете из скверной литературы Мартова, — сухо заметил Богданов. После моей реплики он, видимо, потерял желание вести со мною разговор. Сказав, что ему нужно спешить на вокзал, он сел в подходивший трамвай, простившись со мною весьма холодно. Что он хотел от меня? Вероятно, полагал, что к назиданию «уладить» конфликт приседанием пред Лениным я отнесусь с полной готовностью и предупредительностью!

В связи с встречей с Богдановым следует коснуться той начальной стадии его отношений с Лениным, которую я назвал lune du miel. В 1908 г. в разгар уже происшедшей между ними лютой ссоры, Ленин писал М. Горькому:

«Лично я с ним (Богдановым) познакомился в 1904 г., причем мы сразу презентовали друг-другу: я «Шаги» («Шаг вперед — два шага назад»), он одну свою тогдашнюю философскую работу. И я тотчас весной или летом писал из Женевы в Париж, что он меня своими писаниями сугубо разубеждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова, а с Плехановым, когда мы работали вместе, мы не раз беседовали о Богданове».

Память несколько изменила Ленину. Впервые Ленин увидел Богданова в феврале 1904 г. Возможно, что тогда тот «презентовал» ему свою философскию работу «Эмпириомонизм», книга I, но Ленин не мог ему в этот момент «презентовать» «Шаги». Эту вещь он только начал писать и вышла она из печати в половине мая. Возможно (но я в этом не уверен), Ленин весною или летом писал Богданову в Париж о своем несогласии с его философией. Богданов на это письмо во всяком случае не обратил внимания, так как из вышеприведен-

ного с ним разговора следует, что *впервые* его суждения о философии он услыхал в августе, поселившись рядом с Лениным у Luc de Bré. Я предполагаю, что разговор с Богдановым о моем «обскурантизме» был некиим маневром «Ильича». Право, смешно думать, что конфликту со мною и моему обскурантизму он придавал столь большое значение, что счел нужным сообщить о нем Богданову. У Ленина тут был другой умысел. Заключая политический союз с Богдановым, он, на примере со мною, хотел показать, что подвергает беспощадной экзекуции всякого открыто заявляющего себя противником материалистической философии. Он хотел припугнуть Богданова: — мы, намекал он, идем с вами вместе, но с условием, чтобы ваши «эмпириомонистические штучки» — вы забыли и не афишировали. Богданов маневра не понял, а если понял, страха не обнаружил и начал с ним спорить. При «медвежьем» отношении Ленина к философии и его нетерпимости, спор грозил окончиться «серьезной ссорой», но, насилуя себя, Ленин пошел напопятную. Об этом указывает и цитированное письмо Ленина к Горькому:

«Осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым как большевики и заключили тот, молчаливо устраняющий философию, как *нейтральную* область, блок, который просуществовал всё время революции (1905-1906 г.)». Почему же Ленин пошел на такую, недопустимую с его точки зрения, ересь как признание философии «нейтральной областью», т. е., иначе говоря, допустил, что член партии может не придерживаться философского материализма, а такой взгляд разделяли в то время, кажется, все социалистические партии, за исключением русской? Почему спор Ленина с Богдановым не окончился тем, что его спор со мною? Объяснение просто: я был капралом, в лучшем случае, прапорщиком революции, а Богданов — генералом, ради кокетства подписывавшим псевдонимом «Рядовой» из-

даваемые в Женеве революционные брошюры. В 1897 г. он начал свою литературную карьеру, написав популярный «Краткий курс экономической науки», ставший в социал-демократических и рабочих кругах основным руководством при знакомстве с политической экономией[30]. В 1899 г. он выпустил книгу «Основные элементы исторического взгляда на природу», с явным влиянием на нее «Натурфилософии» Оствальда; в 1901 г. — книгу «Познание с исторической точки зрения», где, по моему убеждению, с крайней грубостью вставлял «факты знания» — не их физиологическим субстратом, а стороной «психической» — в общий энергетический ряд. Хотя эти работы не пользовались такой популярностью, как его «Курс экономической науки», они расширяли его известность и к тому времени, когда Ленин встретился с Богдановым, у того было уже литературное имя. Он был очень известен в социал-демократической среде, имел обширные литературные связи в Петербурге и в Москве, в частности, с М. Горьким. Около Ленина, — твердо решившего организовать свою партию, — не было ни одного крупного литератора, даже правильнее сказать, кроме Воровского, вообще не было людей пишущих. Богданов, объявивший себя большевиком, был для него сущей находкой и за него он ухватился. Богданов обещал привлечь денежные средства в кассу большевизма, завязать сношения с Горьким, привлечь на сторону Ленина вступающего в литературу бойкого писателя и хорошего оратора Луначарского (женатого на сестре Богданова), Базарова, молодых марксиствующих московских профессоров. И Ленин, человек очень практичный, увидев какой большой ущерб принесла бы

[30] Достоинства этого ортодоксального, страницами очень упрощенческого, курса — не особо велики. Позднее, после 1910-1912 г.г., когда о ком либо хотели сказать, что в экономической науке он не силен и мыслит шаблонно, — о нем говорилось: «мыслит по Богданову».

его планам ссора с Богдановым, обуздал себя, согласился с «ересью», с признанием философии «нейтральной областью». Ленин в это время сугубо ухаживал за Богдановым и именно с ним, а не с жившими в Женеве большевиками, разрабатывал детали осуществления своего политического плана. И когда состоялось «историческое» совещание 22 большевиков, плебисцировавшее ленинские планы, на этом совещании Богданов сидел «одесную» Ленина в качестве главнейшего компаниона, persona grata — организующейся новой партии. «Блок» с Богдановым начал трещать летом 1906 г. Ленин, прочитав только что написанную Богдановым III-ью книгу «Эмпириомонизма», по его собственному признанию, «озлился и *взбесился необычайно*» и послал ему «объяснение в любви — письмецо по философии в размере трех тетрадок» (см. письмо к Горькому в 1908 г.). Письмецо, иронически самим Лениным называемое «объяснением в любви», содержало так мало знания философии и столь много оскорбительных для Богданова слов, что последний возвратил его Ленину с указанием, что для сохранения с ним личных отношений следует письмецо считать «ненаписанным, неотправленным, непрочитанным». Нужно думать, что это не произвело большого впечатления на Ленина. В 1906 г. Богданов ему уже не был нужен, как в 1904 г. Молчаливый договор о признании философии нейтральной областью он считал порванным. Испортившиеся между ними в 1906 г. отношения ухудшились еще более в 1907 г. когда обнаружилось, что взгляды на III гос. Думу Богданова, отличаются от ленинских. А в 1908 г. наступил уже полный разрыв: в книге «Материализм и эмпириокритицизм», заостренной, главным образом, против Богданова, — Ленин можно сказать, проклял его, как вредного еретика, отступающего от канонов марксистской церкви. И так как Богданов по приходе Ленина к власти, оказался в числе очень немногих непокаявшихся в своей

ереси, он не получил никакого командующего политического поста, стоял в тени и Ленин не переставал отзываться о нем с великим раздражением[40].

Я упомянул о совещании 22-х большевиков, на котором, согласно воле и плану, задуманному Лениным, заложена основа большевистской партии. Это совещание состоялось в ноябре и продолжалось три дня. На него Ленин созвал самых важных и верных своих соратников из Женевы и лиц, только что приехавших из России. Большевики-мужья с большевичками женами придавали совещанию несколько «семейный» вид. В числе 22 были: Ленин, Крупская и только что приехавшая из Москвы сестра Ленина — Мария Ильинична; Богданов и его жена, Луначарский и его жена, Бонч-Бруевич и его жена (В. М. Величкина), Гусев и его жена, Лепешинский и его жена, Красиков, Воровский, Ольминский, Лядов-Мандельштам, Землячка (член Ц. К. прибывшая из России). Кто были четыре остальные члены совещания — не помню. Я — участник в течение почти шести месяцев всех совещаний большевиков, постоянный посетитель «раутов» у Ленина, в феврале-апреле очень часто с ним видавшийся, пользовавшийся (о том свидетельство «письмо Нилова») его доверием и даже «благоволени-

---

[40] Богданов, врач и естественник — умер в 1928 г., заразившись во время экспериментов с переливанием крови, которыми он занимался в медицинском институте Москвы. Мне пришлось встретиться с ним в 1927 г. и иметь интересную беседу о Ленине. От него я узнал с какой надписью он возвратил Ленину в 1906 г. «объяснение в любви». «Наблюдая, — сказал мне Богданов, — в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками *ненормальности*». Я не вошел тогда в рассуждение на эту тему с Богдановым, — но мне, как тогда, так и теперь, кажется, что все люди, подобно Ленину, выходящие из общего ранга, имеют и должны иметь некоторые черты анормальности. Именно поэтому они и непохожи на других.

ем», — на совещание 22-х не был приглашен: Ленину донесли, что я «снюхиваюсь» с меньшевиками. Ну, а если бы Ленин позвал меня на это совещание — пошел ли бы я? Нет. Я уже переставал быть «большевиком», хотя открытого, окончательного разрыва с большевистской организацией еще не было. Вот после чего этот разрыв произошел.

В томе XXVIII сочинений Ленина (издание 1935 г. стр. 425) приводится письмо его к Бонч-Бруевичу, датированное 13 сентября 1904 г., посланное Лениным пред его возвращением в Женеву, из которой он уехал в конце июня. В нем есть такая фраза:

«Что о Самсонове пан писал четыре дня назад? Надо было его послать прямо»... В примечании редакция тома указывает, что псевдонимы «пан» и «Самсонов» ей не удалось раскрыть. Это свидетельствует, что редакторы не принадлежали к слою большевиков, имевшему в 1904 г. сношения с Лениным и не особенно усердствовали в желании раскрыть псевдонимы. В других советских изданиях, например, в воспоминаниях Лепешинского, ясно указывается, что Самсонов есть Вольский, а это Валентинов, биографические данные о котором можно найти в дополнительных отделах к томам третьего издания сочинений Ленина. Что же касается псевдонима «пан» — более чем вероятно — это Вацлав Вацлавович Воровский. В виду польского происхождения так иногда его называл Ленин.

Итак, 13 сентября за несколько дней до своего возвращения в Женеву, Ленин запрашивал о Самсонове. Что значит в этом запросе непонятная фраза: «надо было его послать прямо?». После «прямо» в тексте письма Ленина, уверен, стояла не точка, а многоточие. Если бы Ленин хотел написать: «надо было его послать прямо к чорту», почему бы ему этого не сделать? Но на губах Ленина было, конечно, более «крепкое», весьма нецензурное, выражение и он постеснялся вставить его

в свое письмо en toutes lettres. Из переписки обо мне (о ней, разумеется, я не ведал) можно заключить, что имя мое в сентябре 1904 г. вызывало у Ленина весьма злобные выражения.

Шестнадцатого, а может быть семнадцатого сентября, — хорошо не помню, один товарищ большевик, живший недалеко от меня, передал, что Ленин просит меня придти к 9 часам вечера в «обычное место», на quai du Montblanc. Это повергло меня в недоумение. На минуту в голову пришла мысль: после споров по философии с Богдановым, Ленин решил, что из-за этого расходиться не следует, может быть, и мне он скажет то же самое? Встреча с Лениным предположение немедленно устранила. С холодным, злым лицом, еле подав руку, Ленин сразу ошарашил вопросом:

— Принадлежите ли вы *еще* к нашей группе?

О! — подумал я, словечко «еще» звучит вызовом. Делать вид, что я его не замечаю — не желаю. На его тон следует отвечать тоном соответствующим. И потому я ответил:

— Да, я *еще* не ушел из группы большинства.

— Итак, вы пока не ушли из группы. Это мне было важно знать, так как если бы вы мне ответили, что ушли из группы, я повернулся бы и никаких разговоров с вами вести не стал. Я не буду вас спрашивать, почему вы не подписали протеста 37 большевиков, мне говорили, что в это время у вас были какие-то неприятности личного характера.

— У меня в это время умер сын.

— В этом ли объяснение или в другом — в данном случае это не столь уж важно, я хочу говорить о вещах более важных. Пока вы состоите членом большевистской группы, я вам сейчас скажу, что абсолютно недопустимо делать и что, однако, вы делали.

За этим последовал каскад с яростью произнесен-

ных слов, из которых каждое преследовало цель посильнее и побольнее оскорбить. Даже спустя 48 лет, я не могу вспоминать об этом спокойно. Моя жена, знавшая все мои недостатки — импульсивность, непростительную легкость, с которой в молодости прибегал к кулаку, а будучи студентом даже к дуэли, — однажды мне сказала, что никогда не могла понять — как тогда я не бросился на Ленина или еще хуже не сбросил его с набережной в Женевское озеро: «Знать сильно было его гипнотическое влияние на тебя».

— Очень многим известно, начал Ленин, а мне особенно, что вы уже давно хотите возвратиться в Россию. Для этого нужны деньги, паспорт и явки в города иные, чем в Киев, куда вы не можете появиться, там вас знают. Ни того, ни другого, ни третьего у вас нет. Желая получить необходимое, вы сугубо ухаживали за мною, за Павловичем (Красиковым), за Бонч-Бруевичем. А теперь мне стало известно, что одновременно за этими вещами вы бегали и к меньшинству. Вы рассуждали так: не получу паспорт и денег от большинства, получу их от меньшинства. Если для этого нужны будут соответствующие заявления, присяги — сделаю их. Я называю это самым гадким, отвратительным двурушничеством, перелётом то на одну, то на другую сторонку. Одна рука здесь, другая там. Такое поведение заслуживает только презрения.

Вне себя, я крикнул:

— Всё, что вы говорите, мерзкая ложь!

— В том-то и дело, что не ложь. Вы сначала снюхались с кретином Мартыновым, он вам даже разные документики из «Искры» таскал, а потом при его посредничестве нашли ходы в самый центр меньшинства и стали блудить с Мартовым: дайте мне хороший паспортишко и деньжонок, я убегу от Ленина и большинства.

— Всё ложь! Всё мерзкое измышление!

— Это вы лжете. Будете ли вы отрицать, что виделись с Мартовым?

— Не буду, но неужели свидание с Мартовым, еще недавно вашим близким товарищем — есть акт столь позорный, что за него нужно клеймить двурушничеством? Свидание с Мартовым произошло чисто случайно, я его не добивался и после него ни с ним, ни с кем-либо из других меньшевиков ни в какую связь не входил. При свидании с Мартовым не было произнесено ни слова ни о партийных делах, ни о паспорте, ни, тем более, о деньгах.

— О чем же, позвольте вас спросить, вы тогда разговаривали с Мартовым. надо думать о погоде?

— Мы всё время говорили о философии, только о ней.

— Почему же, назначив свидание с Мартовым, а оно, убежден, не было случайным, вы говорили не о партийных делах, которые всех интересуют, а, ни с того, ни с другого, завели с ним разговор о философии, которой Мартов, я-то это хорошо знаю, почти не интересовался? Или, может быть, потому завели разговор о философии, чтобы поплакать в жилетку Мартова, пожаловаться, что Собакевич-Ленин посек ваших философов? Нет, если разговор о философии у вас с Мартовым был, то это только для затравки.

Не давая произнести мне ни слова, Ленин в разных варьяциях повторял всё то же обвинение в двурушничестве, в желании недостойными способами «подцепить паспортишко и деньжонок». До сих пор Ленин толкал и поощрял своих товарищей к отъезду в Россию. Он знал, что многие из них оседают заграницей и не спешат из нее уехать, далеко не всегда с охотой меняют жизнь в Женеве на угрожаемую тюрьмой жизнь в подполье и с фальшивым паспортом в России. В отноше-

нии меня этот вопрос получил странный оборот. О моем желании уехать в Россию Ленин говорил, как о чем-то меня порочащем. Он связывал его с двурушничеством, с каким-то обманом. Потеряв доверие ко мне, он, надо предполагать, думал, что с деньгами и паспортом, полученным от большевиков, я, приехав в Россию, «переметну» во вражеский стан, к меньшевикам. Он упрекал меня в том, что за оказываемое в течение месяцев доверие, я отплатил «распространением сплетней о большинстве (??)», но на мое требование сказать о каких сплетнях идет речь, — Ленин отвечал: «Дружили с Мартовым, видались с Мартовым — кто поверить, что в этом милом обществе не злословили о большинстве». Поток сыпавшихся неожиданных обвинений в несовершенных проступках так ошеломил, что сначала я утерял способность защищаться, а это было принято Лениным в качестве признания моей вины и лишь разжигало его дальнейшие на меня нападения. Прошло некоторое время, пока, оправившись, я сам перешел к нападению. Было бы лишним распространяться о том, что я говорил — интереснее то, что на мои слова говорил Ленин. Я указал ему, что попал в Женеву без всякого желания побывать в ней, а только потому, что меня послал заграницу Центральный Комитет в лице Кржижановского и что тот же комитет должен дать мне и возможность возвратиться в Россию. «Некоторые небольшие произведенные на меня затраты не делают меня собственностью большевистской группы. Я не могу допустить, что группа согласится дать мне средства возвратиться в Россию, только в том случае, если я буду с ее точки зрения паинькой. Торчать в Женеве бесконечно я не хочу и, хотя до сих пор о том речь никогда не заходила, если бы я убедился, что вы не желаете способствовать моему отъзду в Россию, я обращусь к помощи меньшинства». На это Ленин мне ответил: «То, что вы сейчас сказали сви-

детельствует о том, что произведенные на вас затраты с точки зрения большинства себя не оправдали». Я напомнил Ленину, что член большевистской группы Икс (не хочу назвать его имя), получив деньги и паспорт для отъезда в Россию, по пути к ней пропил деньги в лупанарии одного большого города, учинил там в пьяном виде скандал и, вместо России, снова очутился заграницей.

— Как вы отнеслись тогда к этой истории? Вы заявили, я слышал собственными ушами, что не будучи попом, проповедями с амвона не занимаетесь и на происшествие смотрите сквозь пальцы. При такой морали, или вернее полном отсутствии ее, какое право вы имеете читать мне моральные сентенции о «позорном», «недостойном» поведении, тем более возмутительные, что они выкрикиваются на основании выдуманных подозрений?

— Вы спрашиваете о моем праве? Речь идет не о праве с точки зрения поповской морали, а праве политическом, классовом, партийном. Я сейчас объясню вам, в чем вопрос. Вы, вероятно, в лупанарии не пойдете и деньги партийные, наверное, не пропьете, к алкоголю, я заметил, у вас пристрастия нет. Но вы можете сделать гораздо худшее. Вы можете снюхиваться с Мартыновым, человеком всегда бывшим и оставшимся закоренелым противником нашей ортодоксальной революционной старой «Искры». Вы можете одобрять реакционную буржуазную теорию какого-то Маха, врага материализма. Вы можете восхищаться, якобы, исканием истины Булгакова. А это всё вместе образует лупанарий в несколько раз худший, чем тот бордель с голыми девками, в который пошел Икс. Этот лупанарий отравляет, затемняет сознание рабочего класса и если с этой, единственной правильной для социал-демократа точки зрения, подойти к вам и проступку Икса — выводы будут различные. На вас за подмену марк-

сизма темной теорией — нужно показывать пальцем, а на проступок Икса смотреть сквозь пальцы. Икс партийно — стойкий, превосходный, выдержанный революционер; и до съезда, и во время съезда и после него он засвидетельствовал себя твердым искровцем, а это — знамя, что бы там ни болтали Аксельроды. Если Икс пошел в лупанарий — значит нужда была и нужно полностью потерять чувство комичности, чтобы по поводу этой физиологии держать поповские проповеди. К тому же, вытаскивая историю с Иксом, вы мало оригинальны. Снюхивание с Мартовым уже отразилось на вас, вы идете путем уже проторенным Мартовым, Засулич, Потресовым, которые года два назад ударились в большую истерику по поводу некоторых фактов из личной жизни товарища Б. Я им тогда заявил: Б. — высоко полезный, преданный революции и партии человек, на всё остальное мне наплевать[41].

— Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко можно дойти до «всё позволено» Раскольникова.

— Какого Раскольникова?

— Достоевского, из «Преступление и наказание».

Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением.

— Всё позволено! Вот мы и приехали к сентиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине. Да, о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на ба-

[41] Ленин назвал фамилию, но я не хочу ее называть. Какие факты из личной жизни Б. — имел в виду Ленин — мне неизвестно.

заре в покаянном кликушестве лбом всё хлопался о землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?

Это новое шпыняние Булгаковым меня вывело из себя.

— После ваших слов, — крикнул я, — не трудно догадаться, что вы пустили в ход сплетню, что я разделяю и защищаю взгляды Булгакова. Прием, который вы применяете — нечестный. Вы слышали от меня несколько раз, что я ни в малейшей степени не разделяю религиозных, философских, социологических взглядов Булгакова, всё же ни с чем не считаясь и не стесняясь, вы упорно превращаете меня в его последователя.

Я указал дальше Ленину, что из добрых отношений и благодарности, которую я, будучи студентом, испытывал к Булгакову как талантливому и многодающему своим слушателям — профессору, — он делает политическое преступление. Слово «семинарий Булгакова» он, Ленин, — произносит с особым оттенком так, что можно подумать, будто это есть религиозный семинарий при духовной богословской школе, обсуждающий церковные каноны, а не кружок студентов, в котором писались и читались светские рефераты о Марксе, Энгельсе, Каутском, Михайловском, Канте, Спенсере и т. д. От упрощенного и постоянного налепливания на людей мыслящих иначе, чем Ленин, этикеток — имен то Ворошилова, то Акимова, то Булгакова, то Мартынова — меня, в конце концов, начинает просто тошнить. Я шесть лет вращаюсь в революционной среде и нигде никогда до сих пор не видал, не слыхал такого мерзкого сведения счетов, таких отвратительных приемов полемики, такого «подсиживания», как в партийной среде Женевы. Тут все приемы борьбы считаются допустимыми.

— Вы, товарищ Ленин, не боретесь с этим злом, а даете ему пример, ему способствуете, поощряете.

Ленин воскликнул:

— До сих пор я думал, что имею дело с взрослым человеком, а теперь смотрю на вас и не знаю: не дитя ли вы или по ряду соображений, ради моральности, хотите казаться дитятей. Вас, видите ли, тошнит, что в партии не господствует тон, принятый в институте благородных девиц. Это старые песни тех, кто из борцов-революционеров желает сделать мокрых куриц. Боже упаси, не заденьте каким-нибудь словом Ивана Ивановича. Храни вас Бог — не вздумайте обидеть Петра Петровича. Спорьте друг с другом только с реверансами. Если бы социал-демократия в своей политике, пропаганде, агитации, полемике применяла бы беззубые, никого не задевающие слова, она была бы похожа на меланхолических пасторов, произносящих по воскресеньям никому ненужные проповеди.

Ленин стал со смаком рассказывать как мастерски умел ругаться Маркс, как хорошо ругается его зять Лафарг и вообще, как в этом отношении сильны все французские политики, умеющие «так замазать морду противника, что он ее долго не может отмыть».

— Нам, — сказал я, — у французов в этом отношении учиться нечего, у нас для сокрушения противника, даже партийного товарища, есть бубновый туз. Я до сих пор не могу забыть, с какой быстротой вы занесли меня в категорию злейших врагов и каким потоком ругательств меня наградили — как только узнали, что в области философии я не придерживаюсь ваших взглядов.

— Вы правы, на этот раз абсолютно правы. Все, уходящие от марксизма, мои враги, руку им я не подаю и с филистимлянами за один стол не сажусь.

По поводу ухода от марксизма у нас снова поднялся спор о философии, почти повторение сцен на rue du Foyer, но на этом я останавливаться уже не буду. С 9 часов вечера до половины 12-го мы шагали

взад и вперед по quai du Montblanc. «Нужно уходить, думал я, говорить больше не о чем». Ленин предупредил меня:

— Разговор я прекращаю и ухожу. Разговор был не бесплоден, — он многое для меня уяснил. В нашей организации вы, конечно, не останетесь, но если бы даже это и случилось, на какое-либо мое содействие вообще и в деле отъезда в Россию в частности, не рассчитывайте и не надейтесь.

Не подавая мне руки, Ленин повернулся и ушел. А я ушел из большевистской организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не могу окончить воспоминания о встречах с Лениным только словами, что я ушел из большевистской организации. Философские дебаты с Лениным, мои и других, имеют большое продолжение, а главное — историческое заключение, похожее на вымысел, на бред — пораженного сумашествием мозга.

«Меморандум», как назвал Ленин врученную мне тетрадку в 11 страниц, следует назвать, если не считать двух ругательных писем по адресу Канта (судя по всем признакам он остался им непрочитанным), посланных в Сибирь Ленгнику, — первым «философским произведением» Ленина, во всяком случае, его *первым* выступлением против «махистов». Он бережно хранился у меня до осени 1919 г., когда погиб самым нелепым образом почти со всем моим «архивом», т. е. разными политическими документами, письмами, рукописями, — вещами, обычно накапливающимися у всех участвующих в общественной и литературной жизни. Корзина с этим архивом была украдена на вокзале в Тамбове. Вор, конечно, думал найти в ней нечто для себя ценное, а нашел лишь исписанную «бумагу». Впрочем, в то время и она была ценностью — курительная бумага отсутствовала и нужно полагать архив в этом направлении и был утилизирован.

Так погиб ленинский меморандум, письма ко мне Э. Маха, М. И. Туган-Барановского, Максима Горького (за 1915-1917 г.), Андрея Белого, В. М. Дорошевича, издателя «Рус. Слова» И. Д. Сытина и много всякого другого добра.

Меморандум Ленина тем интересен, что он в своем роде краткая «пролегомена» к «имеющей» в будущем появиться книге. В нем, как и в том, что я слышал от Ленина в июне на rue du Foyer и в сентябре на quai du Montblanc, — заложены все основные «гносеологические» мысли написанной им в 1908 г. книги «Материализм и эмпириокритицизм» с подзаголовком: «заметки об одной реакционной философии». Для этой книги, составленной с невероятной быстротой в Женеве, Ленин в Лондоне, в Британском музее, привлек груду произведений. Мы находим у него выдержки и ссылки на Маха, Авенариуса, Петцольта, Карстаньена, Беркли, Юма, Гексли, Дидро, Вилли, Пуанкаре, Дюгем, Лесевича, Эвальд, Вундта, Гартмана, Фихте, Шуппе, Шуберт Зольдерн, Дицгена, Фейербаха, Грюна, Ремке, Пирсона, А. Рея, Каруса, Освальда, Ланге, Риккерта и на легион других. За полгода, потраченные Лениным на составление книги, и тем более за три недели визитов в Британский музей, он не был в состоянии с должным вниманием прочитать множество книг неизвестных ему философов. В его «Философских тетрадях» — о них речь позднее — есть такая фраза: «кажись, интересного здесь нет, судя по перелистыванию». Этим методом — «перелистыванием», примененным к 1200 страницам мною принесенных ему сочинений Авенариуса и Маха, он несомненно пользовался и в отношении подавляющего числа им указываемых философов. Он не столько читал их, сколько «перелистывал», с целью найти там нечто «интересное», на что он мог бы накинуться коршуном.

Не в этом одном оригинальность его книги. Она составлялась в пылу ража, состоянии столь характерном для Ленина. В письме к М. Горькому он писал, что читая «распроклятых махистов» (русских) *бесновался от негодования*. Я скорее себя дам четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе или коллегии подобные вещи проповедующей». Беснование сделало книгу Лени-

на уником, — вряд ли можно найти у нас другое произведение, в котором была бы нагромождена такая масса грубейших ругательств по адресу иностранных философов — Авенариуса, Маха, Пуанкаре, Петцольта, Корнелиуса и других. Ленин тут работал поистине «бубновым тузом». У него желание оплевать своих противников; он говорит о «ста тысячах плевков по адресу философии Маха и Авенариуса». По выходе книги Ленина рецензент «Русских Ведомостей» (Ильин) писал, что в ней «литературная развязность и некорректность доходят поистине до геркулесовых столбов и переходят в прямое издевательство над самыми элементарными требованиями приличия». Л. И. Ортодокс-Аскельрод (ее рецензия в «Современном Мире»), хотя и была в области философии единомышленницей Ленина, тоже возмутилась грубостью его книги. «Уму непостижимо, восклицала она, как это можно нечто подобное написать, а написавши не зачеркнуть, а не зачеркнувши не потребовать с нетерпением корректуры для уничтожения нелепых и грубых сравнений». Ортодокс не знала, что перед нею был текст после «корректуры», т. е., по настоянию сестры Ленина, уже подчищенный и сильно смягченный. Трудно даже себе представить, что в нем было до исправления!

Чем же объяснить раж и беснование, с которым Ленин составлял свою книгу? В ней он писал:

«*Ни единому из профессоров*, способных давать самые ценные работы в специальных областях — химии, физике, *нельзя верить ни в одном слове, когда речь идет о философии*. Почему? По той же причине, по которой *ни единому профессору* политической экономии способному давать самые ценные работы в области специальных исследований, нельзя верить *ни в едином слове*, когда речь заходит *об общей теории политической экономии*. Ибо эта последняя такая же *партийная наука* в современном обществе, как и *гносеология*. В общем

профессора-экономисты не что иное как ученые приказчики класса капиталистов, а профессора философии приказчики теологов».

Такая декларация, а в связи с нею я не могу не вспомнить плехановских ведьм с красными, желтыми и белыми глазами! — полная важных и, как увидим в дальнейшем, страшных выводов. Если ни одному философу нельзя верить ни в едином слове — тогда совершенно ясно, с каким априорным презрительным отрицанием всего того, что они писали — должен был их читать Ленин. Мог ли он делать серьезные усилия понять Авенариуса или Маха, когда он заранее был убежден, что ни единому слову их верить нельзя? «Философская сволочь» — как Ленин называл всех неразделяющих гносеологию диалектического материализма, по самой природе своей обладать истиной неспособна. Познание законов общественной жизни, общей теории политической экономии, — именно потому, что гносеология, теория познания вообще есть партийная наука — может быть только привилегией партии, возглавляемой Лениным. С этой точки зрения самый малюсенький большевик всегда выше самого большого «буржуазного» ученого или философа. Обладание, подобно церкви, истиною позволяет членам партии видеть в себе существ особой, высшей породы, касты, принцев духа, носителей «объективной истины». Теория Маркса, возглашал Ленин, есть объективная истина, а все вне ее — «скудоумие и шарлатанство». «Поэтому *потуги создать новую точку зрения в философии характеризуют такое же нищенство духа, как потуги создать «новую теорию стоимости», «новую теорию ренты» и т. д.»*.

Это речь изуверского, застойного, реакционного консерватора, это глагол «великого дракона» Ницше: «все что есть ценность, уже блестит на мне. Все ценности уже созданы и это я представляю все сотворенные ценности».

Впрочем, здесь не великий дракон Ницше, а просто наш русский 17 века протопоп Аввакум:

«Как в старопечатных книгах напечатано, так я держу и верую, с тем и умираю. Держу до смерти якоже приях. Иже кто хоть малое переменит — да будет проклят».

При такой психологии Ленина становится понятным его «беснование», когда «за полгода 1908 г.», вышли четыре книги, вносящие новшество в старопечатные книги, посвященные, замечает Ленин, «почти всецело нападкам на диалектический материализм» — это «Очерки по философии марксизма» — сборник статей Богданова, Базарова, Луначарского и других, затем книги — Юшкевича «Материализм и критический реализм», Бермана «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова «Философские построения марксизма». В глазах Ленина это восстание «нищих духом» — против «партийной гносеологии» (вся она, как копейка на ладони, на двух последних страничках «Меморандума»!), это бунт, внушенный Махом и Авенариусом, т. е. философской сволочью, ни единому слову которой верить нельзя. Ленин особенно возмущен тем, что в бунте принимают участие большевики и на первом месте А. А. Богданов, еще недавно «дорогой друг» Ленина, вместе с ним возглавлявший большевистскую организацию. Главные удары дубинки Ленина направлены, конечно, на этих большевиков — еретиков, — и лишь попутно, так сказать, боковым заездом на меньшевиков — Юшкевича и Валентинова[42]. Он считал что этими отщепенцами должен за-

[42] Когда меня именуют меньшевиком или мне самому — ради упрощения — приходится называть себя меньшевиком, я всегда испытываю неловкость, точно чужой титул краду. По признанию меньшевиков и по собственному ощущению, я всегда был очень плохим меньшевиком, чаще неменьшевиком — и никогда не играл в партии сколько-нибудь видной роли. Летом 1917 г., после столкновения с представителями московского комитета

няться «меньшевик» Плеханов, заботившийся «не столько об опровержении Маха сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму и за это поделом наказанный двумя книжками меньшевиков — махистов».

Хорошо помня какими выражениями Ленин сокрушал меня в Женеве — я мог ожидать, что найду их и в его книге. Этого не случилось, благодаря его сестре А. И. Елизаровой. Получив рукопись Ленина, придя в ужас от груды рассыпаных в ней ругательств и даже просто неприличных выражений, она стала его упрашивать многое выкинуть, а многое смягчить. Идя навстречу просьбе сестры, Ленин (письмо от 19/XII 1908) согласился выбросить «неприличные выражения», а другие смягчить, но сделать это только в отношении большевиков Богданова и Базарова, но не меньшевиков — Юшкевича и Валентинова. Однако, мне доподлинно известно, что А. И. Елизарова всё-таки сильно смягчила ругательства по адресу и Юшкевича и моему. После «смягчения» я мог в его книге найти «только» то, что я «путанник» и «Ворошилов», читал Дицгена и письма Маркса к Кугельману как «гоголевский Петрушка», протанцовал «публично канкан» по поводу неудачной фразы Плеханова, «хулигански» выругал некоего материалиста Рахметова (позднее стало известным, что он агент охранки), как «младенец» поддался «мистификации Авенариуса» и прочее в том же духе. Ленин в злобе на меня использовал даже опечатки в моей книге. Всё, что я в ней писал о Беркли un esse est percipi он назвал «бессмысленным набором слов». — «Валентинов, смутно сознавая фальшь своей позиции, постарался замести (?) следы своего родства с Беркли. Валентинов путает, он не умел дать себе ясного отчета о том, почему ему пришлось защищать «вдумчивого аналитика» — идеалиста Беркли от материалиста

меньшевиков (в 1922 г. ставших коммунистами), я вышел из партии. Сближение с их заграничной частью — произошло уже после 1946 г.

Дидро. Дидро отчетливо противопоставил основные философские направления. Валентинов путает их и при этом забавно утешает нас: мы не считаем за философское преступление близость Маха к идеалистическим воззрениям Беркли».

Возвращая Ленину его слова, мог бы сказать, что он нанизывает бессвязный набор слов. Беркли я по сей день считаю философом выше Канта, о сравнении с Дидро не может быть и речи, почему мне тогда «заметать» следы своего с ним «родства», тем более, что не считаю это за философское преступление?

Ленин придавал своей книге огромное значение. «Поработал я много над махистами и все их (и «эмпириомонизма» тоже) невыразимые пошлости разобрал», — самоуверенно писал он своей сестре Марии. Нужно читать его письма к другой сестре — Анне, чтобы видеть как его «изнервливает» всякое замедление в выпуске этой им рассчитанной на оглушительный эффект книги.

«Об одном и только об одном я теперь мечтаю и прошу — об ускорении выпуска книги».

Тоже самое в другом письме:

«Мне дьявольски важно, чтобы книга вышла скорее».

Как и в других случаях, вся мысль его судорожно направлена на то, чтобы *скорее, скорее* осуществилось его желание. Он впадает в панику, если запаздывает присылка корректур. Он буквально в отчаянии, когда в Париже, куда он приехал из Женевы, вспыхивает забастовка почтовых служащих, поэтому нет почты из Москвы, нет корректурных листов. С вздохом облегчения и радости он встречает окончание забастовки.

«Наконец! А то хорошее пролетарское дело здорово мешало в литературных наших делах».

Он непременно хочет, чтобы книга вышла к 10 апрелю 1909 г. Почему именно к этой дате? Не потому ли, что это день его рождения?

«Прошу, — пишет он сестре, — нанять себе помощника для специальных посещений типографии и *подгоняния ее*. Обещать ему премию, если книга выйдет к 10 апрелю. Необходимо, помимо издателя, действовать на типографию. Сотни рублей не жалеть на это. Без взятки с российским дубьем не обойтись. Дать 10 рублей метранпажу, если книга выйдет к 10 апрелю».

Нежданное и негаданное появление Ленина в качестве «философа партии», вместо молчащего Плеханова, уклонявшегося вступить в серьезную борьбу с «махистами» и ограничивающегося мелкими отписками, эффекта не произвело. Многие отнеслись к книге — как к курьезу. Глевные противники Ленина — Богданов и Базаров ответили Ленину несколькими страничками, подчеркивая, что уровень понимания им философских проблем таков, что полемика с ним бесполезна. Несколько больше, но с тем же указанием, ответил Ленину Юшкевич. Я ничего не ответил — мой роман (или флирт?) с философией — в 1909 г. кончился и уже не было никакого желания вступать в полемику, снова оживляя отметенные сознанием вопросы. Но для меня было ясно, что книга Ленина свидетельствует о продолжающемся, упорном, как в 1904 г. непонимании им ряда гносеологических положений. Например, по поводу указания, что мы можем представить себе время и среду, когда не было человека, но мысля эту среду никак нельзя откинуть себя, эту среду мыслящего — Ленин со злостью отвечал, что «допущение, будто человек мог быть наблюдателем эпохи до человека — заведомо нелепое». Вместе с тем он утверждал, что у нас есть «объективное знание об этой эпохе, ибо «объективная истина», проявляющаяся в «человеческих представлениях *не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества*». Словом, он защищал замечательную гносеологию — познание без того, кто познает. Покорно следуя за Лениным, такую чепуху по сей день продол-

жает защищать, вернее принужден защищать, например Дудель в статье «Познание мира и его закономерности» (см. «Вопросы философии, 1952 г. № 3 изд. Акад. Наук). В своих воззрениях материалистка Ортодокс-Аксельрод стояла на стороне Ленина и всё же и она, наряду с порицанием грубости его полемики, должна была признать, что в аргументации Ленина, «мы не видим ни гибкости философского мышления, ни точности философских определений, ни глубины философских проблем».

Неприятность шла и со стороны распространения книги. Следуемый за нее гонорар Ленин полностью получил, но расходилась она весьма плохо, гораздо хуже, чем произведения «распроклятых махистов». Ни большого шума, ни большой полемики, ни большого интереса она не возбудила. Ленин этим был несколько обескуражен. Нельзя пройти и мимо следующего обстоятельства. Как ни старался он, пользуясь «бубновым тузом», отпихнуться от прочитанных или «перелистованных» сочинений «философской сволочи» — все-таки кое-что от них в его мозг скакнуло: блохи раздумья! А в дополнение насмешливый и презрительный тон отзывов об его книге, — вероятно, стал наводить Ленина на мысль, что не всё благополучно в его воинствующем материализме. Нет ли каких либо дефектов, его делающих, по позднейшей характеристике Ленина, *«не столько сражающимся, сколько сражаемым?* Не следует ли кое-что получше обдумать, повысить умение обращаться с философскими проблемами, увеличить вообще свое философское знание?

В 1913 г. опубликовывается переписка Маркса с Энгельсом о диалектике и толкает Ленина на размышления о философских вопросах. В 1914 г. он пишет очерк о мировоззрении Маркса в Энциклопедический словарь Гранта и снова наталкивается на те же вопросы. В конце концов, чувствуя, что от них трудно уйти, Ленин, живя в Берне и Цюрихе, отрывает время

от других занятий и в 1914-1916 г. г. — почти накануне революции, впрочем, ее — что можно доказать — он совсем не ожидал, пробует пополнить свое знание, лучше сказать устранить свое незнание философии. На этот раз он не «перелистовывает» книги, а как прилежный юноша «с карандашиком» в руках, так, как в свое время в Кокушкине читал Чернышевского, — делает из прочитанного конспекты: «Метафизики» Аристотеля, «Лекций о сущности религии» Фейербаха, о философии Лейбница и некоторых других. Но главное его внимание отведено «Логике» и «Лекциям по философии истории» — Гегеля. Все эти конспекты, выдержки из прочитанного, с сопутствующими их замечаниями составляют, так называемые, «Философские Тетради» Ленина, его философский дневник, к печати непредназначавшийся, но после его смерти частично опубликованный в 1929 г. и полностью в 1933-36 г. г. Это вещь весьма любопытная и мало известная. С особой силой пробудившееся у Ленина внимание к Гегелю понятно. Он чувствует, что не может собственными силами поставить крепко на ноги «партийную гносеологию», ему обязательно нужно к кому-нибудь прислониться, но к кому — раз ни одному философу ни в едином слове верить нельзя? В области философских воззрений Ленин доверял Чернышевскому, Марксу, Энгельсу, Плеханову, а все они были гегельянцами. Ленин после чтения переписки Маркса и Энгельса о диалектике, убедил себя, что «нельзя вполне понять «Капитал» Маркса и в особенности его первые главы, не проштудировав и не поняв «Логики» Гегеля». По его убеждению этого *никто* (Плеханов, замечает он, не составляет исключения) не сделал — «следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя».

Бедные марксисты, клянутся Марксом а на поверку оказывается, что никто из них его не понял. Ленин хочет быть первым марксистом, действительно понявшим

Маркса, а для этого ему нужно во что бы то ни стало одолеть Гегеля. И он, действительно штудирует Гегеля и с великим почтением делает из «Логики» множество выписок. Некоторые из них (в переводе Ленина) замечательны. Например:

«Воспроизводство человека есть их (двух индивидов разного пола) реализованное тождество, есть отрицательное единство рефлектирующего в себя из своего раздвоения рода».

Или другая:

«Становление в сущности, ее рефлектирующее движение, есть движение от ничто к ничто и тем самым к себе самому».

Третья выписка тоже не плоха:

«Камень не мыслит и потому его ограниченность не есть граница для него. Но и камень имеет свои границы, например, окисляемость, если есть способное к окислению основание».

Такими выписками заполнен конспект Ленина и подобной абракадаброй с самым серьезным видом занимается в 1915-1916 г. тот самый «Владимир Ильич», который в 1908 г. при первой же неясной для него фразе, мысли Авенариуса или Маха кричал о «галиматье» и «бессвязном наборе слов». Понимал ли Ленин то, что с таким прилежанием выписывал из Гегеля? На стр. 104 своих тетрадей он пишет:

«Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, т. е. выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею» и т. д.

Выкинув всё это из Гегеля — многое ли и что от него останется? А допустив, что нечто останется — понятен ли Ленину этот остаток? Для ответа приведем отзывы и замечания, которые, читая Гегеля, он делал на страницах своей тетради: стр. 104 — «ахинея»; стр. 108 — «изложение сугубо темное»; стр. 113 — «почему для себя бытие едино — мне неясно. Гегель

сугубо темен», на той же странице: «темна вода»; стр. 114 — «Это производит впечатление большой натянутости и пустоты»; стр. 116 — «переход из количества в качество (а ведь это один из главнейших пунктов! Н. В.) до того темен, что ничего не поймешь»; стр. 117 — «всё это непонятно», «сугубо темно»; стр. 124 — «переход бытия к сущности изложен сугубо темно»; стр. 133 — «очень темно».

Находя и на следующих страницах «тьму темного», Ленин вспоминает, что Пирсон назвал писания Гегеля — «галиматьей» и соглашается:

«Он прав. Это учить нелепо. В известном частичном смысле это на 9/10 шелуха».

Девять десятых — уже не частица, а почти всё. Но охота пуще неволи, нельзя ведь понять Маркса, не проштудировав Гегеля, и потому Ленин продолжает копаться в шелухе, сопровождая штудирование такими замечаниями: стр. 152 — «обще и туманно»; стр. 166 — «Гегель уверял, что знание есть знание Бога. Материалист отсылает Бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму»; стр. 169 — «ха-ха!»; стр. 170 — «неясность, недоговоренность, мистика»; стр. 171 — «эти части работы Гегеля должны быть названы: лучшее средство для получения головной боли»; стр. 178 — «чушь»; 180 — «ха-ха!»; стр. 196 — «мистика, мистика».

Штудируя Гегеля, Ленин всё более и более приходит в раздражение: стр. 246 — «швах»; стр. 247 — «архипошлый, идеалистический вздор»; стр. 248 — «nil, nil, nil»; стр. 250 — «пошло, мерзко, вонюче»; стр. 258 — «архидлинно, пусто, скучно»; стр. 274 — «слепота, однобокость»; стр. 292 — «болтовня», «попался идеалист»; стр. 294 — «ха-ха», еще раз «ха-ха»; стр. 299 — «вздор, ложь, клевета».

Дойдя до места, где Гегель упрекает Эпикура в

игнорировании конечной цели бытия, — мудрости творца, Ленин разражается руганью:

«Бога жалко! Сволочь идеалистическая!».

Если «Логика» Гегеля наполнена «темнотой», «шелухой», «вздором», «мистикой», «пошлостью», «чушью» — кстати именно такими выражениями хлестал Ленин Маха и Авенариуса! если отец диалектики Гегель, как в том на стр. 289 его обвиняет Ленин, «не сумел понять (а Ленин понял?) диалектического перехода от материи к движению, от материи к сознанию», не сумел показать переход количества в качество, — то на что тогда Гегель Ленину, чему он может у него учиться? Но известно, как насмешливо сказал Белинский — русские люди издавна, с 40-х годов 19 столетия, «лезут под колпак Егора Федоровича Гегеля». Герцен говорил, что человек, не прошедший чрез горн и закал «Феноменологии» Гегеля неполон и несовременен, ибо «Философия Гегеля — алгебра революции». Семью десятками позднее нечто вроде этого говорит о гегелевской «Логике» Ленин. «Нельзя понять «Капитал» Маркса, не проштудировав «Логику» Гегеля». Ленин немилосердно ругает Гегеля и в то же время льнет к нему, хотя временами кажется, что он это делает точно повинуясь какому-то приказу, толчку извне. Ряд выписок из Гегеля Ленин сопровождает восторженной похвалой: «замечательно», «очень хорошо», «тонко и глубоко», «верно», «очень глубоко и умно», «великолепно», «замечательно», «верно и глубоко», «очень умно», «очень верно» и так далее и в том же духе. Что замечательного и великолепного находит Ленин в некоторых цитатах из Гегеля — явной абракадабры — понять невозможно, но Ленин несомненно чему-то учился у того, кого элегантно называет «идеалистической сволочью». Влияние на него Гегеля сказывается в резком изменении взгляда на Плеханова, в течение многих лет в его глазах столпа диалектического материализма. «Философские тетради» сводят

почти к нулю авторитет Плеханова. Ленин находит, что во всем написанном Плехановым по философии нет *«ничего»*, «nil» о большой (Гегелевской) логике, т. е. собственно о диалектике как философской науке.

«Диалектика, заявляет Ленин, есть теория познания Гегеля и *марксизма.* Вот на какую сторону дела (это не сторона «дела», а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах».

Наряду с этим заявлением, неожиданно делающим идеалистическую и метафизическую теорию познания Гегеля — гносеологией марксизма, очень характерно и другое заявление Ленина:

«Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще) с вульгарно-материалистической точки зрения». Sapienti sat! Такое замечание свидетельствует, что прежние взгляды на материализм у Ленина под влиянием Гегеля ломаются, о чем, в подтверждение, можно судить и по фразе на его устах прежде невозможной». «Умный идеалист ближе к умному материализму чем глупый материализм» («Философские тетради», стр. 282).

Еще совсем недавно, о том говорит вся его книга — «Материализм и эмпириокритицизм», Ленин при слове философский «идеализм» приходил в ярость. Для него это была поповщина, фидеизм, «реакционная теология», «принаряженная чертовщина», «игра с боженькой», придуманная приказчиками капитализма. В своих тетрадях он уже берет идеализм под свою защиту, говоря, что «философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического». «Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека». «Философский идеализм есть одностороннее преувеличенное развитие (раздвоение, распускание) одной из черточек, стороны, граней познания в

абсолют». «*У поповщины* (философского идеализма) конечно, *есть гносеологические корни, она не беспочвенна*».

Вот какую прогулку в далекие метафизические дебри совершил Владимир Ильич Ленин под руку с Егором Федоровичем Гегелем. О ней разумеется запрещено говорить в Москве и во всех подчиненных ей коммунистических столицах. Из материализма, но уже не плехановского, а того, что не должно быть «грубым, простым, метафизическим» и из «умного идеализма», выжимаемого из «Логики» Гегеля, Ленин в своих «Философских тетрадях» начал фабриковать «партийную гносеологию», новую разновидность метафизики в виде некоей диалектической, с «самодвижением всего сущего», онтологии. Жаль, что до сих пор никто из критиков Ленина не рассмотрел этот этап в его «философии». Для его уразумения крайне интересно проанализировать содержание сделанных им извлечений из Гегеля, особенно тех, что сопровождаются возгласами: «великолепно», «замечательно», «верно», «тонко и глубоко» и т. д. Здесь для этого, конечно, нет места и всё-таки не могу удержаться от того, чтобы, хотя бы мельком, — указать как резко отошел Ленин от главнейшей гносеологической посылки своего материализма.

— Нужно быть идиотом как ваш Мах, чтобы не признавать вещей в себе, — мне говорил, вернее, рычал Ленин на rue du Foyer в июне 1904 г.

«Вещь в себе» в его глазах, выражаясь словами Разумихина у Достоевского, была «якорем, пристанищем, пупом земли». На вещи в себе, подобно лепесткам на сердцевине артишока, держатся все явления. Она стоит позади явлений, давит на наши органы чувств, вызывает ощущения. Признание вещи в себе для Ленина тождественно с признанием объективного, материального, независимого от нас мира. Материализм — есть «признание объектов в себе, вещей в себе». Поэтому

Кант выступает как материалист, когда постулирует вещь в себе, но он выступает как идеалист, объявляя, что вещь в себе непознаваема. Яростно защищая вещь в себе в своей книге Ленин писал, что эта «вещь в себе настоящая bête noire Богданова и Валентинова, Базарова и Чернова, Бермана и Юшкевича. Нет таких крепких слов, которые бы они не посылали по ее адресу, нет таких насмешек, которыми бы не осыпали ее».

Много ли остается от этой вещи в себе в 1915-1916 г., когда Ленина «перепахал» Гегель? Ровно ничего. Она отброшена, похоронена. Ленин послушно выписывает всё, что о вещи в себе говорит Гегель и без критики и сопротивления это принимает.

«Вещь в себе пустая и безжизненная абстракция».

«Вещь в себе — простая отвлеченность, не что иное, как ложная, пустая отвлеченность...».

«Вещь в себе — пустое отвлечение от всякой определенности, о коем, конечно, нельзя ничего знать, именно потому, что оно есть отвлеченность от всякой определенности».

«Вещь в себе имеет цвет, лишь будучи поднесена к глазу, имеет запах, будучи поднесена к носу».

Ленин со всем этим соглашается, похваливает и ему особенно нравится указание, что «вещь в себе превращается в вещь для других». «Это очень глубоко», — замечает он. Еще немного и он бы понял — esse est percipi!

С уничтожением вещи в себе — изымается огромная гносеологическая часть материализма. Канта и Юма, после такой у себя произведенной ампутации, с прежней позиции критиковать уже нельзя. И Ленин понимает это: «Марксисты критиковали (в начале XX века) кантианцев и юмистов более по фейербаховски и по бюхнеровски, чем по гегелевски». О каких марксистах говорит Ленин? О Плеханове и себе.

Уже при жизни Ленина — правителя России —

критика его книги — «Материализм и Эмпириокритицизм» — не скажу, чтобы была запрещена, но стала крайне затрудненной. Чтобы не портить себе карьеры, например, Луначарский, призванный на пост комиссара народного просвещения, — сделал вид, что эмпириокритиком никогда не был. То же самое сделал и Берман. В 1920 г. книга Ленина вышла вторым изданием, но он *ни одним словечком* при ее выпуске не обмолвился («Философские тетради» никому не были известны), что в ряде пунктов он ушел от прежних взглядов. В Кремле в свободные минуты он продолжает читать Гегеля, требует чтобы ему доставили в русском переводе «Логику» и «Феноменологию», а в 1922 г. направляет в журнал «Под знаменем марксизма» письмо, являющееся как бы философским завещанием: изучайте Гегеля, его диалектику, его теорию познания. «Группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма» — писал Ленин, — должна быть на мой взгляд обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнить — материализм *не может быть* воинствующим материализмом. *Он останется,* употребляя щедринское выражение, *не столько сражающимся, сколько сражаемым*».

Обратите внимание на слова — материализм *останется* сражаемым. Форма выражения дипломатическая, однако ясно показывающая, что Ленин в это время считал материализм на том уровне его разработки, в каком он существовал до сих пор, в частности, в работах Плеханова, — философской теорией очень слабой. Ленин стал прекрасно понимать, что слаб и *«сражаем»* и тот материализм, который с такой яростью и самоуверенностью он проповедывал в своей книге. За годы, прошедшие со дня октябрьской революции, он опрокинул и раздавил большую часть своих прежних взглядов и

истин, заменив их эмпирикой, выраженной формулой Наполеона — «On s'engage et puis on voit». И всё-таки у Ленина не оказалось смелости открыто сказать, что он выбросил вон, как вещь негодную, весьма существенные части его философии 1908 г.

Что же произошло после смерти Ленина? Его «Материализм и Эмпириокритицизм», с тем его содержанием, в котором, по убеждению самого Ленина была не сражающаяся, а сражаемая, негодная часть — стал обязательным Кораном не для одних только коммунистов СССР и советских граждан, а для всех коммунистов и граждан, для всей массы людей, подчиненных диктатуре Кремля. Кто в СССР или в сателлитских странах ныне посмеет заявить, что не разделяет философских взглядов книги Ленина? Если бы в июне 1904 г., когда я спорил с Лениным по поводу его меморандума, — этой пролегомены будущей книги — мне кто-нибудь, например, Лепешинский, сказал, что превращенный в книгу меморандум будет внедряться как священное откровение в головы десятков миллионов людей России, Восточной Европы, Франции, Италии, Китая, Кореи — я рассмеялся бы над «Пантейчиком» или, вернее, сказал бы ему, что анекдот его глуповат и даже смеха не возбуждает. И этот глупенький анекдот превратился в мировую быль! Трудно поверить, но это же факт!

В статье «Что такое махизм, эмпириокритицизм?», помещенной в «Правде» в № от 24 декабря 1938 г. мы читаем:

«Сокрушающий удар по махизму и всем его разновидностям наносит «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)», написанная под руководством и при личном участии товарища Сталина. В ней вскрыта связь между политическим и философским ревизионизмом, выяснено *всемирно-историческое значение* защиты Лениным в борьбе против русских махистов теоретических основ марксистской партии, подчеркнута

роль книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в теоретической подготовке партии большевиков».

Достаточно заглянуть в эту знаменитую «Историю», именуемую ныне «гениальным произведением И. В. Сталина» (см. «Правда» № 1 октября 1951 г.) и убедиться, что Сталин человек с абсолютным незнанием философии никак не мог сокрушить «русских махистов», а лишь на двух страничках (стр. 98 и 99 издания 1950 г.) пересказывает то, что о них говорил Ленин. И, тем не менее, когда грозный палец Сталина указывает на Богданова, Базарова, Луначарского, Бермана, Юшкевича, Валентинова и их «учителей Авенариуса и Маха» — это действительно имеет смертоносное, сокрушающее, значение, ибо тогда вопрос о них неминуемо переходит из области философии в ведение ГПУ — НКВД — МГБ. Из перечисленных выше «махистов» — кроме пишущего эти строки, уже никого нет в живых, но борьба с ними, их книгами (это теперь нелегальная, запрещенная литература) — имеет «актуальное значение», так как махизм, по словам «Правды», будучи «философией реакционной буржуазии», выступает, как один из наиболее непримиримых врагов «материализма», представленного в «гениальной книге» Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Коротко говоря, в империи Сталина махизм, эмпириокритицизм официально признаны «вредительством», вредителями, сталкивающимися с коммунистическим строем мысли и чувств, установленным диктатурой. Вредитель — это человек, который попав в руки НКВД, может быть обвинен (и должен признаться) в самых невообразимых преступлениях — вызывал засуху, убивал скот бациллами чумы, отравлял советские города микробами. Как далеко можно идти на путях наговора — показывают московские процессы 1937-38 г., где коммунисты Бухарин, Рыков, Каменев — еще недавно, в качестве членов Политбюро, стоявшие во главе управ-

ления страной, — были показаны как простые шпионы на службе иностранного капитализма. Во что в этой атмосфере сумасшедшего наговора, отсылающего нас к эпохе сжигания ведьм и казням за сношение с дьяволом, превращается «махизм», можно судить по уже цитированному номеру «Правды».

«Махизм, — заявляла она, — пытались сочетать с марксизмом так называемые австро-марксисты — О. Бауэр, Фридрих Адлер и др.».

Каков результат этого сочетания?

«Австромарксисты предали рабочий класс Австрии, подготовив вначале победу в Австрии австрийских фашистов, а затем прямую аннексию Австрии гитлеровской Германией».

Вот что такое махизм! Вот куда приводят идеи, изложенные венским физиком и естествоиспытателем Э. Махом в его книгах — «Учение о теплоте», «Механика в ее историческом развитии», «Анализ ощущений», «Познание и заблуждение» и других. Э. Мах в письме ко мне (в 1910 или 1911, хорошо не помню, оно пропало), очевидно узнав, в каком виде его изображал Ленин, писал, что находит непонятным и совершенно странным («unverständlich, ganz sonderbar») тот факт, что в России критика его научных взглядов перенесена на чуждую им политическую почву. Кто бы мог себе представить, что через двадцать два года после смерти Маха — он умер в 1916 г. — кремлевские философы узрят в его научных работах не более и не менее как скрытую «подготовку» аннексии Гитлером Австрии!

Такие же методы применены и для сокрушения вредительского «эмпириомонизма» Богданова, а философствующие энкаведисты его упорно называют «махистом», несмотря на то, что «психоэнергетика» Богданова и ряда других тезисов уводят его от «махизма». В 1913-1917 г.г. Богданов написал две книги «Тектологии», — с целью представить в них «всеобщую организацию нау-

ки». Он анализирует в них (тут заимствование у Авенариуса) стремление нашего мышления к равновесию, но не статическому, а динамическому, подвижному, образующемуся в результате кризисов и столкновения различных состояний. Так как Богданов был намечен Лениным во главе листа «распроклятых махистов», не признающих материализма, эпигоны Ленина в желании опозорить имя Богданова и его философию ухватились даже не за теорию равновесия, а за слово «равновесие», чтобы заявить, что за ним скрывается вредительская, саботажная, антисоветская, антикоммунистическая политика.

«Эта лживая «теория равновесия», настаивала «Правда», была широко (sic!) использована троцкистами и правыми реставраторами для обоснования их контрреволюционных идеек. «Теория равновесия» проповедывала равновесие частнокапиталистического и социалистического секторов народного хозяйства СССР, т. е. отказ от переделки мелкотоварного хозяйства, от ликвидации кулачества как класса. Уничтожающий удар «теории равновесия» нанес товарищ Сталин в декабре 1929 года. Он показал, что «теория равновесия» объективно имеет целью отстоять позиции индивидуального крестьянского хозяйства, вооружить кулацкие элементы «новым» теоретическим оружием в их борьбе с колхозами и дискредитировать позиции колхозов».

Читая подобные вещи, это превращение гносеологических идей Маха, Авенариуса, Богданова — во вредительское оружие кулацких элементов, в подготовку гитлеровской аннексии Австрии (аннексируется она-то теперь Кремлем!) — испытываешь чувство, будто находишься среди сумасшедших. Хочется думать, что это только кошмарный сон, — увы, это явь. Все обвинения во вредительстве составляются именно таким сумасшедшим способом и заметим — все они инспирируются сверху, из Кремля самим «великим Сталиным». Философию

махизма, сверх уже ей приписанных вредительских свойств, он повелел объявить тоерией шпионажа, поэтому каждого «махиста» считать врагом народа, шпионом на службе у иностранных капиталистических разведок. Если вы этому не верите — прочитайте следующие строки из той же статьи «Что такое махизм и эмпириокритицизм?».

«Махистами были меньшевики Валентинов, Юшкевич, Гельфонд и к меньшевикам в годы реакции перешел бывший большевик Базаров, осужденный в 1931 г. за вредительство. Был махистом — и всегда оставался на махистских позициях — будущий лидер правых реставраторов капитализма, враг народа, фашистский шпион Бухарин. Его сообщники по Гестапо Рыков и Каменев, переходившие в лагерь врагов партии во все трудные моменты борьбы, занимали примиренческую позицию по отношению к махизму».

Политический вывод из всего этого совершенно ясен: лица, заподозренные в «сочувствии» к гносеологии, теории познания, венского ученого Э. Маха и цюрихского философа Р. Авенариуса — подлежат ввержению в подвалы Министерства государственной безопасности или заключению в какой-нибудь концлагерь. В 1938 г. лицо, слыхавшее о моих спорах с Лениным в 1904 г., — вероятно рассчитывая меня уколоть, сказало: «А от большевизма вы ушли только из-за разногласия с Лениным по философским вопросам». Положим, что не только из-за этого, но если бы даже это было и так, можно ли, зная, что произошло после 1904 г., считать спор с Лениным каким-то не имеющим важности *«только»?* От ленинского меморандума к книге «Материализм и эмпириокритицизм» — небольшой шаг, а от этой книги идет уже прямая, хорошо выглаженная бульдозерами дорога к государственной философии — опирающейся на ГПУ — НКВД — МГБ. Это совсем не «только»!

ОГЛАВЛЕНИЕ